

Букеровская премия

Лучшая книга 1992 года

АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ

История, которая легла в основу легендарного фильма


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В песках пустыни бедуины находят обгоревшего летчика. Он не помнит своего имени, не знает, кто он и как сюда попал. Бедуины спасают ему жизнь, но теперь он мало похож на человека – его тело покрыто обуглившейся кожей, а лицо невозможно узнать. Для всех он просто «английский пациент» – человек без лица и без имени. После переправки в разрушенную войной Европу английский пациент оказывается на заброшенной итальянской вилле на попечении молодой медсестры Ханы. Она отказывается уезжать с другими медсестрами и остается ухаживать за ним. Умирающий пациент рассказывает Хане историю его любви к замужней женщине, трагическую и невероятную…

- Майкл Ондатже
  - ○
  - ○
  - ○ I. На вилле
  - ○ II. Безучастный к жизни
  - ○ III. А может, стану я огнем
  - ○ IV. Южный Каир, 1930—1938
  - ○ V. Кэтрин
  - ○ VI. Тайник в пустыне
  - ○ VII. На своем месте Уэстбери, Англия, 1940
  - ○ VIII. Священный лес
  - ○ IX. Пещера Пловцов
  - ○ X. Август
  - ○ От автора
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7
  - ○ 8
  - ○ 9
  - ○ 10
  - ○ 11
  - ○ 12
  - ○ 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57

- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101

- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117

Майкл Ондатже
Английский пациент

Michael Ondaatje
THE ENGLISH PATIENT

© Кротовская Н. Г., перевод на русский язык, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

В память о Скипе и Мэри Дикинсон

Посвящаю Квентину и Гриффину, а также Луизе Деннис с благодарностями

«Многие из вас, я уверен, помнят трагические обстоятельства смерти Джеффри Клифтона в Гильф-эль-Кебире, за которой последовало таинственное исчезновение его жены Кэтрин Клифтон. Это случилось в 1939 году во время экспедиции в пустыне в поисках затерянного оазиса Зерзура.

Не могу начать наше нынешнее заседание, не выразив соболезнования по поводу тех трагических событий.

А тема нашей лекции сегодня…»

Из протокола заседания Географического общества в ноябре 194… года, Лондон.

I. На вилле

Девушка работает в саду. Сильный порыв ветра, от которого колышутся высокие стройные кипарисы, заставляет распрямиться. Она вглядывается в даль. По всему видно, погода изменится: ветер гонит по небу тучи, слышны отдаленные раскаты грома, в воздухе пахнет грозой. Девушка поворачивается, идет вверх по тропинке к дому. Не успевает перелезть через низкую стену, как первые капли дождя падают на обнаженные руки. Проходит через лоджию и оказывается в доме.

Не задерживаясь на кухне, поднимается по темным ступенькам и идет по длинному коридору, в конце которого из приоткрытой двери пробивается полоска света.

Войдя в комнату, вновь оказывается в саду из деревьев и кустов, на этот раз – не настоящих, а нарисованных на стенах и потолке. На кровати лежит мужчина. Простыни откинуты, тело обдувает легкий ветерок. Услышав, что кто-то вошел, он медленно поворачивает голову.

Раз в четыре дня она обмывает его обгоревшее тело, начиная со ступней. Намочив водой салфетку, осторожно прикладывает к ногам, наблюдая, как он что-то бормочет от удовольствия, радуясь его улыбке. Выше колен ожоги сильнее: до мяса, до кости.

Она выхаживает его уже несколько месяцев – и знает каждую клеточку обгоревшего тела, пенис, похожий на спящего морского конька, стройные упругие бедра. Как у Христа, думает девушка. Он, ее безнадежный святой, лежит на спине, без подушки, и смотрит в потолок: на нарисованную листву и причудливые, шатром нависающие ветви, а над ними – голубое небо.

Она наносит полосками каламин[1] на его грудь: туда, где ожоги не такие сильные и можно дотронуться. Ей нравится касаться впадины под самым нижним ребром. Дойдя до плеч, нежно дует ему в шею, и он что-то невнятно бормочет в ответ.

– Что? – спрашивает девушка, очнувшись от раздумий и возвращаясь в реальный мир.

Он поворачивается к ней обгоревшим лицом. Серые глаза смотрят пристально. Из кармана платья она достает сливу, зубами снимает кожицу и кладет сочную мякоть ему в рот.

Он снова что-то шепчет, погружаясь в глубокий колодец воспоминаний, которые мучают его с тех пор, как он умер для всех. Он увел с собой эту девушку с чутким сердцем, молодую медсестру – в мир, куда зовет память.

Иногда мужчина тихо рассказывает ей истории, всплывающие

из небытия. Он просыпается в нарисованной беседке из зелени, кругом цветы, огромные ветви деревьев. Это вновь навевает воспоминания: пикники, женщина, целующая его тело, сейчас похожее на обгоревшую головешку.

– Я неделями пропадал в пустыне, забывая даже взглянуть на Луну, – рассказывает он, – как иной женатый мужчина может жить рядом с женой и не замечать ее. Не потому, что не любит или игнорирует ее, а потому, что занят чем-то очень важным, требующим полной отдачи; нельзя осуждать его за это.

Мужчина внимательно следит за лицом девушки. Если она посмотрит на него, отводит взгляд в сторону. Она наклоняется к нему.

– Что с вами случилось? Как это произошло?

Время за полдень. Он гладит тыльной стороной кистей край простыни, пальцы нежно касаются ткани.

– Мой самолет загорелся и упал в пустыне. Люди нашли меня и, сделав носилки из палок, тащили через всю пустыню. Мы были в районе Песчаного Моря, о чем свидетельствовали пересохшие русла рек. Это были кочевники, номады. Вы слышали о них? Бедуины. Когда самолет упал, горел даже песок. Они увидели меня, беззащитного в сжирающем пламени, привязали ремнями к носилкам, соорудив что-то вроде лодки, и побежали. Я, нарушивший покой пустыни, слышал глухие звуки их шагов.

Горящий самолет не был для бедуинов в диковинку: с 1939 года они видели, как аэропланы загорались в небе и падали в пустыню. Некоторые орудия труда и кухонную утварь они делали из металла сбитых самолетов или брошенных искалеченных танков. Это было время войны в небе. Люди научились различать звук сбитого самолета и могли безошибочно найти дорогу к месту падения. Порой маленький болтик из кабины становился сокровищем. Но, вероятнее всего, я был первым пилотом, который вышел живым из огня – с головой, объятой пламенем. Они не знали моего имени. А я не знал, из какого они племени.

– Кто вы?

– Не знаю. Вы все время спрашиваете меня об этом.

– Вы говорили, что англичанин.

Когда наступает ночь, он не может заснуть. И тогда девушка читает какую-нибудь книгу из тех, что удается найти в чудом уцелевшей библиотеке внизу. Дрожащее пламя свечи освещает страницы и лицо молодой медсестры, играя загадочными тенями в листве нарисованных на стене деревьев. Он слушает, впитывая каждое слово, как живительную влагу.

Если ночью холодно, она спит на его постели – рядом, но стараясь не задеть его даже рукой, потому что это причинит боль.

Иногда он не может заснуть до двух часов ночи и лежит, глядя в темноту.

Даже с завязанными глазами он мог с уверенностью сказать, что они пришли в оазис. Он чувствовал это по характерным приметам: по влаге в воздухе, шелесту пальмовых листьев и бряцанью конских уздечек; по приглушенному стуку ставящихся на песок жестяных ведер, наполненных водой.

Бедуины пропитали маслом большие куски мягкой ткани, которые накладывали на его лицо, руки, тело.

Он ощущал присутствие одного молчаливого человека, постоянно находившегося рядом; чувствовал его дыхание, когда тот наклонялся, меняя повязки и осматривая его кожу в темноте.

Когда снимали повязки, он, голый, снова чувствовал себя беззащитным перед полыхающим в огне самолетом. Его завернули в несколько слоев войлока. Интересно, что же это за племя? В какой стране растут такие мягкие финики, которые бедуин, находящийся рядом, сначала разжевывал сам, а потом клал ему в рот? Тогда, среди аборигенов, забылось, откуда он сам. Возможно, его сбил в воздушном бою умелый противник.

Позже, в госпитале в Пизе, каждую ночь мерещилось лицо бедуина, который разжевывает финики и кладет ему в рот.

То были ночи мрака: он не слышал ни разговоров, ни песен. Бедуины замолкали, когда он просыпался. Он возлежал в гамаке и мысленно тешил тщеславие, представляя сотни суетящихся вокруг него бедуинов, а среди них, возможно, и тех двоих, которые нашли его и сорвали с головы шлем, объятый языками пламени. Тех двоих, которых он мог узнать только по вкусу слюны от разжеванного финика и по глухому звуку бегущих ног.

Девушка сидит, читая при дрожащем свете лампы-керосинки, время от времени бросая взгляд сквозь дверной проем в длинный коридор виллы, в которой до этого размещался военный госпиталь. Здесь она жила с другими медсестрами до того, как все уехали, потому что фронт передвинулся на север, и война приблизилась к концу.

Читая английскому пациенту по вечерам, она открыла для себя новый мир – мир книг, который позволял забыть о затворничестве и стал нитью, связывающей с внешним миром. По ночам, склонившись над столом, она читала о молодом юноше-сироте из Индии, который учился запоминать с одного короткого взгляда разрозненные драгоценные камни и иные предметы, лежащие на подносе, разговаривать на разных диалектах, тренировать разум и волю, не поддаваться гипнозу[2].

Книга лежала на коленях. Вдруг она поняла, что уже пять минут неотрывно смотрит на семнадцатую страницу, где кто-то

загнул угол, словно какой-то знак. Разгладила страницу рукой. Что-то быстро пронеслось в памяти, словно мышь по чердаку над потолком или мотылек в ночном окне. Девушка снова посмотрела в коридор, хотя кого она могла там увидеть? Ведь кроме нее и английского пациента, никто не живет на этой вилле Сан-Джироламо. С голоду они не умрут, ибо в развороченном бомбами фруктовом саду над домом она посадила немного овощей, а из соседней деревни время от времени наведывался мужчина, которому она меняла мыло, простыни или еще что-нибудь, оставшееся от военного госпиталя, на продукты: фасоль или мясо. Однажды мужчина принес даже две бутылки вина, и тогда каждую ночь, дождавшись, пока англичанин уснет, девушка осторожно выскальзывала из-под одеяла, торжественно наполняла небольшую мензурку, садилась за столик напротив приоткрытой двери и продолжала читать книгу, отхлебывая вино маленькими глотками.

Поэтому англичанину, когда следующим вечером она снова читала вслух, пропустив свои ночные куски, наверное, трудно было следить за сюжетной линией, которая время от времени прерывалась, – да и вникал ли он в повествование?

Вилла, в которой они нашли свое пристанище, очень напоминала такую книгу с недостающими главами. В некоторые комнаты было невозможно войти, потому что вход был завален камнями. Внизу располагалась библиотека, которую через дыру от тяжелого снаряда то и дело заливал дождь, а по ночам туда попадал лунный свет. В углу стояло вечно промокшее кресло.

Ее не особенно волновало, что англичанину доводится слушать не всю книгу подряд. Она не пересказывала содержание той части, которую прочитала одна. Просто приносила книгу и говорила «страница девяносто шесть» или «страница сто одиннадцать». Это было единственным вступлением к чтению. Она брала его руки и, поднеся к лицу, вдыхала их запах – запах болезни.

– Кожа на ваших руках загрубела, – однажды сказал он.

– Это от работы в саду, от сорняков и колючек.

– Будьте осторожны. Я предупреждал, что будет трудно.

– Я знаю.

Затем она начала читать.

Это отец рассказал ей о том, что по запаху рук можно определить состояние здоровья человека. А еще интереснее говорил о собаках. Всякий раз, оставаясь один дома, он наклонялся к собаке и вдыхал запах подушечек лап. Любил повторять, что это самый чудесный запах в мире – и действует почище глотка бренди. А какой букет! Увлекательные рассказы о

путешествиях! Она делала вид, что ей неприятно, но лапы *действительно* были чудом: они никогда не имели запаха грязных мест. «Конечно, пес побывал возле церкви! – говорил отец. – А потом в саду…» Потом дорога шла через высокую траву, цикламены – по запаху можно было догадаться обо всех путях и дорожках, которые прошли эти лапы за день.

Что-то похожее на мышь пронеслось по перекрытию над потолком, и она снова оторвала взгляд от книги.

Наступил день солнечного затмения, который они ждали. Сняли с его лица маску из трав. Где он? И что это за цивилизация, которая умеет предсказывать погоду и затмения? Если взять за ориентир Эль-Ахмар (или Эль-Абьяд?[3]), это, должно быть, одно из северо-западных племен пустыни – люди, которые смогли найти пилота, упавшего с неба, и наложить на лицо маску, сплетенную из трав.

На нем был покров из травы. Его самым любимым местом были травяные луга в Кью[4], где краски так нежны и разнообразны.

Напрягая зрение, человек попытался хоть что-то рассмотреть в полутьме. К тому времени они уже научили его простирать руки к небу, чтобы вобрать жизненную энергию из Вселенной. Его перетаскивали на носилках, сделанных из войлока и веток. Высоко в небе, около закрытого Луной солнечного диска, были видны медленно движущиеся вереницы фламинго.

Он чувствовал, как на его кожу постоянно накладывали мази – и наступала темнота. Однажды ночью он услышал высоко в воздухе звук, похожий на перезвон колокольчиков на ветру. Через некоторое время звук прекратился, и он заснул с желанием услышать его снова – странный звук, напоминающий крик снижающейся птицы (может быть, фламинго?) или лисы пустыни, которую один из бедуинов носил в кармане бурнуса.

На следующий день, когда он снова лежал, обернутый тканью, вновь услышал эти звуки. Когда наступили сумерки и с него сняли войлок, вдруг показалось, что приближается голова мужчины на столе, но затем он понял, что мужчина нес на плечах огромных размеров коромысло, к которому на нитях разной длины были привязаны сотни маленьких бутылочек. Двигаясь, человек словно находился в центре стеклянного занавеса, издающего мелодичные звуки.

Фигура мужчины напоминала одного из архангелов, которых он пытался рисовать в детстве, недоумевая, как в таком маленьком теле могут умещаться такие сильные мышцы для огромных крыльев. Движение было медленным и осторожным, так что бутылочки почти не раскачивались. Архангел взмахивал

крылом, доставая нужную бутылочку, и накладывал на кожу мази, согретые солнцем – специально для облегчения ран. За спиной у него было свечение – синие и другие оттенки, дрожащие в дымке и на песке. Он помнит слабый перезвон стеклянных бутылочек, разнообразные цвета, царственную походку мужчины и лицо, похожее на плоский темный приклад ружья.

На всем караванном пути из Судана в Гизу, который назывался Дорогой Сорока Дней, его хорошо знали. Он встречал караваны, торговал пряностями и напитками и странствовал от оазиса к оазису. В стеклянном оперении из бутылочек шел он сквозь песчаные бури, и уши были заткнуты такими же пробками, как и бутылочки, так что и сам себе он казался одним из своих сосудов, этот врачеватель-купец, повелитель мазей, притирок и лекарств от всех болезней, этот баптист. Он сам приходил к тому, кто нуждался в его помощи, и раскрывал перед ним свой стеклянный занавес.

Раскинув крылья, он постоял над обгоревшим телом, после чего воткнул глубоко в песок две палки и, положив на них двухметровое коромысло, освободился от своей ноши, чтобы приняться за работу. Подошел к обожженному летчику, опустился на колени и, положив холодные ладони на его шею, какое-то время сидел не двигаясь.

Затем, соединив подошвы ног, сделал из них подобие чашечки. Откинувшись назад и даже не глядя на бутылочки, нашел нужные. Вытащив зубами пробки и держа их во рту, он смешивал содержимое в импровизированной чаше. Запахи вырвались на волю: моря, ржавчины, индиго, чернил, речной тины, крушины, формальдегида, парафина, эфира. Потоки воздуха подхватили их и разнесли по округе, и, почуяв аромат, вдалеке заревели верблюды. Он начал втирать в кожу на груди пациента пасту зелено-черного цвета. К ней был примешан порошок из растолченной кости павлина, который он выменял в одном из старых поселений к западу или к югу отсюда, зная, что это самое сильнодействующее целительное средство при ожогах.

Дверь между кухней и полуразрушенной часовней вела в библиотеку овальной формы. Внутри ничто не напоминало об опасности, кроме огромной глубокой дыры в дальней стене – следа от артобстрела двухмесячной давности. В общем, комната уже свыклась с этой раной, молчаливо принимая и вбирая в себя капризы погоды, свет вечерних звезд и голоса птиц. В библиотеке были диван, рояль, накрытый серой простыней, чучело медвежьей головы на стене и полки с книгами до самого потолка. Полки, расположенные ближе к развороченной стене, разбухли от дождя и согнулись под тяжестью книг. Молния была частой гостьей в

этой комнате, нанося краткие визиты и освещая зачехленный рояль и ковер.

В дальнем углу находилась застекленная створчатая дверь, забитая досками. Если бы она была открыта, из библиотеки можно было бы попасть в лоджию, потом, спустившись по тридцати шести шатким ступенькам вниз, пройти мимо часовни туда, где когда-то красовался луг; сейчас это место избороздили рубцы от зажигательных бомб и фугасок. При отступлении немцы заминировали многие дома, поэтому ради безопасности двери в остальные неиспользуемые комнаты тоже были забиты.

Девушка знала, какие опасности могут подстерегать в темноте библиотеки. Внезапно ощутив тяжесть своего веса на дощатом полу, снова подумала, что этого могло бы хватить, чтобы привести в действие механизм заложенной где-нибудь под полом мины. И тогда все, что останется от нее, – яркая вспышка от взрыва и рваная дыра в потолке.

Подойдя к полке, с трудом вытащила из массы слипшихся книг одну. Усилия были вознаграждены яркой обложкой с аквамариновым небом, озером и индейцем на переднем плане. В полумраке комнаты прочла название – «Последний из могикан». Затем, словно боясь побеспокоить кого-то, пошла назад, осторожно наступая в свои же следы в целях безопасности, а может, придумав для себя игру в невидимку. Закрыв дверь, поставила доски – сигнал предупреждения – на место.

В комнате английского пациента девушка села в нише окна, на границе разрисованных стен с одной стороны и долины, расстилающейся внизу – с другой. Открыла книгу. Страницы слиплись от влаги, и она почувствовала себя Робинзоном Крузо, нашедшим утонувшую книгу, которую волны выбросили на берег, а солнце высушило на песке. «Повествование о 1757 годе. Иллюстрации Н. С. Виета». Как во всех хороших книгах, в этой был список иллюстраций, и под каждой – строчка из текста.

Она погрузилась в чтение, зная, что это закончится ощущением, будто прожит кусок чужой жизни, сотканной из событий, протянувшихся на двадцать лет; тело будет казаться переполненным грустью, смущением и досадой, словно она проснулась с чувством тяжести оттого, что не может вспомнить, что приснилось.

Этот небольшой итальянский городок на холмах, стоящий на страже северо-западного направления, находился в осаде более месяца. Заградительный огонь был сконцентрирован на двух виллах и мужском монастыре, окруженных яблочными и сливовыми деревьями. Одной из них была вилла Медичи[5], где

жили генералы. А как раз над ней, выше по склону, располагалась вилла Сан-Джироламо, где прежде был женский монастырь, толстые надежные стены которого сделали ее последним оплотом германской армии. Здесь размещались сто человек. Когда здания городка начали разлетаться на части от взрывов, как корабли в морской битве, солдаты перебазировались из походных палаток в саду в уже переполненные комнаты старого женского монастыря. Была разрушена часовня. Стены верхнего этажа обвалились. Когда этот дом наконец перешел в руки союзников и здесь определили место прифронтовому госпиталю, лестница на третий этаж уже вела в никуда, хотя сохранились части трубы и крыши.

При эвакуации госпиталя на юг, в более безопасное место, она и англичанин категорически отказались ехать со всеми и настояли на том, чтобы остаться здесь. На вилле было холодно, отсутствовало электричество. В некоторых комнатах, выходивших окнами на долину, разрушены стены. Часто, открыв дверь в какую-нибудь из комнат, она видела притулившуюся в углу кровать, промокшую от дождя и заваленную листьями. А иногда дверь вела просто в долину, потому что комнаты уже не было. В некоторых оставшихся гнездились птицы.

На лестнице не хватало нижних ступенек, поэтому девушка принесла из библиотеки двадцать книг и, положив одна на одну, восстановила две ступеньки. Согреваясь в холодные дни, они сожгли почти все стулья. Правда, в библиотеке еще оставалось кресло, но оно было всегда сырым, насквозь промокшим от вечерних ливней, которые хлестали через дыру в стене. Лишь сырой мебели удалось избежать участи быть сожженной в тот апрель 1945 года.

В доме оставалось мало кроватей. У нее не было личной спальни, нравилось кочевать по дому со своим соломенным матрацем или гамаком, располагаясь на ночлег то в комнате английского пациента, то в коридоре, что зависело от погоды, ветра или света. Утром сворачивала матрац и перевязывала бечевкой. Уже потеплело, и она открывала комнаты, впуская теплый воздух и солнечный свет, чтобы проветрить темные углы и просушить помещение.

Иногда ложилась там, где вообще не было стен: стелила матрац на самом краю комнаты, засыпая под скоплениями звезд и плывущими в небе облаками, просыпаясь от раскатов грома и бликов молнии. Девушке было всего двадцать лет, и хотя бы в такие минуты хотелось быть безрассудной, беспечной и не думать об опасностях типа заминированной библиотеки или внезапного грохота грома, который испугал среди ночи. Она устала от затворничества в замкнутом пространстве долгими холодными

месяцами; нестерпимо хотелось простора. Она входила в грязные комнаты со сгоревшей мебелью, где жили солдаты, выгребала листья, вымывала следы от испражнений и выскребала обуглившиеся столы. Жила как бродяга, в то время как английский пациент покоился на своем ложе как король.

Наружная лестница со свисающими перилами была разрушена, и со стороны могло показаться, что на вилле никто не живет. Это было им на руку, так как обеспечивало относительную безопасность и защиту от бандитов, которые уничтожали все, что попадалось на пути. Она выращивала в саду овощи, а свечу зажигала только ночами – по необходимости. Тот простой факт, что вилла казалась грудой безжизненных развалин, защищал их; она, еще не женщина и уже не ребенок, чувствовала себя здесь в безопасности. Хлебнув из ковша тягот и горестей войны, девушка решила, что больше ее не заставят выполнять приказы и служить на благо всего прогрессивного человечества. Она будет служить одному человеку и ухаживать за ним – обгоревшим пациентом: читать, обмывать, делать инъекции морфия… И посвятит ему всю себя. В саду она сделала несколько грядок. Нашла у разрушенной часовни двухметровый крест и поставила на огороде, повесив на него пустые консервные банки, которые дребезжали на ветру и отпугивали птиц. Пройдя по дорожке, мощенной булыжником, оказалась в келье без окон, где хранила аккуратно упакованный чемодан. Там было несколько писем, пара сложенных платьев и металлическая коробка с медицинскими инструментами. Она уже расчистила малую часть виллы и могла все это сжечь, если захочет.

Чиркнув спичкой в темном коридоре, она зажигает фитиль свечи. Пламя поднимается до уровня плеч. Поставив свечу на пол, девушка садится и, обхватив колени руками, вдыхает запах серы. Ей кажется, что вместе с запахом в нее входит свет.

Отойдя на несколько шагов назад, кусочком белого мела она чертит прямоугольник на деревянном полу. Затем, отодвигаясь все дальше назад, рисует еще несколько прямоугольников, и вот уже на полу целая гроздь: один, потом двойной, потом снова один… Опершись на левую руку, она рисует с серьезным видом, опустив голову вниз. Прямоугольников все больше, пламя свечи все дальше. Некоторое время неподвижно сидит на собственных пятках.

Девушка роняет кусок мела в карман платья, затем встает, подбирает юбку и подтыкает на талии. Достав из другого кармана металлическую биту, бросает ее перед собой так, что та падает на самый отдаленный прямоугольник.

С силой прыгает вперед, тень корчится за ней в глубине коридора. Она перепрыгивает из квадрата в квадрат, ударяя подошвами теннисных туфель в номера, которые написаны в каждом прямоугольнике; прыг-скок, прыг-скок – на одной, потом на двух, и так дальше, пока не доходит до последнего прямоугольника.

Наклонившись, поднимает с пола биту, застывает в этом положении – с подоткнутой за пояс юбкой, с опущенными вдоль тела руками – и тяжело переводит дыхание. Набрав в легкие воздуха, задувает свечу.

Теперь ее окружает темнота, в которой чувствуется запах дыма.

Она подпрыгивает снова и, повернувшись в воздухе, двигается в обратном направлении, прыгая быстрее и стараясь попасть в «классики». Звонкие хлопки подошв гулким эхом разносятся по длинному коридору к дальним углам заброшенной итальянской виллы и дальше – в ночь, освещенную луной, к скалам в ущелье, которые полукругом обрамляют дом.

Иногда по ночам английский пациент ощущает легкую дрожь дома и слышит шум, похожий на хлопки. Он напрягает слух, пытаясь определить, что это за шум и откуда он.

С маленького столика у его кровати она берет книгу небольшого формата, которую он пронес сквозь огонь. Это – экземпляр «Историй» Геродота[6]. Его страницы прекрасно уживаются с наблюдениями и заметками, которые английский пациент записывал между строчками, а также с рисунками и листами из других изданий, вырезанными и вклеенными сюда.

Она начинает читать, с трудом разбирая его мелкий угловатый почерк.

Есть постоянные ветры, досаждающие людям и сегодня. В Южном Марокко, например, бывает смерч, *аджедж*, от которого феллахи защищаются ножами. А еще известен *африко*, иногда доходящий даже до Рима. *Алм* – ветер с ливнем из Югославии. *Арифи*, прозванный также *ареф* или *рифи*, обжигает своими многочисленными языками.

Но есть и другие ветры, более изменчивые, способные сбить с ног лошадь, повергнуть наземь всадника и, развернувшись, устремиться в обратном направлении. *Бист роз* налетает на Афганистан и бушует в течение 170 дней, сметая и погребая заживо целые деревни. В Тунисе есть горячий сухой *гибли*; он крутится, и крутится, и крутится – и очень странно влияет на нервную систему. *Хабуб* из Судана – пыльная буря в виде ярких стен из желтого песка высотой до тысячи метров –

сопровождается дождем. *Харматтан*, который дует, дует и в конце концов тонет в Атлантике. *Имбат* – морской бриз в Северной Африке.

Некоторые ветры похожи на тоскливый вздох небес. Ночные пыльные бури, которые приносят холод. *Хамсин*, пыльный ветер Египта с марта по май. Его название в переводе с арабского означает «пятьдесят», потому что он хозяйничает в течение пятидесяти дней и считается «девятой казнью египетской». *Дату* с Гибралтара несет ароматы и благоухание.

Есть еще тайный ветер пустыни, название которого никто не узнает, так как король приказал стереть его из памяти, когда от этого ветра погиб его сын. *Нафхат* – несется из Аравии, *меццар-ифоулоу-зеп*, яростный холодный, приходит с юго-запада; бедуины называют его «тот, что ощипывает перья». *Бешабар* – темный и сухой северо-восточный ветер с Кавказа – «черный». *Самиэль* из Турции, «яд и ветер», часто пользуемый в сражениях. Помогали древним полководцам и другие «ядовитые ветры» – например, *самум* в Северной Африке или *солано*, который срывает и несет с собой лепестки редких растений, вызывающих головокружение.

Есть еще особые ветры.

Они хищниками рыщут по земле. Сдирая краску, валя на землю телеграфные столбы, переворачивая камни и отрывая головы статуям.

Харматтан властвует в Сахаре и состоит из красной пыли – красной, как огонь, и мелкой, как мука, которая забивает ружейные затворы. Моряки прозвали его «морем тьмы». Красные песчаные туманы доносились далеко на север, к Корнуоллу и Девону[7]. Дожди, с которыми этот песок падал на землю, люди принимали за кровь. «Широко сообщалось о том, что в Португалии и Испании в 1901 году выпали „кровавые“ дожди».

Мы даже не подозреваем о том, что воздух наполнен миллионами тонн песка, как земля – миллионами кубометров воздуха. Не приходит в голову, что в земле обитает больше живых существ (например, червей и жуков), чем на ее поверхности. Геродот пишет об исчезновении нескольких армий, которых поглотил самум. Один народ даже «был настолько приведен в ярость этим злым ветром, что объявил ему войну и отправился в поход в полном вооружении с поднятыми мечами только для того, чтобы быть быстро и полностью втертым в землю».

Пыльные бури бывают трех видов. Вихрь. Столб. Стена. В первом случае не видно горизонта. Во втором вас окружают «вальсирующие джинны». В третьем «встает медно-красная стена, и кажется, что все объято пламенем».

Девушка поднимает голову от книги и замечает, что он

смотрит на нее. Затем отводит глаза в темноту и начинает рассказ.

У бедуинов были свои причины для того, чтобы сохранить мне жизнь. Видите ли, я мог быть им полезным. Когда самолет потерпел аварию в пустыне, кто-то сказал им, что я не простой летчик, но и кое-что умею – например, по очертаниям на карте определить, какой это город. Я из тех, кто, оказавшись один в чужом доме, направляется к книжному шкафу, достает книгу и читает, забыв обо всем. Так вбирается в себя история. Я помнил карты морских глубин, расположения слабых мест земной коры, схемы маршрутов крестоносцев, начертанные на телячьих шкурах…

Поэтому места эти были мне знакомы еще до того, как самолет упал туда. Я знал, когда эту пустыню пересек Александр Македонский, движимый благородными мотивами или алчностью. Понимал обычаи кочевников, одержимых шелком и колодцами. Одно племя выжгло дно долины до черноты, чтобы повысить конвекцию и тем самым вероятность дождя, и возвело высокие сооружения, чтобы проткнуть чрево облака. Было и другое племя (и не одно), люди которого протягивали руки ладонями вперед, отстраняя от себя ветер. Они верили: если сделать это в нужный момент, можно направить ветер в иную часть пустыни – к иному, менее благословенному племени, которое было в немилости…

В пустыне легко потерять ощущение реальности. Когда самолет упал в эти желтые волны, единственной мыслью было: я должен построить плот.

…Я должен построить плот.

И здесь, в сухих песках, было ясно, что меня окружали люди воды.

В Тассили[8] видел наскальные рисунки тех времен, когда на месте Сахары лежало море, а люди плавали на лодках из тростника. В Вади-Сура[9] обнаружил пещеры с наскальными изображениями пловцов. Там было когда-то озеро. Я мог нарисовать его контуры на стене, а мог – отвести людей к его береговой линии, оформившейся шесть тысячелетий назад.

Попросите моряка описать самое древнее известное парусное судно, и он расскажет о трапециевидном парусе, который свисал с мачты тростниковой лодки – такие я видел на наскальных рисунках в Нубии, относящихся еще к дофараоновской эпохе. В той пустыне до сих пор археологи находят гарпуны. Там действительно была вода. Даже сейчас караванные пути похожи на реки, хотя вода здесь – редкая гостья. Вода сейчас в изгнании. Перенесенная в эти места в банках и флягах, она, словно

призрачное видение, исчезает в руках и во рту.

Когда я оказался среди них и не мог определить, где нахожусь, все, что было нужно – название небольшого горного хребта, или местный обычай, или любая маленькая частичка доисторического животного[10], – и карта окрестного мира была бы восстановлена в памяти.

Что мы знали об этих районах Африки? То, что долина Нила превратилась в поле сражений, простирающееся на полторы тысячи километров в глубину пустыни. Восемь тысяч людей на быстроходных танках, бомбардировщиках средней дальности «Бленхейм», в гладиаторских боях на бипланах. Казалось, вся Европа воевала в Северной Африке. С кем они сражались? И кто защищал эти места – плодородные земли Киренаики, соленые болота Эль-Агейла?

Накрыв летчика тканью, пропитанной маслом, а сверху плащом, бедуины несли его по пустыне пять дней.

Это был путь во мраке.

Внезапно он почувствовал, что температура упала. Они пришли в долину, окруженную высокими красными скалами. Здесь находился лагерь остатков племени людей воды, которое доживало свой век среди песка, пропадая в нем, как вода (а их голубые одежды были похожи на струи молока или крылья). Они сняли с него мягкую ткань, которая прилипла к телу. Как и тысячу лет назад, высоко в небе парили канюки, плавно снижаясь к горной расщелине…

Утром его понесли в дальний конец глубокого ущелья. Теперь люди разговаривали громко, и из разговора он понял, что там находился склад оружия. Потому-то он был нужен им.

Глаза были завязаны, поэтому он не видел, где остановились. Его руку открытой ладонью прижали к металлическому стволу какого-то огнестрельного оружия, затем отпустили. Голоса умолкли. Его доставили туда, чтобы определить тип оружия.

– Двенадцатимиллиметровый пулемет «Бреда». Италия.

Оттянул затвор, проверил пальцем патронник – пустой, затем, отпустив затвор, нажал на спусковой крючок. Раздался щелчок.

– Отличный пулемет, – пробормотал он.

Его понесли дальше.

– Ручной пулемет «Шаттелеро» калибра семь с половиной. Модель 1924 года. Франция.

– Авиационный пулемет МГ-15 калибра семь и девять десятых. Германия.

Его подносили к каждому виду оружия, которое, казалось,

было собрано из разных времен и стран – своеобразный музей в пустыне. Осторожно смахнув пыль, проводил ладонью по очертаниям ложа и магазина или дотрагивался пальцем до прицела, называл калибр, и его несли дальше.

Он насчитал восемь видов оружия, которые опознал, громко называя сначала по-французски, а потом на их родном языке. Но что они в этом понимали и зачем это было нужно? Возможно, не столько важно было название, сколько сам факт, что сбитый летчик действительно разбирается в огнестрельном оружии.

Его снова взяли за запястье и погрузили руку в ящик с боеприпасами. Справа был еще один, с патронами, на этот раз – семимиллиметровыми.

В детстве его воспитывала тетя. Он хорошо помнит, как, рассыпав на лужайке колоду карт лицом вниз, учила мальчика играть. Каждому разрешалось перевернуть только две карты, а потом по памяти нужно было постепенно восстановить пары. Но все это происходило в другом мире – среди ручьев, в которых играла форель, и лугов, залитых пением птиц. Можно было узнать их по голосам: то был мир, полный названий.

А сейчас, с маской из трав на лице, он выбирал патрон, указывал, к какому оружию его поднести, вставлял, двигал затвором и, подняв дуло вверх, стрелял в воздух. Звук выстрела отдавался в ущелье безумным грохотом. *«Эхо – это душа голоса, пробуждающаяся в пустоте».* Мужчину, который когда-то написал эти строки в стенах одной английской больницы, считали нелюдимым и немного не в себе. Но летчик в пустыне был вполне нормальным и сохранил здравость ума; с такой же легкостью, как когда-то подбирал пары карт и подбрасывал их в воздух, улыбаясь тетушке, теперь находил на ощупь подходящие патроны для каждого типа пулемета и разряжал их в воздух, а его зрители, которых он не видел, отвечали на каждый выстрел одобрительными возгласами.

Следом шел бедуин и процарапывал ножом одинаковые шифры калибров на ящиках с патронами и стволах. А пленник был рад движению и оживлению после стольких дней неподвижности и уединения. Своими знаниями он расплатился за то, что они спасли его, пусть даже не бескорыстно.

В некоторых селениях совсем нет женщин. Слух о его исключительных знаниях, которые могут принести пользу, проносится от племени к племени. Восемь тысяч аборигенов, и каждый – индивидуальность. Он прикасается к особенной музыке и особенным обычаям. Слышит ликующие песни племени мзина, воздающие хвалу воде, танцы *дахия*, звуки дудок, которыми

пользуются, чтобы предупредить об опасности, двойных флейт макруна (одна из которых звучит монотонно, как басовая трубка волынки). А затем другая деревня – на этот раз территория пятиструнных лир. Каждое новое селение или оазис полон своих прелюдий и интерлюдий. Хлопки в ладоши. Молчаливый танец.

Он может увидеть своих спасителей и одновременно поработителей только после сумерек, когда снимают повязку. Теперь он знает, где находится. Для некоторых племен рисует карты мест, которые расположены за пределами их границ, соседним объясняет устройство оружия.

Музыканты сидят близ костра по другую сторону. Через языки огня легкий порыв ветра доносит звуки лиры *симсимия*. Под них танцует мальчик, который так хорош в освещении пламени костра, что трудно оторвать взгляд. В бликах огня его худые плечи кажутся белыми, как папирус, на животе искрятся капельки пота, а нагота, которая, подобно отблескам молнии, просвечивает сквозь разрезы синего балахона от шеи до лодыжек, соблазняет и манит.

Их окружает ночная пустыня, покой которой нарушают лишь ураганы да караваны. Здесь постоянно подстерегают тайны и опасности. Однажды он, опустив руку в песок, неожиданно порезался острой бритвой, которая неизвестно как там оказалась. Иногда нет возможности точно сказать, явь это или сон, но порез такой четкий, что не оставляет боли; он проводит рукой по голове (до лица еще невозможно дотронуться), чтобы обтереть кровь и привлечь внимание бедуинов, в плену которых находится, к своей ране. Существовало ли на самом деле это селение, где нет ни одной женщины – и куда его принесли в полном молчании? Действительно ли целый месяц он находился в абсолютной темноте, когда не видно даже луны? Может быть, просто приснилось, что он был окутан коконом из масла, войлока и темноты?

Они проходили мимо колодцев, где вода была проклята. На некоторых открытых участках песок поглотил города, и он ждал, пока спутники откапывали стены или колодцы. В памяти всплывал образ танцующего у костра подростка, чистая красота его непорочного тела – чистая, как звук голоса мальчика-хориста, как прозрачная речная струя или воды морских глубин. Здесь, в пустыне, где когда-то было море, ничто не застывало и не останавливалось, но все находилось в медленном движении – как одежды на танцующем мальчике, словно он входил в океан или медленно выплывал из его волн, словно из последа при рождении. Подросток, пробуждающий свою страсть; его гениталии медленно покачивались в свете костра.

Затем костер засыпают песком, и только дым поднимается над ним. Звуки музыкальных инструментов похожи на ритмичные удары пульса или стук капель дождя. Мальчик делает знак рукой, чтобы замолчали дудки. Его нет, уже не слышно и удаляющихся шагов. Только груда тряпья. Один из мужчин ползет вперед и подбирает несколько капель спермы, упавшей на песок. Он подходит к белому человеку – исследователю оружия – и пересыпает ему в руки эти капли с песком. Ничто не ценится в пустыне так, как влага.

Девушка стоит, ухватившись за края таза, и смотрит на стену перед собой; затем, водя головой из стороны в сторону, – на отражение в воде. До этого не было времени и желания смотреть на себя, и она убрала все зеркала в пустую комнату. Набирая в руки воду, смачивает голову. Это придает приятное ощущение свежести, когда она выходит из дома и легкий ветерок обдувает ее, заставляя забыть о плохом.

II. Безучастный к жизни

Мужчина с забинтованными руками находился в римском госпитале уже более четырех месяцев, когда случайно услышал имя медсестры, оставшейся с обгоревшим пациентом. Резко повернулся от двери и подошел к группе врачей, чтобы узнать, где можно найти ее, – чем немало удивил их. Дело в том, что, несмотря на довольно долгий срок пребывания, он неохотно шел на контакт и ни с кем не сблизился. Общение ограничивалось жестами и мимикой, иногда – усмешкой. От него ничего нельзя было узнать, даже имя: а в медицинской карте был поначалу записан лишь личный воинский номер; это, по крайней мере, могло означать, что он принадлежал к армиям союзников.

Он прошел двойную проверку, и из Лондона прислали подтверждение, что человек с этим номером действительно значился в списках личного состава канадского корпуса. При осмотре врачи, глядя на его бинты, понимающе кивали. В конце концов, победителей не судят. Герои тоже хотят и имеют право помолчать.

Он чувствовал себя спокойнее, охраняя молчанием собственную безопасность, ничего не открывая и не рассказывая. Они ничего не добьются ни нежностью, ни уговорами, ни угрозами. За четыре месяца он не произнес ни слова. Когда привезли и дали дозу морфия, чтобы заглушить боль в руках, он был большим животным, совершенно безучастным к жизни: сидел в кресле с подлокотниками в полутемном углу, наблюдая за суетой медсестер и движением пациентов из палаты в палату.

Но сейчас, проходя мимо врачей в холле, он услышал женское имя, замедлил шаг, повернулся, подошел к ним и спросил, в каком конкретно госпитале она работает. Ответили, что она осталась в бывшем женском монастыре к северу от Флоренции[11]. Там шли ожесточенные бои, и монастырем сначала владели немцы, а потом, после осады союзниками, он был переоборудован во временный полевой госпиталь. Здание почти наполовину разрушено, там небезопасно. Тем не менее, когда госпиталь эвакуировался, медсестра и ее пациент отказались покинуть его вместе со всеми.

– Почему вы не приказали им уехать?

– Она заявила, что ее пациент слишком слаб и не вынесет переезда. Мы, конечно, постарались бы доставить его как можно аккуратнее, но тогда было не до споров. Да и сама она была далеко не в лучшем состоянии.

– Ранена?

– Нет. Возможно, небольшая контузия после взрыва. Ее следовало бы отправить домой, но проблема в том, что здесь война закончилась, и никто уже не подчиняется приказам. Пациенты самовольно уходят из госпиталей. Солдаты разбегаются, не дожидаясь, когда их отправят домой.

– На какой вилле? – спросил нелюдимый больной.

– На той, где, говорят, в саду живут призраки, – Сан-Джироламо. А вообще-то у нее есть свой призрак – обгоревший пациент: у него нет лица, и он не реагирует ни на что. Даже если провести спичкой по щеке, не увидите никакой реакции. Мертвое лицо.

– Кто этот обгоревший? – спросил он.

– Мы не знаем его имени.

– Он не разговаривает?

Врачи рассмеялись.

– Разговаривает, почти все время, но не помнит, кто он.

– Откуда его привезли?

– Бедуины привезли его в оазис Сива. Потом он некоторое время находился в госпитале в Пизе, а потом… Возможно, у какого-нибудь араба и хранится бирка с его именем. Может быть, когда-нибудь он продаст ее – и мы наконец узнаем его имя. Или нет. Арабам очень нравятся эти бирки. У летчиков, которые потерпели аварию в пустыне и поступили к нам, никогда не бывает именных бирок, по которым их можно идентифицировать. А сейчас этот пациент скрывается на вилле в Тоскане, и девушка ни за что не бросит его. Союзники сумели разместить там сотню раненых. До того немцы удерживали монастырь – свой последний оплот – с небольшим отрядом. Стены некоторых комнат расписаны под разные времена года. За виллой расположено узкое ущелье. И все это – в горах, в тридцати километрах от Флоренции. Вам, конечно, понадобится пропуск. Может, мы попросим кого-нибудь подвезти вас. Там вокруг остались ужасные следы боев: убитые животные, мертвые лошади, наполовину съеденные, тела убитых людей, свисающие с моста. Последние злодеяния войны. Там все начинено минами – саперам хватит работы надолго. При отступлении немцы заминировали почти все. Для госпиталя это было ужасное место. Кругом стоял запах смерти. Потребуется не одна стая воронов и немало снежных метелей, чтобы очистить эту страну от мертвых тел и замести следы войны.

– Спасибо.

Впервые за время пребывания в римском госпитале он вышел на воздух, на солнце – вырвался наконец из больничных палат с зеленоватым светом, в которых чувствовал себя как в стеклянной

банке. Стоял, вдыхая воздух полной грудью, вбирая все, что видит вокруг. «Прежде всего, – подумал он, – нужны ботинки на резиновой подошве. А еще я хочу мороженое».

В трясущемся поезде он долго не мог заснуть. Пассажиры курили. Виском ударялся об оконную раму. Люди были одеты в черное, огоньки сигарет походили на маленькие костры в ночи. Он заметил, что всякий раз, когда поезд проезжал мимо кладбища, все крестились.

«Она сама далеко не в лучшей форме».

Мороженое для миндалин, подумал он. И вспомнил, как они втроем – с девочкой и ее отцом – пришли в больницу, где ей должны были удалить гланды. Она только взглянула на палату, полную других детей, и наотрез отказалась. Эта девочка, такая послушная и покладистая, вдруг проявила твердость и железную волю, чего никто не ожидал. Она не позволит ничего делать с собой и будет жить с *этим*, что бы ни случилось. А он до сих пор так и не узнал, что это за штука – гланды.

«Странно, – пронеслось в мыслях, – что они не тронули голову». Самое страшное, когда он представлял себе, что они могли бы сделать дальше, какой орган отрезать следующим. В такие минуты он всегда беспокоился за голову.

Опять что-то, похожее на мышь, пробежало по перекрытию потолка.

Он остановился в дальнем конце коридора и, поставив саквояж на пол, помахал ей сквозь тьму и колеблющиеся облачка свечных огоньков, а потом направился по длинному коридору. Девушку немного удивило, что не было слышно звука шагов: он приближался почти бесшумно. Это действовало успокаивающе и было знаком того, что пришелец не разрушит уединенный мир: ее и английского пациента.

Когда он проходил мимо канделябров в коридоре, они отбрасывали тень на стены. Девушка подкрутила фитиль лампы, и стало немного светлее. Сидела прямо, с книгой на коленях; он подошел и склонился над ней, как старый добрый дядюшка.

– Скажи мне, что такое миндалины.

Она посмотрела удивленно.

– Я помню, как ты пулей выскочила из больницы, а мы с отцом бежали за тобой.

Она кивнула.

– Твой пациент здесь? Можно с ним познакомиться?

Она отрицательно качала головой, пока он не заговорил снова:

– Ну, тогда увижу его завтра. Где я могу разместиться?

Простыни не нужны. А кухня здесь есть? Если бы знала, какое странное путешествие я проделал, чтобы найти тебя…

Когда визитер ушел, она вернулась к столу и села, не в силах унять дрожь. Ей нужен этот стол и наполовину прочитанная книга, чтобы взять себя в руки. Человек, которого знала еще девочкой, ехал сюда на поезде, пешком одолел семь километров из деревни в гору, затем прошел по длинному темному коридору – только для того, чтобы увидеть ее?

Через несколько минут девушка вошла в комнату английского пациента и остановилась, глядя на него. На листву, нарисованную на стенах, лился лунный свет, и казалось, что листья живые, а растения источают нежный аромат; рука невольно тянется к цветку, чтобы сорвать его и приколоть к платью.

Мужчина с фамилией Караваджо[12] распахивает настежь все окна в комнате, прислушиваясь к ночным шорохам.

Он раздевается, осторожно растирает забинтованными ладонями шею – и некоторое время неподвижно лежит на незастеленной кровати. Шепчутся деревья в саду. Блики луны прыгают на листьях астр, ныряя в них серебряными рыбками и появляясь снова.

Лунный свет окутывает, словно вторая кожа, словно сноп воды. Через час он уже на крыше виллы. Здесь, наверху, видит разрушенные бомбежками скаты крыши, а внизу – развороченные огороды и сады, окружающие виллу. Он все еще в Италии.

Утром у фонтана они пытаются поговорить.

– Вот ты и в Италии, значит, можешь больше узнать о Верди[13].

– Что? – Она поднимает голову от белья, которое стирает в фонтане.

Он напоминает:

– Когда-то ты говорила мне, что влюблена в него.

Хана в смущении опускает голову. Караваджо ходит вокруг, рассматривая дом при дневном свете, глядя из лоджии вниз, на сад.

– Да, когда-то ты все время повторяла это. Доводила нас до бешенства все новой и новой информацией о Джузеппе. Какой мужчина! Лучший из лучших! В нем нет изъянов! И нам ничего не оставалось, как соглашаться с тобой – самоуверенной шестнадцатилетней девочкой, не терпящей возражений.

– Той девочки давно уже нет. – Она вешает выстиранную простыню на край фонтана.

– Ты всегда добивалась чего хотела.

Она идет по тропинке из булыжников, меж которыми

пробивается трава. Он видит ее ноги, обтянутые черными чулками, тонкое коричневое платье. Перегнувшись через балюстраду, Хана говорит:

– Наверное, я должна признать, хотя бы в глубине души, что приехала сюда именно из-за Верди, но вряд ли осознавала это. А может, потому, что ты уехал на войну, а потом и отец… Посмотри на ястребов. Они прилетают сюда каждое утро. Все остальное разбито. Водопровод разрушен, воду можно взять только в этом фонтане. Союзники разобрали водопровод, когда уходили. Они думали, что тогда я соглашусь уехать.

– Тебе следовало уехать. Ведь этот район еще не разминирован, кругом полно неразорвавшихся снарядов.

Она подходит ближе и прикладывает палец к его губам.

– Караваджо, я очень рада видеть тебя. Как никого другого. Только не говори, будто приехал сюда специально, чтобы уговорить меня уехать.

– Да плевать на эти чертовы бомбы! Я бы с удовольствием посидел где-нибудь в маленьком баре, выпил пива и закусил сыром, только не хочется думать, что в один прекрасный момент это все может взлететь на воздух! Я бы не отказался послушать Фрэнка Синатру. Кстати, было бы неплохо раздобыть что-нибудь музыкальное, – говорит он. – Это будет полезно и твоему пациенту.

– Ему все равно. Он все еще в Африке.

Он наблюдает, ожидая, что она скажет еще что-нибудь об английском пациенте, но больше нечего добавить. Бормочет:

– Некоторые англичане любят Африку. Одно полушарие мозга у них точно отображает пустыню. И они не чувствуют себя там чужими.

Видит, как она слегка качнула головой, мысленно соглашаясь. Она коротко подстригла волосы, и лицо стало обычным: в нем не осталось и следа от скрытой тайны, которую придавали длинные пряди. Что бы ни случилось, Хана казалась спокойной в этом маленьком, созданном ею мире: журчащий вдали фонтан, ястребы, разрушенный сад на вилле.

Он думает, что, возможно, она права. Каждый по-своему старается забыть ужасы войны. Она выбрала такой путь: посвятить себя заботам об обгоревшем пациенте, стирать простыни в фонтане, читать книги в комнате, укрываясь в беседке из нарисованных на стенах листьев. Как будто все, что остается, – это капсула из прошлого, которое было задолго до Верди. Тогда Медичи, хозяева виллы, при свете свечи обсуждали проект балюстрады или окна в присутствии приглашенного архитектора – самого лучшего в пятнадцатом столетии – и желали, чтобы он

создал что-нибудь особенное для обрамления столь великолепного вида.

– Если ты останешься, – говорит она, – понадобится больше продуктов. Я посадила немного овощей, у нас есть мешок фасоли, но нужны куры. – Она лукаво смотрит на Караваджо, вспоминая его занятие в прошлом, но не называя его.

– Я уже не тот, не хватит смелости, – говорит он.

– Тогда я пойду с тобой, – предлагает Хана. – Вдвоем не страшно. Научишь меня воровать, покажешь, что и как делать.

– Ты не понимаешь. Не хватит смелости в смысле… уверенности в себе и в успехе.

– Почему?

– Меня схватили немцы. Пытали и чуть не отрубили мои проклятые руки.

Иногда по ночам, когда английский пациент засыпает, она отправляется на поиски Караваджо: или в саду, где он лежит на каменном краю фонтана и глядит на звезды в небе, или на нижней террасе. Сейчас, когда установилась теплая погода, трудно оставаться в доме по ночам. Большую часть времени он проводит на крыше у разрушенной трубы, но тихо сползает вниз, когда видит, что Хана проходит по террасе и ищет его. И находит у обезглавленной статуи графа, где на месте шеи любит погреться один из местных котов, важно восседая и мурлыча при появлении людей. Ее преследует чувство, что не он, а она нашла мужчину, который любит темноту и знает все ночные звуки, а когда напьется, утверждает, что вырос в семье сов.

Они стоят на утесе, вдалеке сияет огнями Флоренция. Иногда он кажется неистовым, иногда – слишком спокойным. Днем заметно, как неуклюже он двигается, видны его негнущиеся непослушные руки с забинтованными кистями. Мужчина поворачивается всем телом, вместо того чтобы повернуть только шею, когда она показывает ему что-нибудь высоко в горах.

– Мой пациент верит в целительные свойства истолченной в порошок кости павлина.

Он смотрит в небо.

– Я тоже знаю об этом.

– Ты что, был шпионом?

– Не совсем.

Он смотрит на окно в комнате английского пациента. Там еще горит свеча. Разговаривая с Ханой, чувствует себя свободнее ночью.

– Иногда нас посылали воровать. Им крупно повезло, что они заполучили меня – итальянца, да к тому же вора. Они не могли

поверить в удачу и использовали меня на полную катушку. Нас было четверо или пятеро. Некоторое время все шло хорошо. Я доставал для них бумаги и ценные сведения. Но однажды, совершенно случайно, попал в объектив фотоаппарата. Представляешь?

Это произошло на вечеринке, одной из тех, что организовывались на средневековых итальянских виллах для немецких офицеров и их местных подружек. Я получил задание выкрасть несколько бумаг, и, чтобы пробраться туда, пришлось напялить смокинг. На самом деле я был просто вором, а не патриотом и уж тем более не героем. Но одна из дам, подружка какого-то вояки, принесла с собой фотоаппарат и щелкала им без передышки, снимая офицеров; и я попал в кадр, когда проходил через зал. Так и засветился, а это грозило опасностью не только для меня, но и для всей организации.

Дело в том, что во время войны все фотографии печатались в государственных лабораториях под контролем гестапо, и по снимку было легко установить, что я не был в списке приглашенных. Любой чиновник обнаружил бы это при тщательном просмотре. Оставалось одно – попытаться выкрасть пленку.

Она заглядывает в комнату английского пациента, чтобы убедиться, что он еще спит. И наверняка сейчас – далеко в пустыне, и бедуин, сидящий рядом, погружает пальцы в темную пасту, которую разводит в чаше, сделанной из соединенных подошв ног, и накладывает на его обгоревшее лицо. Она прямо чувствует, как тяжесть этой руки ложится на щеку.

Идет по коридору и забирается в свой гамак, который резко качнулся, когда ноги отрываются от пола.

Перед тем как уснуть, чувствует некоторое оживление, прокручивая в памяти все события дня, принеся их с собой в кровать, как ребенок – учебники и карандаши. Кажется, в течение дня смена кадров и сцен происходит в беспорядке, пока не наступает момент, когда она все раскладывает по полочкам, а тело наполняется рассказами и сюжетами. Вот, например, история Караваджо, которую он рассказал сегодня. Его порыв, драма и фотография, сделанная украдкой.

Он уезжает с вечеринки на машине. Автомобиль – темный, словно чернильное пятно на фоне светлой летней ночи, – медленно, со скрежетом продвигается к воротам по усыпанной гравием дорожке, огибающей виллу.

Весь остаток вечера на вилле Козимо он не сводил глаз с женщины с фотоаппаратом, отворачиваясь всякий раз, когда она

направляла объектив в его сторону. Затерявшись в толпе и прислушиваясь к разговору, узнает, что женщину зовут Анна, что она – любовница офицера, который отправляется завтра на север, через всю Тоскану, а сегодня проведет ночь с ней здесь, на вилле.

Он мучительно ищет решение. Смерть женщины или ее внезапное исчезновение вызовет подозрение. Сейчас все, что выходит за рамки обычного, подлежит расследованию.

Через четыре часа он бежит в носках по траве, подминая под себя свою тень, отбрасываемую лунным светом. Достигнув дорожки, усыпанной гравием, останавливается, потом медленно крадется вдоль. Смотрит вверх, на освещенные прямоугольники окон виллы Козимо, временно ставшей дворцом военных жен.

Луч света от фар, словно струя воды, неожиданно вырвавшаяся из брандспойта, окатывает комнату, по которой он крадется, и Караваджо застывает. Видит огромную кровать, на которой лежат мужчина и женщина – та самая, что фотографировала на вечеринке. Мужчина, явно собираясь заняться с ней любовью, что-то нежно шепчет, перебирая пальцами ее белокурые волосы. Она видит Караваджо, и он уверен, что она тоже узнала его, хотя он стоит в чем мать родила. Конечно, женщина узнала мужчину на вечеринке, которого сфотографировала: по чистой случайности он стоит сейчас в такой же позе, как и там – наполовину повернувшись на свет фар. Пятна света скользят в дальний угол темной комнаты и исчезают.

Все снова погружается в темноту. Какое-то время он не знает, что делать. Продолжать поиски? А вдруг она шепнет любовнику, что в комнате еще кто-то есть? Голый вор. Голый наемный убийца. А может, подкрасться к этой парочке и свернуть похотливому немецкому офицеру шею?

Доносится тяжелое прерывистое дыхание мужчины. Женщина молчит, думает: глаза устремлены в темноту – туда, где стоит он. Точнее, не думает, а *раздумывает*. Вот ведь какая мудреная штука – слова: добавь приставку, и слово уже имеет другое значение. Раздумывать – значит «размышлять», то есть разбрасывать мысли мелкоячеистой сетью, вроде липкой паутины или безжалостных капканов… Его друг как-то говорил, что слова намного мудренее скрипки. Он вспоминает черную ленту в волосах блондинки.

Слышен звук другой машины, которая сейчас повернет, и ждет нового луча света. Лицо, выплывшее из темноты, все еще выглядит как нож гильотины над ним. Луч света скользит по ее лицу, по телу офицера, по ковру – и снова доходит до Караваджо. Это просто невыносимо! Он трясет головой, затем рукой проводит по горлу. В руках у него фотоаппарат, она должна понять. Вновь темнота, слышен стон наслаждения – и он понимает, что

женщина не выдаст. Это ответ – без слов, без намека на иронию, просто сигнал, что она все поняла и можно спокойно пробраться на веранду, спрыгнуть вниз и раствориться в темноте.

Найти ее комнату было гораздо труднее. Он проник в здание и молча прошел по длинным коридорам под полуосвещенными фресками семнадцатого века. Где-то в глубине дома, словно темные карманы в золотом камзоле, находились спальни. Но там дежурила охрана, и единственный шанс добраться туда – прикинуться простачком. Он полностью разделся и спрятал одежду на клумбе под окнами.

И вот мужчина, совершенно голый, семенит по лестнице на второй этаж, где стоит охрана. Перегнувшись через перила, они хохочут, а он, согнувшись, что-то бормочет, пытаясь объяснить, что ему было назначено здесь свидание, *под фресками* или *в капелле*. Это ведь здесь?

Они пропускают его. Еще один длинный коридор на третьем этаже. Один охранник – у лестницы. Другой – в дальнем конце, слишком далеком для Караваджо. Это поистине театральный проход, и роль предстоит сыграть под пристальными взглядами подозрительных и насмешливых охранников. Он идет, останавливаясь, чтобы взглянуть на фрагмент фрески на стене, где изображен осел в роще. Прислонившись к стене, закрывает глаза, словно набираясь сил, и снова пускается в путь – сначала спотыкаясь, но скоро, взяв себя в руки, шагает бодрым военным шагом. Свободной левой рукой приветствует херувимов на потолке, с такими же голыми задами, как и он; святых, которые летят, покрывая его обман и охраняя жизнь вора, пробравшегося на виллу, дабы во что бы то ни стало выкрасть пленку.

Он хлопает себя по голой груди, как бы ища пропуск, сгребает в ладони пенис и делает вид, что хочет открыть им комнату, охраняемую часовым. Смеясь, пошатываясь, идет назад, будто огорченный неудачей – и проскальзывает в комнату рядом.

Открыв окно, выбирается на веранду. Стоит темная чудесная ночь. Перелезает на другую веранду, этажом ниже. Вот сейчас можно войти в комнату, где находится Анна с любовником. Он слышит легкий запах духов. Крадется бесшумно, не оставляя следов, не бросая тени. Когда-то он рассказывал ребенку байку о человеке, который потерял свою тень и занимался ее поисками – как он занимается сейчас поисками чертовой пленки.

Очутившись в комнате, понимает, что сексуальная игра уже началась. Натыкается руками на одежду, брошенную на спинку стула, опрокинутого на пол. Лежа на ковре, перекатывается, ощупывая все вокруг, пытаясь найти нечто похожее на

фотоаппарат. Ничего. Темнота, хоть глаз выколи.

Он медленно встает и, взмахнув руками, нащупывает что-то твердое – грудь мраморной статуи. Рука движется по ее мраморной холодной руке – он представляет, что должна чувствовать в таких случаях женщина, – и нащупывает ремешок от камеры фотоаппарата. Затем он слышит визг тормозов за окном и, когда поворачивается на этот звук, видит глаза женщины в прорвавшемся в комнату луче света от фар.

Караваджо наблюдает за Ханой, которая сидит напротив и смотрит ему в глаза, пытаясь понять, о чем он думает, вычислить ход мыслей – так же, как когда-то это делала жена. Она пытается вдохнуть его запах и узнать, где он бродил. Он отвечает на этот взгляд, зная, что ничего невозможно увидеть в его ясных и чистых, словно река, глазах. Он умеет скрывать свои чувства, и люди часто покупаются на это. Но девушка наблюдает с лукавой улыбкой, наклонив голову набок – как собака, к которой обращаются громким голосом. Она сидит напротив, на фоне кроваво-красных стен – цвет, который ему не нравится; и своими темными волосами, стройностью и загаром напоминает ему жену.

Сейчас он не думает о жене, хотя знает: стоит отвернуться, и сможет воспроизвести каждое ее движение, описать каждую черточку, почувствовать тяжесть руки, которая покоится на его груди ночью.

Руки он прячет под столом, наблюдая, как девушка ест. Сам же все еще предпочитает принимать пищу в одиночестве, хотя всегда сидит за столом, когда приходит время обеда. Тщеславие, думает он. Человеческое тщеславие. Она видела из окна, как он ест руками, сидя на одной из тридцати шести ступенек у часовни; ест без ножа и вилки, словно учится у жителей Востока. Седеющая щетина и черный пиджак делают его все больше похожим на итальянца.

Он видит ее тень на коричнево-красных стенах, кожу, коротко подстриженные волосы. Он знал девочку и ее отца в Торонто[14] еще до войны. Тогда он был вором, женатым человеком; с ленивой самоуверенностью плыл по течению в выбранном им мире, с великолепной хитростью обманывая богатых и очаровывая жену Жанетту и эту маленькую девочку, дочь друга.

Но сейчас мир вокруг разрушен, и они предоставлены сами себе. Находясь здесь, на вилле недалеко от Флоренции, сидя дома и предаваясь грезам и дремоте на мягком стуле, или на кровати, или на крыше, он не строил никаких планов, но думал только о Хане. А она, казалось, приковала себя цепями к умирающему пациенту в комнате наверху.

Во время еды он сидит напротив девушки и наблюдает, как она ест.

Полгода назад, когда Хана работала в госпитале Санта-Чиара в Пизе, как-то увидела из окна статую белого льва. Он стоял один на вершине зубчатых стен, вписываясь в беломраморный комплекс Дуомо и Кампосанго, хотя его неотделанность и наивность форм казались частью другой эпохи. Как дар из прошлого, который следует принять. Из всего архитектурного великолепия, окружавшего госпиталь, она приняла лишь этого льва. В полночь смотрела в окно и знала, что, несмотря на комендантский час, он там – и появится с первым проблеском зари. Она посмотрит в окно в пять утра, потом в пять тридцать, а потом в шесть, чтобы увидеть, как проявляется его силуэт. Каждую ночь дежурства это был ее страж.

Госпиталь был расположен на территории старого монастыря. Тысячелетиями монахи заботливо ухаживали за деревьями и кустами, придавая им форму зверюшек, о которых сейчас можно было только догадываться; каждый день сестры возили пациентов в инвалидных колясках по аллеям среди неухоженных деревьев и кустов, давно потерявших форму. И казалось, лишь белый мрамор остался неизменным.

Сестры тоже были немного контужены смертями, окружавшими их. Они носили по коридору ампутированные конечности, промокали тампонами кровь, которая не останавливалась, будто рана была бездонным колодцем, – и уже ни во что не верили, ничему не доверяли. Что-то в них разрушалось, словно в мине в руках умелого сапера за секунду до возможного взрыва. То же было и с Ханой в госпитале Санта-Чиара, когда посыльный, пройдя мимо сотни кроватей, нашел ее и отдал письмо с похоронкой на отца.

Белый лев.

Вскоре в госпиталь привезли английского пациента, который был похож на обгоревшего зверя. И сейчас, на вилле Сан-Джироламо, это ее последний пациент. Для них войны больше не было: они отказались уехать в более безопасное место, в Пизу. Но бои закончились не только для них: во всех прибрежных городах – Сорренто, Марина-ди-Пиза – скопились сотни североамериканских и британских солдат, ожидающих отправки домой. Девушка выстирала свою военную форму, сложила и отдала сестрам, которые уезжали в Пизу. Ей сказали, что война еще идет. Затихла не везде, но для нее она закончилась. Говорили, что это похоже на дезертирство. Но она так не считала – и решила остаться. Предупреждали, что здесь полно мин, нет воды и еды, но она была непреклонна. Поднялась в комнату к

английскому пациенту и сказала, что тоже остается.

Он ничего не ответил, потому что не мог повернуть головы, но его пальцы скользнули по ее белой руке; когда она наклонилась, провел пальцами по ее волосам, ощутив их прохладу.

– Сколько вам лет?

– Двадцать.

– Когда-то жил герцог, – сказал он, – который, умирая, захотел, чтобы его подняли на Пизанскую башню, чтобы перед смертью увидеть широкое пространство.

– Друг моего отца хотел умереть под «Шанхайский танец». Я не знаю, что это такое. Он сам об этом где-то услышал.

– Чем занимается ваш отец?

– Он… он на войне.

– Вы тоже на войне.

Девушка так ничего и не знает о нем, несмотря на то, что прошел уже месяц, как она ухаживает за ним и делает уколы морфия. Сначала, оставшись вдвоем на вилле, они чувствовали некоторую неловкость. Потом это прошло. Пациенты, врачи, медсестры, обозы с оборудованием, простынями и полотенцами – все скрылось за холмом на пути во Флоренцию и дальше, в Пизу. Она заранее сделала запас таблеток кодеина и морфия – и спокойно наблюдала за общим отъездом, за вереницей уходящих грузовиков. До свидания. Помахала им вслед из окна, затем плотно закрыла ставни.

Позади виллы поднимается высокая скалистая стена, к западу – длинная полоса огороженного сада, а в тридцати километрах внизу, в долине, ковром расстилается Флоренция, тающая в утренней дымке.

Вилла Сан-Джироламо, построенная много веков назад для защиты жителей от происков дьявола, была похожа на осажденную крепость. Сады одолевала мерзость запустения, статуи с оторванными во время обстрелов конечностями безмолвно взирали на окружающий пейзаж и выжженную землю. Хане казалось, что эти запущенные дикие сады были продолжением дома, его дальними комнатами. И она с усердием работала там, не забывая, что могут быть мины. За домом на небольшом клочке земли начала возделывать огород с неистовой страстью, которая характерна для тех, кто вырос в городе. Когда-нибудь здесь будет липовая беседка и комнаты, залитые зеленым светом настоящей, живой листвы.

Караваджо зашел в кухню и обнаружил, что Хана, сгорбившись, сидит за столом. Он не видел ее лица и рук, только спину и голые плечи, содрогавшиеся от рыданий.

Остановился. Уж он-то знал, что слезы изматывают сильнее, чем любая работа. Еще не рассвело. Ее лицо белело светлым пятном на темном дереве стола.

– Хана, – позвал, и она затихла, как будто можно было обмануть его в темноте. – Хана.

Женщина начала стонать, и этот стон разделял их, словно река, которую нельзя переплыть.

Сначала он не знал, можно ли дотронуться до ее обнаженной спины, но потом снова сказал «Хана» – и положил забинтованную руку ей на плечо. Она все еще дрожала. Когда у тебя глубокое горе, единственное средство выживания – избавление от воспоминаний.

Она выпрямилась, но голова была опущена; затем, с усилием оторвав себя от стола, встала напротив мужчины.

– Если хочешь трахнуть, не дотрагивайся до меня.

На ней надета была лишь юбка, как будто она только что встала с постели и прибежала сюда, на кухню.

Лицо покраснело от слез.

– Хана.

– Ты слышал, что я сказала?

– Почему ты поклоняешься ему?

– Я люблю его.

– Не любишь, а обожествляешь.

– Уходи, Караваджо. Пожалуйста.

– Я не могу понять, что связывает тебя с этим живым трупом?

– Он святой. Я знаю это. Святой – в отчаянии. Такое бывает? Мы должны защитить его.

– Неужели ты не видишь, что ему наплевать на это!

– Моя любовь может спасти его.

– Двадцатилетняя девушка, которая добровольно отказывается от радостей жизни, чтобы любить призрака! – Караваджо помолчал. – Нужно защитить себя от уныния: из него легко впасть в ненависть. Послушай меня. Я-то знаю. Если выпиваешь яд, предназначенный другому, думая, что этим облегчаешь его участь, ты ошибаешься, потому что отравляешь не плоть, а душу: яд оседает в тебе. Бедуины в пустыне оказались умнее. Они знали, что он может быть им полезен, спасли и использовали, а потом просто бросили.

– Уходи. Оставь меня в покое.

Хана любит посидеть одна в высокой влажной траве в саду. В такие минуты она смотрит вдаль и пытается представить, кто шел по этой старой дороге под сенью восемнадцати кипарисов в далекие времена.

Однажды находит в саду сливу, очищает ее и кладет в карман

платья, чтобы отнести английскому пациенту. Когда он просыпается, наклоняется и кладет мякоть сливы ему в рот. Он всасывает ее, словно воду, при этом челюсть остается неподвижной. Она видит, как он проглатывает сливу – и, кажется, готов кричать от удовольствия.

Поднимает руку и пальцем стирает с губы каплю сливовой мякоти, которую не может слизать языком, потом кладет палец в рот и сосет его.

– Давайте я расскажу вам о сливах, – говорит он. – В детстве я…

Когда они остались на вилле вдвоем с английским пациентом, было еще холодно, и пришлось сжечь почти все кровати. Как-то в одной из комнат она нашла старый солдатский гамак и стала им пользоваться. Каждый вечер выбирала комнату, которая приглянулась, вбивала в стену гвозди, вешала гамак и засыпала, покачиваясь над водой и грязью на полу, не боясь крыс, которые в последнее время начали появляться. Каждую ночь она забиралась в гамак, который, вероятно, еще помнил своего хозяина – одного из ее бывших пациентов, скончавшегося от ран.

Пара теннисных туфель и гамак – вот все, что она присвоила себе в этой войне. Сняв платье и повесив на гвоздь, забравшись в гамак и накрывшись старой кофтой, она спит, изредка просыпаясь от полоски лунного света, которая скользит по потолку. Стало теплее, и уже нет нужды сжигать стулья и кровати.

Ее гамак, туфли и платье. Девушка чувствовала себя в безопасности в этом маленьком мире, который сама создала; двое мужчин казались далекими планетами, каждый – на собственной орбите памяти и уединения.

Караваджо, друг отца в Канаде, любимец женщин. Он с легкостью разбивал сердца, добровольно отдавая себя. Сейчас он уже не тот. В той, довоенной жизни был вором-одиночкой, потому что не доверял мужчинам. Был общительным, любил поговорить, но предпочитал дамское общество и быстро попадал в умело расставленные женские сети. Когда она, бывало, рано утром крадучись возвращалась домой, то видела, как он спит прямо в кресле ее отца: измученный и усталый от ночной работы или очередных любовных похождений.

Караваджо принадлежал к людям, которых нужно крепко обнять и не отпускать, чтобы они не убежали; и время от времени щипать себя, чтобы не потерять рассудок в его обществе. Нужно было держать его за волосы, как утопающего, иначе он потянет за собой. Или вы видите его, идущего навстречу по улице и уже готового помахать рукой, но вдруг он перепрыгивает через стену – и исчезает на месяцы. Не очень хороший дядюшка.

Караваджо нарушал покой, обнимая, словно крыльями, закрывая от невзгод и опасностей. С ним она чувствовала себя в безопасности.

И вот сейчас он здесь, наверное, спит где-то рядом.

А еще здесь англичанин из пустыни.

Во время войны, ухаживая за самыми безнадежными больными, она выдержала это и справилась с ролью медсестры, стараясь не пропускать через сердце их страдания. «Я выдержу. Я не сломаюсь». Повторяла, как заклинание, все те месяцы, когда они проходили через города Урбино, Анжиари, Монтерчи, когда вошли во Флоренцию и, наконец, дошли до моря в Пизе.

Именно там, в госпитале в Пизе, она впервые увидела английского пациента. Человек без лица. Тело – словно головешка из большого костра. Все документы пропали в огне. Тело обработано дубильной кислотой, которая покрыла коркой обгоревшую до мяса кожу. На глаза наложен густой слой мази из трав. Опознать его было практически невозможно.

Иногда она собирает несколько одеял и лежит, накрывшись, наслаждаясь не столько теплом, сколько их приятной тяжестью. А когда лунный свет скользит по потолку, просыпается, и мысли путешествуют вместе с ним. Ей нравится это состояние, когда можно спокойно поразмышлять, что-то вспомнить – намного приятнее, чем просто спать. Если бы она была писательницей, то писала бы, только лежа в постели, взяв с собой карандаши, блокнот и любимого кота. И конечно же, никогда бы не обошла вниманием незнакомцев и влюбленных.

Так приятно было лежать и вспоминать, принимая все стороны жизни, все, что произошло, – таким, как есть. Купание в море, ночь с солдатом, который не знает, как тебя зовут. Нежность к неизведанному и безымянному, которая стала нежностью к самой себе.

Девушка пошевелила ногами под солдатскими одеялами, потянулась, словно плавая – как английский пациент в плаценте из ткани.

Чего действительно не хватает, так это медленных сумерек и знакомого шороха деревьев. В Торонто она научилась читать звуки летней ночи. Там она и была собой – лежа в постели или ступая с котом в руках на пожарную лестницу.

Учителем был Караваджо. Он показал, как кувыркаться через голову. А сейчас постоянно держит руки в карманах и только пожимает плечами. Кто знал, в какую страну забросит война? Взять хотя бы ее: после того как прошла курс медсестер в больнице при женском колледже, ее отправили за океан, на

Сицилию. Это было в 1943 году. Первая канадская пехотная дивизия с боями пробивала себе путь сквозь Италию; в полевые госпитали шел нескончаемый поток раненых. После сражения у Ареццо[15], когда первый огневой вал войск отступил, она не знала сна, ухаживая за ранеными днем и ночью. После трех суток без сна и отдыха просто рухнула на пол рядом с умершим солдатом – и проспала двенадцать часов, забыв на это время о кошмаре, окружавшем ее.

Проснувшись, достала из фарфоровой вазочки ножницы, наклонилась и начала обстригать волосы, не задумываясь о том, что сама сделает это неровно; просто стригла, и все, с раздражением вспоминая, как они мешали в те дни, когда она наклонялась над ранеными. Теперь ничто не будет связывать ее со смертью. Девушка провела рукой по тому, что осталось от прядей, и оглянулась на комнаты, забитые ранеными.

С этого момента она перестала смотреться в зеркало. Когда положение на фронте стало серьезнее, получала сообщения о гибели людей, которых знала. С ужасом думала о том, что может наступить момент, когда придется вытирать кровь с лица родного отца или хозяина магазинчика на Дэнфорс-авеню, у которого покупала продукты. Она словно окаменела.

Спасти могло только благоразумие, но о нем, казалось, забыли. Кровь захлестывала страну, словно поднимающийся в термометре ртутный столбик. Где Торонто, вспоминает ли она о нем сейчас? Это была вероломная опера. Люди ожесточались против всего света – солдат, врачей, медсестер, гражданских. Хана, все ниже склоняясь над пациентами, что-то шептала им.

Всех называла «дружище» и смеялась над строчками из песни:

> Если встречу я Фрэнка по кличке Буфет,
> Он всегда говорит мне: «Дружище, привет…»

Она вытащила из тел раненых уже столько кусков шрапнели, что казалось, будто достала целую тонну рваного металла из огромного гигантского тела. Однажды ночью, когда умер один из пациентов, Хана, в нарушение всех правил и инструкций, взяла из его походного мешка пару теннисных туфель – немного великоватых, но удобных.

Ее лицо стало жестким и узким – таким, каким увидел его Караваджо. Она похудела, в основном от усталости. Ее, однако, не покидало постоянное чувство голода, и она раздражалась и бесилась, когда приходилось кормить раненого, который не мог или не хотел есть; хлеб крошился и рассыпался, а суп, который

она проглотила бы одним махом, остывал. В одном городке, где временно разместился их госпиталь, была небольшая пекарня, пристроенная к зданию, и когда выдавалась свободная минутка, она забегала туда, вдыхая запах муки как обещание съестного. Позже, когда передислоцировались к востоку от Рима, кто-то подарил ей земляную грушу.

Продвигаясь на север, они ночевали в базиликах, монастырях или еще где-нибудь – там же, где размещали раненых. Это было странно и необычно, но Хана уже ничему не удивлялась. Когда кто-то из раненых умирал, она отрывала картонный флажок у его кровати, чтобы санитары могли увидеть этот сигнал. Иногда она вырывалась из этих толстостенных зданий на воздух – и обнаруживала, что на улице весна. Или зима. Или лето. Казалось, только природа не изменила своим привычкам. Хана всегда старалась хоть на минутку выскочить на улицу, даже если бушевала гроза или шел дождь: было необходимо вдохнуть глоток свежего воздуха, не пропитанного запахами страдания и смерти.

«Привет, дружище; до свидания, дружище». Все происходило очень быстро. Она никогда не думала, что станет медсестрой. Но когда подстригла волосы, почувствовала себя подписавшей контракт на эту работу; он действовал до тех пор, пока они не расположились на вилле Сан-Джироламо, к северу от Флоренции. Там были еще четыре медсестры, два врача и сто пациентов. Зона военных действий продвинулась на север, и только они пока оставались здесь.

И вот когда жители этого маленького городка в предгорьях Тоскано-Эмилианских Апеннин отмечали какой-то местный праздник, девушка заявила, что никуда не поедет: ни назад во Флоренцию, ни в Рим, ни в любой другой госпиталь. Для нее война закончилась. Она останется здесь с обгоревшим раненым, которого все называют английским пациентом, потому что он очень слаб, конечности хрупкие и он не выдержит переезда. Будет накладывать белладонну на его глаза, класть солевые примочки на кожу в келоидных рубцах и обширных ожогах. Ее пытались отговорить: здесь шли ожесточенные бои, монастырь был почти разрушен, да и бандитов в округе хватало. Никто не мог гарантировать безопасность. Но она стояла на своем. Хана сняла форму, достала из мешка коричневое в цветочек платье и теннисные туфли и переоделась. Она вышла из войны – и останется здесь, на вилле, с английским пациентом до тех пор, пока в монастырь не вернутся его жители. Было в обожженном летчике нечто такое, что ей хотелось узнать, понять – и спрятаться, снова почувствовав себя девочкой; вернуться в

детство и забыть, что уже давно стала взрослой. То, как он говорил, как скользили мысли, завораживало, словно она плыла в вальсе. Хотелось спасти этого человека без лица и без имени – одного из двухсот (а может, и более) пациентов, за которыми ухаживала во время продвижения войск на север.

Так она и удалилась с праздника в своем платье, пришла в комнату, где жила с другими медсестрами, и села на кровать. Что-то блеснуло, и девушка увидела маленькое круглое зеркальце. Медленно встала и подошла поближе. Оно было небольшим, но здесь и такое казалось роскошью. Уже более года Хана не смотрелась в зеркало, изредка замечая только свою тень на стене. Девушка смотрела на свое лицо, как бы заново узнавая его. Были слышны радостные голоса пациентов, которых вывезли в инвалидных колясках погреться на солнышке. Только тяжелораненые оставались в этих стенах. Она улыбнулась, вглядываясь в свое отражение. «Привет, дружище».

Хана и Караваджо идут по ночному саду. Он начинает говорить медленно, как обычно, слегка растягивая слова.

– Помнишь вечеринку в ночном ресторане Кроулера на Дэнфорс-авеню? Был чей-то день рождения, и мы все собрались там: и отец, и Жанетта, и ты, и наши друзья. Каждому нужно было встать и спеть песню. И ты сказала, что хочешь участвовать. Это была первая вечеринка: ты еще ходила в школу и выучила песню на французском языке.

Все было очень торжественно. Взобравшись сначала на скамью, потом на деревянный стол, стоя среди тарелок и зажженных свечей, ты пела «Марсельезу» на французском языке:

Алленз, анфан де ля патри!..

Пела, прижав левую руку к груди.

Вперед, отечества сыны!

Половина присутствующих не знала, о чем ты поешь, может, ты и сама не знала перевода слов, но чувствовала сердцем, о чем песня.

Легкий ветерок из окна раздувал юбку, так что края почти касались горящей свечи; твои лодыжки казались ослепительно-белыми. Отец смотрел на тебя с удивлением и любовью, что светились в его глазах; пламя свечи, колеблющееся на ветру, почти касалось платья. Мы встали у края стола, и, когда ты

закончила петь, он подхватил тебя на руки.

– Я сделаю тебе перевязку. Не забывай, что я все-таки медсестра.

– Не стоит. Все в порядке. Я будто в перчатках.

– Как это случилось?

– Меня схватили, когда я выпрыгнул из окна той спальни. Где была женщина – помнишь, я рассказывал, – которая сфотографировала меня. Но она была ни при чем, это не ее вина.

Она хватает его за руку, нащупывая мышцы.

– Все же сделаю перевязку.

Вытаскивает его забинтованные руки из карманов пальто. При дневном свете бинты кажутся серыми, а сейчас, в темноте ночи, чуть ли не сверкают белизной.

Девушка разматывает бинты, а он постепенно отступает назад, словно фокусник, из рукавов которого тянутся белые ленты. Она подходит к нему, дядюшке Дэйву из детства, видит его умоляющие глаза, старается не глядеть на его руки, сложенные ладонями вместе.

Дотрагивается до рук, все еще глядя ему в глаза, потом прижимается щекой к его щеке. Кисти кажутся твердыми на ощупь.

– Я говорил, что пришлось поторговаться с ними за то, что они оставили мне.

– Как это удалось?

– Благодаря моим старым умениям.

– О, я помню. Подожди, не двигайся. Не отходи от меня.

– Странное время – конец войны.

– Да, каждый старается приспособиться.

– Точно.

Он поднимает руки вверх, как бы пытаясь взять в ладони луну.

– Вот, смотри, Хана. Они отрезали мне большие пальцы.

Он держит руки прямо, затем разворачивает одну руку ладонью к ней, чтобы она убедилась, что это не фокус. На месте большого пальца впадина. Протягивает руку к ее блузке.

Девушка чувствует, как он берет ткань двумя пальцами и слегка тянет на себя.

– Теперь могу только так.

– В детстве я всегда смотрела на тебя, как на Алого Пимпернеля[16]; в моих снах мы лазили вместе по крышам. Ты приходил домой, и в карманах было полно всякой всячины: холодная еда, пеналы, ноты, которые позаимствовал у кого-то специально для меня.

Она говорит в темноте, не видя лица собеседника; тень листвы покрывает его, словно вуаль.

– Ты любишь женщин, правда? Всегда любил.

– Почему же «любил»? И сейчас люблю.

– Сейчас такое кажется неважным среди войны и всех этих ужасов кругом.

Он кивает, и вуаль из листьев сбегает с лица.

– Ты был похож на одного из тех художников на нашей улице, которые работали по ночам: только в их окнах горел свет всю ночь напролет. Или на копателя червей – эти люди, привязав к лодыжкам старые кофейные банки и надев на голову шлем с фонарем, ходят по городским паркам. Помнишь, ты взял меня в одно из таких мест – в кафе, где они продают накопанных червей. «Это похоже на биржу», – сказал ты. Там цены на червей падали и росли – пять центов, десять центов… Там люди разорялись или становились богачами. Помнишь?

– Да.

– Пойдем в дом, становится холодно.

– А ты знаешь, что великие карманники рождаются с указательным и средним пальцами одинаковой длины? Тогда им не приходится лезть глубоко в карман. Самое большее – полтора сантиметра!

Они идут по аллее к дому.

– Кто сделал это с тобой?

– Они позвали медсестру – думали, так будут более острые ощущения. Приковали мои запястья наручниками к ножкам стола. Когда отрезали большие пальцы, кисти легко выскользнули из наручников, как во сне. Но мужчина, который позвал медсестру, был у них за старшего – и был еще тот гад… Рануччо Томмазони. А она оказалась там случайно, ничего не знала: ни кто я, ни откуда, ни того, что я мог такого совершить.

Войдя в дом, они услышали крик английского пациента. Забыв о Караваджо, Хана бросилась вверх по ступенькам. В темноте мелькали ее белые теннисные туфли.

Крик наполнял коридоры. Караваджо зашел на кухню, отломил кусок хлеба и пошел вверх, вслед за Ханой. Крик стал неистовым. Войдя в комнату, увидел, что англичанин уставился на собаку: та стояла как вкопанная, оглушенная криком. Хана усмехнулась.

– Я не видела собак уже сто лет. Ни одной за все время войны.

Присела и обняла ее, вдыхая запах шерсти и горных луговых трав. Затем подтолкнула собаку к гостю, который протянул кусок хлеба. Англичанин увидел Караваджо, и у него отвисла челюсть.

На секунду ему показалось, что собака, которую Хана закрывала своей спиной, превратилась в человека. Караваджо взял собаку на руки и вышел из комнаты.

– Я подумал, – сказал английский пациент, – что в этой комнате, должно быть, жил Полициано[17]. Возможно, вилла принадлежала ему. У той стены был старинный фонтан. Это знаменитая комната. Они все собирались здесь.

– Это был госпиталь, – тихо сказала Хана. – А до того – женский монастырь. А потом сюда пришли войска.

– Думаю, это была вилла Брусколи. Полициано – протеже самого Лоренцо[18]. Я говорю примерно о 1483 годе. Во Флоренции, в церкви Святой Троицы, висит картина, где изображена семья Медичи, и Полициано в красном плаще – на переднем плане. Гений и злодей в одном лице, который сам пробился в высшее общество.

Было за полночь, и у него снова наступил период бодрствования.

Она была рада этому: просто необходимо забыться и перенестись куда-нибудь отсюда, потому что перед глазами все еще стояли руки Караваджо с отрезанными пальцами. Он, наверное, кормит бродячую собаку на кухне виллы Брусколи, если она действительно так называлась.

– Жизнь тогда была полна кровавых распрей. Кинжалы и политика, треуголки, турнюры, накрахмаленные чулки и парики. Шелковые парики! Конечно, Савонарола[19] появился чуть позже, и начались сожжения произведений искусства на кострах. Полициано перевел Гомера. Написал великую поэму о Симонетте Веспуччи. Вам что-нибудь говорит это имя?

– Нет, – с улыбкой ответила Хана.

– Ее портреты были развешаны по всей Флоренции. Она умерла от чахотки в двадцать три года. Он сделал ее знаменитой, написав «Стансы о турнире», а затем Боттичелли[20] перенес некоторые сюжеты на холст. Леонардо[21] тоже писал картины на эти сюжеты. Полициано читал каждый день лекции: по утрам два часа на латыни, днем – два часа на греческом. У него был друг Пико делла Мирандола[22], видный общественный деятель, но сумасброд, который вдруг перешел в лагерь Савонаролы.

«У меня было такое прозвище в детстве. *Пико*».

– Да, я уверен: эти стены многое повидали. Вот фонтан в стене. Здесь бывали Пико, и Лоренцо, и Полициано, и молодой Микеланджело[23]. Они держали в руках новый мир и старый мир. В библиотеке хранились четыре последние книги Цицерона. Они открыли новые виды животных: жирафа, носорога, дронта.

Тосканелли составил карты мира, основанные на рассказах купцов. Люди сидели здесь, в этой комнате, спорили по ночам, а за ними безмолвно наблюдал Платон, вырезанный из мрамора.

И вот пришел Савонарола, на улицах раздался его крик: «Покайтесь! Идет потоп!» И все было сметено – свободная воля, желание быть изысканным, слава, право поклоняться Платону, как богу. И по всей Италии запылали костры инквизиции – горели парики, книги, шкуры зверей, карты. Через четыреста лет были вскрыты могилы. И что вы думаете? Кости Пико сохранились целыми, а кости Полициано раскрошились в пыль.

Англичанин перелистывал страницы книги и читал записи на вклеенных страницах, она слушала: о великих открытиях и картах, которые погибли в огне, о статуе Платона, которую тоже сожгли; ее мрамор расслаивался от жары, и высокий лоб мудреца рассекали трещины мудрости, как точные выстрелы в долине, где на холме, поросшем травой, стоял Полициано, ожидая своей участи, и Пико, который мысленно наблюдал из последней обители, где он нашел спасение души и вечное блаженство.

Караваджо налил собаке воды в миску. Старая дворняга, пережившая войну.

Сел за стол с графином вина, который дали Хане монахи из монастыря. Это был ее дом, и он двигался осторожно, стараясь ничего не задеть и не испортить. Замечал букетики полевых цветов, которые она дарила себе и расставляла в комнатах. Даже в заросшем саду натыкался на маленькие квадратики выстриженной травы. Был бы моложе, ему бы это понравилось.

Интересно, что Хана думает о нем? С его ранами, потерей душевного равновесия, щетиной на щеках и седыми завитками на шее? Никогда прежде не ощущал своего возраста: другие становились старше, но не он. Чувствовал, что не хватает мудрости для своего возраста.

Он присел, наблюдая, как пьет собака, потом, вставая, неловко схватился за стол, чтобы не потерять равновесие – и нечаянно опрокинул графин с вином.

– Ну, тебя зовут Дэвид Караваджо, не так ли?

Они приковали его наручниками к толстым ножкам дубового стола. В какой-то момент он поднял его, словно обнимая, – кровь потоком хлестала из левой кисти, – и попытался бежать, но упал. Женщина выронила из рук нож, отказываясь продолжать. Ящик стола выдвинулся и упал ему на грудь, содержимое вывалилось на пол, и он подумал, что там может быть пистолет, который пришелся бы очень кстати. Рануччо Томмазони достал бритву и подошел.

– Ага, значит, Караваджо?

Был не до конца уверен.

Когда он лежал под столом, кровь из кистей заливала лицо. Пришел в себя, сбросил наручник с ножки стола, откинул стул, чтобы заглушить боль, затем наклонился влево, чтобы снять другой наручник. Все заляпано кровью. Руки превратились в бесполезные обрубки. Позже, в течение многих месяцев, он ловил себя на том, что смотрит на большие пальцы рук людей, как будто завидует им. После этой зверской ампутации стал ощущать свой возраст, как будто в ту ночь, когда был прикован наручниками к столу, в него влили «старящий» раствор.

Он посмотрел на собаку, на стол, залитый вином. И вспомнил: два охранника, женщина, Томмазони и телефоны, которые звонили и звонили, отрывая палача от работы. Приходилось отложить бритву; произнеся едким шепотом: «Извините», он хватал окровавленной рукой трубку и слушал. Полагал, что ничего не сказал им, никого не выдал. Но его отпустили, так что, возможно, он ошибся.

Он побрел по Виа ди Санто Спирито в одно местечко, адрес которого был глубоко запрятан в памяти. Прошел мимо церкви, построенной Брунеллески[24], к библиотеке немецкого института, где, он знал, будет ждать свой человек, который сможет оказать помощь. И тут вдруг дошло, почему его отпустили. Они будут следить за ним и выйдут на связных. Быстро свернул на боковую улицу и пошел не оглядываясь. Хотелось, чтобы на улице сейчас укладывали асфальт: тогда можно было бы остановить кровь и подержать руки над котлом со смолой, чтобы черный дым окутал их. Он дошел до моста Святой Троицы. Удивило, что никого нет вокруг, никакого движения. Стояла тишина. Раньше, когда он шел по тем улицам, спрятав руки в карманы, набухшие от крови, видел много танков и джипов. Сел на гладкую балюстраду моста, затем лег навзничь.

И тут раздался взрыв. Мост был заминирован. Его подбросило вверх, затем вниз – будто наступил конец света. Он открыл глаза и увидел прямо перед собой огромную голову. Сделал вдох, и легкие наполнились водой. Понял, что оказался в реке Арно, в толще воды маячила чья-то бородатая голова. Зачем-то попробовал дотянуться до нее, но не смог. В реку вливался огонь. Когда он выплыл на поверхность, вся река была объята пламенем.

Вечером, когда рассказал наконец свою историю Хане, она предположила:

– Они перестали пытать тебя, потому что пришли союзники. Немцы спешно убегали из города, взрывая за собой мосты.

– Не знаю. Может быть, я им что-то сказал? Чья это была

голова? Тогда, в комнате, где меня пытали, постоянно звонил телефон. Мой мучитель останавливался, наступала тишина, все замирали, слушая, как он отвечает по телефону. С кем он говорил? И чья это была голова?

– Они драпали, Дэвид.

Она открывает книгу «Последний из могикан» на последней чистой странице и начинает писать.

На вилле появился еще один житель, которого зовут Дэвид Караваджо. Друг моего отца. Он мне всегда нравился. Старше меня, думаю, лет сорок пять. Он уже не такой, как раньше, потерял уверенность в себе. Странно, но я неравнодушна к другу отца.

Хана закрывает книгу, спускается в библиотеку и прячет ее на одной из верхних полок.

Англичанин уснул. Она слышала его тяжелое, прерывистое дыхание – он всегда дышал ртом, когда спал и когда бодрствовал. Встала со стула, подошла и осторожно вытащила из рук, сложенных на груди, зажженную свечу. Подойдя к окну, задула ее – так, чтобы дым вылетел в окно. Ей не нравилось, когда он лежал с зажженной свечой в руках, словно мертвый, – не замечая, как воск стекал на запястья. Казалось, он приготовился к смерти, и это была генеральная репетиция с настоящими декорациями.

Она стояла у окна, схватив себя за волосы, словно пыталась вырвать их. В темноте, даже если вскрыть вену, кровь будет черной.

Вдруг захотелось вырваться из этой комнаты. Охватило чувство клаустрофобии, беспокойство. Большими шагами Хана прошла по коридору, спустилась по ступенькам и оказалась на террасе, затем подняла голову и посмотрела вверх, как бы стараясь различить в окне фигуру девушки, от которой только что убежала. Вернулась к дому, толкнула тяжелую, разбухшую от влаги дверь и вошла в библиотеку. В дальнем конце комнаты сорвала доски с двустворчатых дверей и открыла их, впуская ночной прохладный воздух. Она не знала, где сейчас Караваджо. По ночам он обычно исчезал куда-нибудь, возвращаясь под утро. И теперь его нигде не было.

Резким рывком стащила серую простыню, которой был накрыт рояль, и пошла в другой угол комнаты, волоча за собой простыню, словно саван или сеть с уловом.

Кругом темнота. Вдалеке послышались раскаты грома.

Она стояла перед роялем. Глядя прямо перед собой, опустила руки на клавиши и стала играть, для начала только аккорды, понемногу вдыхая жизнь в инструмент. Она делала паузу после каждого аккорда, встряхивая руки, словно доставала их из воды,

чтобы посмотреть, что поймала, затем продолжала, составляя аккорды в мелодию – неторопливо, медленно, еще медленнее. Она смотрела на клавиши и не сразу заметила, как двое мужчин в военной форме проскользнули через двустворчатую дверь, положили автоматы на край рояля и остановились перед ней. Музыка переполняла комнату.

Перебирая клавиши, нажимая босой ногой на медную педаль, Хана играла песню, которой научила ее мать. Тогда она тренировалась на кухонном столе, на стене, пока поднималась в комнату, на спинке кровати, прежде чем заснуть. У них не было пианино. По воскресеньям девочка ходила в Общественный центр и играла там, а всю неделю тренировалась дома. Мать рисовала ноты мелом на кухонном столе, потом вытирала… Хотя Хана жила на вилле уже три месяца и видела, что здесь есть рояль, она впервые играла на нем. В Канаде, чтобы пианино не рассохлось, внутрь ставили полный стакан воды, а через месяц вы открывали крышку и обнаруживали, что вода испарилась. Отец говорил, будто воду выпили гномы, которые любят пропустить глоток-другой – но не в барах, а в пианино, роялях, клавикордах, фисгармониях и клавесинах. Она не верила, но сначала думала, что воду выпивают мышки.

Ливень с грозой, похоже, опять пришел в долину на всю ночь. Сверкнула молния; в полосе света девушка увидела, что один из солдат был сикх[25]. Она перестала играть, улыбнулась, почувствовав удивление и облегчение одновременно; вспышка молнии за их спинами была такой короткой, что Хана заметила только тюрбан на его голове и мокрые автоматы. Верхнюю крышку рояля давно сняли и использовали в качестве операционного стола, еще когда здесь был госпиталь, поэтому они положили автоматы на край выемки для клавиатуры. Английский пациент наверняка определил бы вид оружия. Вот досада. Ее окружали только иностранцы. Ни одного настоящего итальянца. Любовная интрига на вилле. Что подумал бы Полициано, увидев эту живую картину 1945 года: двое мужчин и женщина за роялем, война почти закончена, на рояле лежат автоматы, которые сверкают влажным блеском, когда в комнату заглядывает молния и скользит по их металлической глади. Удары грома будоражат долину каждые полминуты, сплетаясь со звуками рояля… «Когда я приглашаю свою сладенькую к чаю…»

– Вы знаете слова?

Они не шелохнулись. Она перестала играть аккорды и пустилась выстраивать сложные лабиринты, акробатические пирамиды из того, что осталось в памяти, перебивая джазовыми фрагментами простенькие фразы незатейливой мелодии.

Когда я приглашаю свою сладенькую к чаю,
Все парни мне завидуют – чужие и друзья.
Поэтому мы никогда
Не ходим парою туда.
Где пялятся, и ерзают, и лезут на глаза,
Когда я приглашаю свою сладенькую к чаю.

Их одежда промокла насквозь, но солдаты, казалось, забыли об этом, слушая, наблюдая при вспышках молний, как ее руки летают по клавишам, заполняя комнату звуками, то помогая, то противодействуя грому. У пианистки было такое серьезное лицо, что они понимали: она не здесь, а где-то далеко, видит мать, которая отрывает полоску газеты, смачивает ее и стирает со стола нарисованные мелом ноты. А потом она шла на воскресное занятие в Общественный центр, где играла на пианино, а ноги еще не доставали до педалей, поэтому она предпочитала играть стоя, нажимая ножкой в летней сандалии на педаль в такт метроному.

Теперь трудно было остановиться, хотелось петь эту песню снова и снова. В памяти всплывали места, куда они ходили с отцом, поляны в ландышах. Она подняла голову и кивнула в знак того, что сейчас закончит играть.

Караваджо не присутствовал при этом. Вернувшись, увидел на кухне Хану и двух солдат. Они делали бутерброды.

III. А может, стану я огнем

Италия переживала последнюю средневековую войну в 1943 и 1944 годах[26]. Немало крови было пролито на этой земле, настрадалась она от опустошительных нашествий. Но по-прежнему разрывают ее на части пришлые военные орды. Грозно громоздящимся на скалистых высотах городам-крепостям, немало повидавшим за свою историю начиная с восьмого века, пришлось снова испытать осады и атаки. Среди развороченных скал шел нескончаемый поток раненых, кровоточили изрубленные виноградники, а в глубокой колее от танковых гусениц можно было найти окровавленный топор и копье – свидетелей трагедии, разыгравшихся на этой многострадальной земле много сотен лет назад. И так везде – в Монтерчи, Нортоне, Урбино, Ареццо, Сансеполькро, Анжиари. И на побережьях.

Англичане, американцы, индусы, австралийцы и канадцы продвигались на север под черным небом, потемневшим от дыма взрывов. Когда армии соединились у Сансеполькро, города, знаменитого своими арбалетами, некоторым солдатам удалось раздобыть их, и по ночам они тайно пускали стрелы через стены осажденного города. Генерал-фельдмаршал Кессельринг[27] всерьез подумывал о том, что придется лить кипящее масло с зубчатых стен.

Ученые мужи из оксфордских колледжей, занимающиеся Средневековьем, были привезены сюда, в Умбрию[28]. Их средний возраст – около шестидесяти, и, расквартированные вместе с солдатами, они никак не могли привыкнуть к военным приказам. Услышав команду «Воздух!», продолжали стоять, забывая о том, что аэроплан уже давно изобретен и может нести опасность. Далекие от реального мира, они жили в своем, средневековом, воспринимая названия местностей и городов на театре военных действий с точки зрения их художественной и исторической ценности. В Монтерчи, например, их больше интересовало то, что в часовне рядом с городским кладбищем находится знаменитая «Мадонна дель Парто» кисти Пьеро делла Франческа, чем то, что здесь будет сражение. Во время весенних дождей, когда наконец этот укрепленный город, ведущий свою биографию с тринадцатого века, был взят, под высоким куполом церкви разместились на ночлег солдаты; они спали у кафедры из камня – там, где изображен Геркулес, убивающий Гидру. У солдат были проблемы с водой, многие умирали от тифа и других болезней. В готической церкви Ареццо, рассматривая в полевые бинокли фрески кисти Пьеро делла Франческа[29] на потолке, солдаты

видели у персонажей лица обыкновенных людей: царица Савская, беседующая с царем Соломоном, а рядом – мертвый Адам с веточкой древа познания Добра и Зла во рту. Через много лет царица поймет, что мост через Силоам был выстроен из ветвей этого священного дерева. Постоянно шли дожди, было холодно. Во всем царил хаос, и только на этих полотнах все подчинялось вечным правилам: наказание, послушание и жертвоприношение. Восьмая армия форсировала реки, где были разрушены мосты. Впереди шли саперы, которые под непрерывным огнем противника спускались по веревочным лестницам к воде и переплывали реки или переходили вброд. Бывало, что еду и палатки смывало водой, а кто-то рядом, обвязанный проводами, вдруг исчезал в брызгах от взрыва. Однажды, переплыв реку, они пытались выбраться из воды.

Вцепившись руками в вязкую илистую стену скалистого берега, повисли, желая лишь одного – чтобы ил затвердел и удержал их.

Прислонившись щекой к грязному илу, молодой сапер-сикх вспоминал лицо царицы Савской и представлял, что прикасается сейчас к ее нежной щеке. Только такое желание могло согреть его в холодной воде. Он снял бы вуаль с ее волос и положил руку ей на грудь. Ему тоже было тяжело и грустно, как мудрому царю и провинившейся царице, которых он видел на фресках в Ареццо две недели назад.

Солдат висел над водой, вцепившись пальцами в грязный илистый берег. За дни и ночи войны, пока выполняли приказы, они потеряли свою индивидуальность; это тонкое понятие осталось жить только в книгах или на фресках. И неизвестно, кому было тяжелее под куполом той церкви. Солдат потянулся вперед, чтобы прикоснуться к ее хрупкой шее. Он влюбился в ее потупленный взгляд – взгляд женщины, которая однажды познает святость мостов.

По ночам, лежа в гамаке, он протягивает руки, не ожидая обещаний или решений, но заключая временный договор с царицей, чье лицо было изображено на фреске и которое он не может забыть. А она забудет и никогда не вспомнит о его существовании. Кто он для нее? Какой-то сикх, прилепившийся к веревочной лестнице и мокнущий под дождем, возводя мост, по которому пройдут войска. Но он запомнил фреску и ее лицо. И когда через месяц, вынеся все тяготы боев и оставшись в живых, батальоны вышли к Адриатическому морю, заняв прибрежный городок Каттолика, инженерные подразделения очистили полоску берега от мин, и солдаты смогли раздеться и выкупаться в море, сикх разыскал профессора, специалиста по истории Средних

веков, который когда-то дружески отнесся к нему – просто поговорил и поделился американскими консервами – и в ответ на его доброту пообещал показать нечто интересное.

Сапер выкатил трофейный мотоцикл и надел на руку повязку темно-малинового цвета. Старик сел сзади, крепко обхватив его за плечи, и они поехали в обратном направлении – через города Урбино и Анжиари, которые казались сейчас мирными и спокойными. Двигались вдоль извилистого гребня горы, которая проходила по Италии с севера на юг, затем спустились по ее западному склону до Ареццо. Площадь ночью была пуста. Сапер поставил мотоцикл перед церковью. Помог профессору слезть, собрал свое оборудование, и они вошли в церковь. Здесь было темно и холодно. Звук шагов гулко отдавался в просторном зале. Он снова вдохнул запах камня и дерева, зажег осветительный патрон и подвесил блоки тали к колоннам над нефом, затем выстрелом вогнал рым с продетой в него веревкой в деревянную балку под потолком. Профессор с удивлением наблюдал, время от времени вглядываясь вверх, в темноту. Молодой сапер обошел вокруг старика, обвязал его веревкой вокруг талии и по плечам, приладил к груди маленький зажженный патрон, а сам, грохоча ботинками, побежал по ступенькам наверх, где был другой конец веревки. Схватившись за нее, спрыгнул вниз, в темноту, при этом старик взлетел вверх. Сапер, коснувшись пола, начал медленно натягивать веревку, так что профессор смог рассматривать фрески с расстояния менее метра. Осветительный патрон создавал вокруг его головы сияние, подобное нимбу. Все еще держа и натягивая веревку, сапер медленно шел вперед, пока ученый не оказался перед фреской «Бегство императора Максентия».

Через пять минут он опустил профессора, потом зажег еще один патрон и сам поднялся вверх, под купол, к синеве нарисованного неба и золотым звездам, которые запомнил раз и навсегда с того момента, когда увидел их в полевой бинокль. Взглянув вниз, увидел усталого профессора на скамье. Сейчас он ощутил не высоту, а глубину церковного здания, ее прозрачность, пустоту и темноту колодца. Осветительный патрон брызгал искрами, словно волшебная палочка.

Сикх устанавливает палатку в глубине сада – на том месте, где, по твердому убеждению Ханы, когда-то росла лаванда. Она нашла там сухие листья, растерла их в ладонях и определила по запаху, что это лаванда. Иногда после дождя она слышит слабый аромат лаванды, исходящий от земли.

Сначала солдат совсем не бывает в доме, лишь проходит

мимо, отправляясь по своим делам: на обезвреживание очередной бомбы или минного поля. Всегда вежлив. Легкий кивок головы. Хана смотрит, как он моется над тазиком с дождевой водой, аккуратно поставленным на солнечные часы. Водопровод, который в мирное время использовался для полива грядок с рассадой, не работает. Она видит обнаженное коричневое тело, когда он льет на себя воду. Днем ей заметны только руки в армейской рубашке с короткими рукавами и автомат, с которым он не расстается даже сейчас, когда военные действия для них уже, кажется, закончились.

Иногда принимает различные позы с автоматом, явно любуясь собой: то немного опустит его, то повернет локтем, повесив на плечи. Почувствовав, что девушка наблюдает, сикх-сапер резко оборачивается. Он еще не избавился от своей настороженности, останавливается перед всем, что кажется подозрительным.

Его самоуверенность действует успокаивающе не только на нее, но и на всех в этом доме – даже на Караваджо, хотя дядюшка Дэвид часто ворчит по поводу того, что сапер постоянно напевает американские песенки из вестернов, которые выучил за три года войны. Другой сапер, который появился вместе с ним, Харди, расквартирован ближе к городу, но она видела, что работают они вместе, иногда заходя в сад с миноискателями.

Собака привязалась к Караваджо. Молодой сапер иногда бегает с ней по аллее, но дальше этого его вежливость не идет. Он не кормит собаку, будучи убежденным, что она сама должна найти пропитание. Ночью иногда спит у парапета, выходящего на долину, заползая в палатку, только когда идет дождь.

Он, в свою очередь, видит, как Караваджо бродит по ночам, и пару раз идет за ним на расстоянии. Но однажды Караваджо останавливает его и говорит: «Не следи за мной». Сикх начинает отрицать это, но пожилой мужчина успокаивает его, приложив руку к его губам; солдат понимает, что Караваджо видел его и в позапрошлую ночь. В любом случае слежка была просто остатком привычек, которым научила война, – таким же, как желание метко пальнуть из автомата по цели. Время от времени он целится в нос скульптуры в саду или в одного из коричневых ястребов, парящих в небе над долиной.

В душе он все еще мальчишка: с жадностью набрасывается на еду, потом так же порывисто вскакивает, чтобы почистить и убрать тарелку, позволяя себе только полчаса на ланч.

Она наблюдала его за работой в саду, когда он шел с миноискателем между деревьями – осторожно и медленно, словно кот, подбирающийся к добыче. Когда он пьет чай, сидя

напротив за столом, девушка обращает внимание на загорелую кожу его запястья, на котором позвякивает тонкий браслет – «кара».

Он никогда не рассказывает об опасности, которая подстерегает на каждом шагу. Время от времени, услышав грохот взрыва, они с Караваджо выскакивают из дома, при этом сердце замирает от страха. Иногда она подбегает к окну, замечает, что Караваджо уже на улице, и вместе они видят сапера, который работает на террасе, увитой зеленью. Он слишком занят, чтобы повернуться к ним, но, зная, что они видят его, просто машет рукой в знак того, что с ним все в порядке.

Однажды Караваджо зашел в библиотеку и увидел солдата под потолком, где в углу над бордюром тот обнаружил ловко устроенную очередную мину-ловушку и уже перерезал проволочку взрывателя. У Караваджо была профессиональная привычка сразу охватывать взглядом всю комнату, от пола до потолка; молодой сапер, не сводя взгляда со взрывного устройства, вытянул ладонь и щелкнул пальцами, останавливая человека, предупреждая об опасности и давая знак выйти из комнаты.

Он все время что-то мурлычет или насвистывает, особенно когда лежит на парапете, глядя в небо на проплывающие облака. «Кто это свистит?» – как-то спрашивает английский пациент. Он еще не знает, что у них появился еще один житель, не видел его.

Сикх всегда шумно входит на кажущуюся пустой виллу. Только он один из ее обитателей носит военную форму. Рано утром появляется из палатки: опрятный, ботинки начищены до блеска, тюрбан симметрично сидит на голове, пуговицы и пряжки блестят – и отправляется на работу. Когда миноискатель обнаруживает монету, молодой сапер забывает об опасностях и громко хохочет. Кажется, бессознательно любуется своим телом, когда наклоняется, чтобы поднять упавший кусок хлеба, проводя по траве костяшками пальцев, или когда рассеянно вертит автоматом, словно огромной булавой, шагая в деревню по дороге, обсаженной кипарисами, чтобы встретиться с другими саперами.

В компании, собравшейся на вилле, он кажется временным гостем, словно оторвавшаяся звезда на краю Галактики. Для него это похоже на отпуск после войны, грязи, рек и мостов. Заходит в дом, только если его приглашают, чувствуя себя здесь случайным гостем – как в ту ночь, когда, услышав неуверенные звуки рояля, прошел по аллее под кипарисами и проник в библиотеку.

В ту ночь, когда была страшная гроза, он зашел на виллу не из желания посмотреть, кто играет, а потому что представлял, какая опасность грозит пианисту. При отступлении немцы

начиняли все вокруг взрывчаткой, и музыкальные инструменты были излюбленным местом, где ставились так называемые карандашные мины. Возвратившаяся домой и ничего не подозревающая хозяйка открывала пианино, и ей отрывало кисти рук. Или пытались заводить дедушкины высокие напольные часы – и неожиданная вспышка с грохотом разворачивала полстены и убивала всех, кто стоял рядом.

Поэтому, услышав звуки музыки, они с Харди бросились вверх по холму, перелезли через каменную стену и появились на вилле. Пока звучит музыка, можно быть уверенным, что пианист не наклонился вперед и не выдернул тонкую металлическую струнку, приводя в действие метроном. Как правило, именно там и устанавливали карандашные мины – самое легкое место, где можно вертикально припаять тонкий проводок, несущий смерть. А вообще ловушки можно было встретить повсюду: в водоразборных кранах, в корешках книг, в просверленных в стволах деревьев отверстиях – так, что если яблоко падало на нижнюю ветку или вы хватались за нее рукой, дерево взрывалось. Он уже не мог спокойно смотреть на комнату или поле: автоматически искал и оценивал возможности спрятать там мины.

Солдат постоял у двустворчатой двери, прислонившись головой к косяку, потом проскользнул в темноту комнаты и оставался незамеченным, время от времени освещаемый молниями. Охватил комнату взглядом, словно лучом радара, и увидел девушку, которая стояла у рояля, как бы ожидая его, и играла, сосредоточенно глядя на клавиши. Метроном уже тикал, невинно помахивая стрелкой взад-вперед. Значит, не было тонкого проводка, не было опасности. И он стоял там, в промокшей форме, а девушка сначала и не заметила вторжения.

Над его палаткой висит антенна от детекторного приемника, переброшенная через ветки деревьев. Ночью, взяв полевой бинокль Караваджо, она видит в палатке сапера светящийся в темноте диск шкалы настройки, иногда заслоняемый тенью человека. Днем он постоянно носит приспособление из одного наушника на голове, а другого – под подбородком, так что не теряет связь с миром и бывает в курсе всех важных событий. Иногда заходит в дом и сообщает новость, которую считает достойной их внимания. Например, от него узнали, что Гленн Миллер погиб в авиакатастрофе где-то между Англией и Францией[30].

Чаще она видит его на расстоянии, в заброшенном саду, который он очищает от мин. Сапер медленно идет по нему или

приседает, чтобы распутать клубок проводов, который кто-то оставил, словно ужасное письмо.

Он постоянно моет руки. Сначала Караваджо думает, что солдат слишком привередлив.

– А как же ты терпел во время войны? – смеется Караваджо.

– Я вырос в Индии, дяденька. Моя родина – Пенджаб. Там моют руки все время. Перед едой. Это традиция.

– А я родом из Северной Америки, – задумчиво говорит она.

Он спит то в палатке, то в саду. Она видит, что сапер снял наушники и положил на колени.

Тогда Хана опускает бинокль и отходит от окна.

Они были под громадным сводом Сикстинской капеллы. Сержант зажег осветительный патрон, а сапер лежал на полу и смотрел через автоматный прицел вверх, на бледные, коричнево-желтые лица святых на фресках, словно хотел отыскать брата в толпе. Тусклый свет падал на раскрашенные одежды святых и тела, которые за сотни лет потемнели от копоти масляных плошек и свечей; сейчас их убивает этот желтый дым от осветительного патрона. Солдаты знали: нужно быть благодарными за возможность войти сюда, в это святилище. Но верили, что заслужили такое право. Преодолев береговые плацдармы и тысячу перестрелок в малых сражениях, бомбежку в Монте-Кассино, семнадцать солдат пришли сюда, в молчаливое благолепие залов, расписанных кистью Рафаэля[31]. Их высадили в Сицилии, они с боями прошли на север, вверх по итальянскому сапогу, чтобы оказаться здесь, в этом темном зале. Это было наградой.

Один из них спросил: «Черт, может, прибавим света, сержант Шанд?» И сержант зажег осветительный патрон, поднял над головой и держал этот водопад льющегося желтого света, пока тот не иссяк. Остальные стояли, высоко подняв головы, рассматривая лица и фигуры на фресках. А молодой сапер лежал на спине, почти касаясь глазами через прицел бороды Ноя, и бороды Авраама, и разных демонов – пока не дошел до великого лица, с пронзающим, словно копье, взглядом; мудрого и не прощающего.

Он слышал крики у входа и звук торопливых шагов. Осветительный патрон будет гореть еще тридцать секунд. Повернулся и передал автомат священнику.

– Вон там. Кто это? Быстрее, патрон уже догорает.

Священник осторожно принял оружие, словно ребенка, направил его к сводам, но патрон погас.

Он вернул автомат сикху.

– Знаете, здесь, в Сикстинской капелле, надо быть очень осторожным с огнем, иначе я бы не пришел сюда. И должен поблагодарить сержанта Шанда: он героически справился с этим. Думаю, дым не причинит фрескам особого вреда.

– Вы видели то лицо? Кто это?

– О да, это великое лицо.

– Значит, вы видели его?

– Да, это Исайя.

Когда Восьмая армия дошла до Габиччe на восточном побережье, сапер был начальником ночного патруля. Во вторую ночь дежурства получил по рации сигнал: в воде замечено какое-то движение. Они сделали предупредительный выстрел. Вода взорвалась тысячами брызг. Они никого не уничтожили, но при вспышке выстрела он заметил темные очертания движущегося предмета. Он поднял автомат и держал предмет на мушке целую минуту, решив пока не стрелять и проверить, будет ли движение поблизости. Немцы все еще удерживались на севере, в Римини, на краю города. В прицеле он увидел темную фигуру, словно выходящую из моря. Над головой у нее вдруг засветился нимб. Это была Дева Мария.

Она стояла в лодке. Двое мужчин гребли, двое других поддерживали скульптуру. Лодка причалила к берегу, и мужчины вынесли скульптуру на берег. Жители стали аплодировать им из темных квадратов открытых окон.

Сапер увидел лицо кремового цвета и нимб над головой из маленьких лампочек. Сам он лежал на бетонном доте, между городом и морем, и наблюдал, как четверо мужчин вылезают из лодки, поднимают и несут гипсовую статую высотой в полтора метра, движутся по берегу, увязая в песке. Идут, не останавливаясь и не думая, что берег может быть заминирован. А может, они видели, как немцы заминировали берег, и знают безопасный путь?

Все это происходило в Габиччe Маре 29 мая 1944 года. В этот день у городских жителей был праздник – морской фестиваль Девы Марии.

Взрослые и дети высыпали на улицу. Появились оркестранты в нарядной одежде. Они, конечно, не собирались играть и нарушать правила комендантского часа, но их присутствие с начищенными до блеска инструментами было частью церемонии, которую нельзя менять.

И вдруг, совершенно неожиданно, он выплыл из темноты – в тюрбане, с автоматом в руках, с минометной трубой на ремне за плечами – и испугал их. Люди никак не ожидали, что на этой ничейной полосе появится военный.

Он поднял автомат и поймал в прицел лицо Девы Марии – нестареющее, неживое, в отличие от загорелых мужских сильных рук, которые несли ее. Мария снисходительно покачивала головой в ореоле из двадцати зажженных лампочек. На ней был плащ бледно-голубого цвета, левое колено слегка согнуто, чтобы подчеркнуть мягкие складки.

Эти люди не были мечтателями. Они пережили фашистов, англичан, галлов, готов и германцев. Их так часто завоевывали, что они уже привыкли. Но тем не менее свято соблюдали свои традиции и праздники. Вот и эту кремово-голубую гипсовую фигуру привезли по морю, поставили в тележку для винограда, украшенную цветами, и повезли на площадь. Оркестранты молча шли впереди. Он должен был обеспечить их безопасность, но не мог ворваться в процессию, находиться среди них, нарушать церемонию, испугать детей в белых одеждах своим оружием.

Поэтому пошел по другой улице, южнее, и старался идти со скоростью движения процессии, так что на перекрестке они встретились. Он поднял автомат и еще раз поймал ее лицо в прицел. Они довезли скульптуру до мыса, который выходил в море, поставили там и разошлись по домам. Никто не подозревал, что он все время следил за ними.

Ее лицо все еще было освещено. Четверо мужчин сели на площадке вокруг, словно часовые. Батарея начала садиться, лампочки совсем погасли где-то около половины пятого утра. Он взглянул на часы. Снова посмотрел сквозь прицел на четверых мужчин. Двое спали. Перевел прицел на ее лицо и стал изучать. Сейчас оно выглядело совсем по-другому, казалось более близким и живым, напоминая знакомое лицо: сестру… или дочь, которая у него когда-нибудь родится. Если бы мог, оставил бы что-нибудь на память. Но у него была своя вера, своя религия.

Караваджо заходит в библиотеку. Он проводит здесь почти все дни. Как всегда, книги – великое таинство. Достает с полки одну из них и открывает на титульной странице. Проходит минут пять, и он слышит тихий стон.

Оборачивается и видит, что на диване спит Хана. Закрыв книгу, отходит назад, за выступ под полками. Девушка спит, свернувшись калачиком, прислонившись щекой к пыльной парче дивана, кулак под подбородком. Брови шевелятся, лицо сосредоточенно. Ей что-то снится.

Когда он впервые увидел ее здесь, на вилле, она была как натянутая струна. Тело, прошедшее через войну: худое и подтянутое. Будто в любви, исчерпало каждую клеточку.

Он вдруг громко чихнул, а когда поднял голову, она уже

проснулась и уставилась на него.

– Угадай, сколько сейчас времени.

– Примерно 4.05. Нет, 4.07, – сказала она.

Это была их старая игра. Караваджо выскользнул из комнаты, чтобы проверить часы; по уверенным движениям она поняла, что он недавно принял очередную дозу морфия, был оживленным и сосредоточенным. Сидела и улыбалась, когда он вернулся, покачивая головой, удивляясь, как точно она определила время.

– Я родилась с солнечными часами в голове, да?

– Но ведь ночью они спят?

– А есть лунные часы? Может быть, их уже изобрели? И каждый архитектор, проектирующий виллу, обязательно предусматривает место для лунных часов – на случай, если в дом залезут воры.

– Какая трогательная забота о богатых!

– Давай встретимся у лунных часов, Дэвид. Там, где слабые становятся сильными.

– Ты имеешь в виду английского пациента и себя?

– А знаешь, год назад у меня мог бы родиться ребенок.

Теперь, когда его рассудок ясен и точен благодаря морфию, можно говорить о себе – и он будет слушать, будет с ней. И она рассказывает о себе с той искренностью, которая бывает, когда не знаешь, происходит все это во сне или наяву.

Караваджо знакомо такое состояние: он часто встречал людей у лунных часов. Нарушал их покой в два часа ночи, когда случайно опрокидывал какой-нибудь шкафчик в спальне, и тот с грохотом падал. И пришел к выводу: когда люди в шоке, это удерживает их от страха и насилия. И пользовался этим, хлопая в ладоши и безостановочно болтая, подбрасывая перед глазами ошеломленных хозяев дорогие часы и ловя их, задавая им вопросы о том, где что расположено.

– Я потеряла ребенка. Была вынуждена сделать это. Отца уже не стало. Война.

– Это случилось в Италии?

– В Сицилии. Все время, когда мы продвигались за войсками, я думала о ребенке. Разговаривала с ним. Много работала в госпитале, но ни с кем близко не сходилась. У меня был ребенок, и с ним я делилась всем. Разговаривала с ним, когда обмывала раненых и ухаживала за ними. Я просто помешалась на ребенке.

– А потом твой отец умер.

– Да. Тогда умер Патрик. Я была в Пизе, когда узнала об этом… – Вот теперь она окончательно проснулась и садится прямо. – Послушай, а ты-то откуда знаешь?

– Я получил письмо из дома.

– Поэтому и приехал сюда?

– Нет.

– Ну ладно. Не думаю, чтобы отец верил в поминки и все такое. Патрик обычно говорил, что хочет, когда умрет, чтобы на могиле играл женский дуэт. Скрипка и гармоника. И все. Он был чертовски сентиментален.

– Да. Его легко было разжалобить. Стоило увидеть женщину, которая страдает, и он пропал.

С долины поднялся сильный ветер; он раскачивал кипарисы, которыми были обсажены тридцать шесть ступенек, ведущих к часовне. Начинался дождь, его первые тяжелые капли упали на Караваджо и Хану. Было далеко за полночь. Хана лежала на выступе из бетона, а он ходил перед ней, изредка вглядываясь в долину. В тишине был слышен только шум падающих дождевых капель.

– Когда ты перестала беседовать с ребенком?

– Не помню… может быть, когда работала в госпитале в Урбино. Как-то вдруг навалилось много всего. Были тяжелые бои при взятии моста через Моро, потом при Урбино. В той мясорубке любой мог погибнуть, даже если ты не солдат, а священник или медсестра. Эти узкие крутые улочки были похожи на кроличий садок. Солдат привозили в госпиталь без рук, без ног, они влюблялись в меня на час, затем умирали. Я не успевала запоминать имена, но все время, даже когда они умирали, видела своего ребенка. Я видела, *как* они умирали. Некоторые садились на кровати и срывали с себя все бинты, словно так было легче дышать. Другие волновались из-за небольших ссадин на руках. Но главный признак смерти – пена в уголках рта. Такой маленький белый комочек. Однажды я подумала, что пациент умер, и наклонилась, чтобы закрыть ему глаза, а он вдруг открыл их и усмехнулся мне в лицо. «Что, не можешь дождаться, когда я умру, сука?» Сел и выбил поднос из моих рук. Все разлетелось по полу. Он был как бешеный. Это ужасно – умереть с таким чувством злости. Я не могла забыть его глаз и слов. С того случая всегда ждала, когда у раненых появлялась пена в уголках рта. Теперь я знакома со смертью, Дэвид. Я знаю ее запах, знаю, как ослабить предсмертную агонию: надо сделать быструю внутривенную инъекцию физиологического раствора. Знаю, как заставить их очистить кишечник перед смертью. Через мои руки прошли все, независимо от возраста и военного звания: от солдата до генерала. Да, черт побери, до генерала. Мы уже знали, что после каждого боя за взятие моста госпиталь будет задыхаться от нового потока раненых. Какого дьявола нам была дана такая

ответственность, почему от нас ждали мудрости, как от священников, которые знают, как вести людей к тому, чего они не хотят, и как облегчить их последний путь? Я никогда не верила во все эти религиозные ритуалы, которые устраиваются для умирающих, в их вульгарную напыщенность. Как они смеют! Можно ли что-то говорить, когда человек умирает!

Они сидели в кромешной темноте. Небо заволокли тучи, огни в окнах деревенских домов погашены. Так было безопаснее в это смутное время. По ночам часто гуляли по саду виллы.

– Не догадываешься, почему они не хотели, чтобы ты осталась здесь одна, с английским пациентом?

– Неравный брак? Наследственный комплекс жалости? – Она улыбнулась.

– А кстати, как он?

– Все еще беспокоится о собаке.

– Скажи ему, что я забочусь о ней.

– Он не совсем уверен, что ты еще здесь. Думает, ты забрал весь фарфор и скрылся.

– Как думаешь, немного вина ему не повредит? Мне удалось сегодня разжиться бутылочкой.

– Откуда?

– Неважно. Лучше скажи: да или нет?

– Давай на время забудем о нем и выпьем прямо сейчас.

– Ага, он уже тебе надоел!

– Совсем нет. Просто необходимо напиться.

– В двадцать лет. Когда мне было двадцать лет, я…

– Знаю, знаю. Слушай, лучше скажи, почему бы тебе не украсть граммофон? Между прочим, сейчас для твоего занятия есть другое название – мародерство.

– Этому я научился в своей стране. А в этой стране решили, что мои знания им пригодятся.

Он прошел через разрушенную часовню в дом.

Хана села, слегка пошатываясь. «И вот как они с тобой расплатились!» – произнесла она мысленно.

Тогда, в госпитале, она не сближалась даже с теми, с кем работала бок о бок. Ей нужен был дядюшка. Или отец ребенка. Об этом она думала, сидя здесь, в ожидании момента, когда напьется впервые в жизни. Обгоревший пациент наверху погрузился в сон, который продлится четыре часа. А старый друг ее отца, найдя ее металлическую коробку с лекарствами, нащупал ампулу с морфием, отломил стеклянный кончик, затянул шнурком руку выше локтя и торопливо сделал себе инъекцию. Потом как ни в чем не бывало он вернется к Хане, думая, что она ни о чем не подозревает.

Вечером в горах, которые их окружают, темнеет поздно. Еще в десять часов небо светлое и зеленеют холмы.

– Меня тошнило от голода. От приставаний. Поэтому я отказывалась от свиданий, прогулок на джипе, от ухаживаний, от последнего танца с ними перед смертью – и прослыла недотрогой. Работала больше других, старалась забыться в работе – по две смены, под огнем – выполняла все, что было необходимо, чистила, мыла, выносила судна. Прослыла снобкой, потому что ни с кем не встречалась и не выуживала деньги. Я хотела домой, но там меня никто не ждал. Меня тошнило от Европы. Почему я должна быть покладистой? Только потому, что я женщина? Встречалась с одним человеком, но он погиб, а потом умер ребенок. Я хочу сказать, что он не умер, я сама убила его. После этого я настолько замкнулась в себе, что никто не мог достучаться. Было все равно, кем меня считают; я не реагировала на чужую смерть, как будто что-то окаменело во мне… И тогда увидела его, обгоревшего до черноты пациента, который, скорее всего, был англичанином.

И он сломал лед в моем сердце, Дэвид. А ведь я, казалось, уже давно поставила на мужчинах крест.

Через неделю после того, как сапер-сикх появился на вилле, они привыкли к его манерам. Где бы он ни был – на холмах или в деревне – ровно в двенадцать тридцать возвращался на виллу, чтобы присоединиться к Хане и Караваджо за столом. Из заплечного мешка доставал маленький голубой узелок, сделанный из носового платка, развязывал и расстилал на столе перед собой. Там были несколько луковиц и пряные травы, которые, по предположению Караваджо, сапер нарвал в соседнем монастыре францисканцев, когда разминировал там сад. Он очищал луковицы тем же ножом, которым скоблил или перерезал проволочки минных взрывателей. Затем съедал какой-нибудь фрукт. Караваджо высказал предположение, что сикх прошел всю войну, никогда не питаясь за общим столом.

Он был пунктуален: с первыми лучами солнца протягивал кружку, чтобы Хана налила ему английского чая, который очень любил, и добавлял туда сгущенного молока. Пил с удовольствием, подставляя лицо солнцу и глядя в долину, где лениво слонялись солдаты, свободные от дел.

На заре, под израненными деревьями в развороченном бомбами саду виллы Сан-Джироламо, он набирает из фляги полный рот воды, насыпает зубной порошок на щетку и начинает десятиминутный ритуал чистки зубов, бродя по саду и глядя вниз, на долину, которая все еще окутана туманом – скорее из

любопытства, чем из благоговения перед этим живописным видом. Мало ли где приходилось жить в войну? Он с детства привык чистить зубы на улице.

Этот пейзаж – временное явление, и он не собирается привыкать к нему. Трезво оценивает возможности дождя или воспринимает определенный запах от куста. Словно его мозг, даже если не работает, является радаром; глаза фиксируют перемещение неодушевленных объектов в радиусе действия стрелкового оружия. Он тщательно изучает вырванные из земли луковицы, так как не исключает возможности нахождения взрывного устройства даже там, поскольку знает, что при отступлении было заминировано все.

Во время ланча Караваджо мельком бросает взгляд на то, что лежит у сикха в узелке. Возможно, есть на свете какое-нибудь редкое животное, которое ест ту же пищу, что и он. Ножом молодой военный пользуется только для того, чтобы разрезать луковицу или фрукт.

Двое мужчин берут тележку и отправляются в деревню, чтобы раздобыть мешок муки. Саперу надо отправить в штаб в Сан-Доменико карты разминированной местности. Не желая спрашивать друг о друге, они разговаривают о Хане. Далеко не сразу Караваджо признается в том, что знал ее еще до войны.

– В Канаде?

– Да, это было там.

Они проходят вдоль костров по обочинам дороги, и Караваджо переводит разговор на другую тему. Солдата все зовут Кип: «Найдите Кипа», «Сейчас здесь будет Кип». Забавно, но прозвище пристало. Когда он проходил обучение в Англии в саперном батальоне, на первом его отчете о разминировании было масляное пятно, и офицер воскликнул: «Это еще что? Жир от копченой селедки?», и все засмеялись[32]. Он понятия не имел, что такое копченая селедка, но с этим уже ничего нельзя было поделать, и через неделю его настоящее имя, Кирпал Сингх, было забыто. Он не сердился. Лорду Суффолку и всей команде нравилось так называть его, а ему это нравилось больше, чем когда англичане называют всех по фамилии.

В то лето у английского пациента был слуховой аппарат, так что он слышал все, что происходило в доме. Янтарная раковина, вставленная в ухо, передавала все случайные шумы – скрежет стула по полу в коридоре, стук когтей собаки за дверью; когда он подкручивал регулятор звука, можно было даже услышать дыхание пса или крик сапера на террасе. Так английский пациент узнал о присутствии сапера на вилле, еще не видя его, хотя Хана

старалась, как могла, оттянуть момент встречи, зная, что они могут не понравиться друг другу.

Но однажды, войдя в комнату английского пациента, она увидела там сапера. Он стоял у кровати, руки на автомате, перекинутом за плечи. Ей не понравилось это небрежное обращение с автоматом: ленивый поворот тела, когда она вошла, как будто оно было осью колеса, и автомат пришит к его плечам, предплечьям и загорелым узким запястьям.

Англичанин повернулся и сказал:

– А мы отлично поладили!

Раздражало, что сапер вторгся в ее владения, казалось, он всюду преследовал ее. Кип, зная по рассказам Караваджо, что англичанин разбирается в оружии, начал обсуждать с ним проблемы разминирования. Пациент оказался богатым источником знаний об оружии союзников и противника. Ему было известно не только о нелепых взрывателях итальянских мин, но и многое другое, например подробная топография этого района Тосканы. Вскоре они уже набрасывали на листке бумаги чертежи бомб, обсуждая их особенности и действие.

– В итальянских минах взрыватели установлены вертикально и не обязательно в хвосте.

– Да, но это еще зависит от того, где их делают. Если в Неаполе, то так оно и есть, а в Риме мины делают уже по немецкой технологии. Конечно, в Неаполе, еще в пятнадцатом веке…

Это означало, что сейчас пациент опять унесется в прошлое и будет долго объяснять исторические корни событий, но молодой солдат не привык просто молчать и слушать. Он нетерпеливо перебивал англичанина, когда тот делал паузы, чтобы отдохнуть и собраться с мыслями для нового витка. Солдат откинул голову и посмотрел в потолок.

– Нам следует сделать гамак, – задумчиво сказал сапер Хане, когда та вошла, – и пронести его по всему дому.

Она посмотрела на них, пожала плечами и вышла.

Когда Караваджо наткнулся на нее в коридоре, девушка улыбалась. Они постояли немного, прислушиваясь к разговору за дверью.

– Я говорил вам о том, что думаю по поводу восхваления Вергилием[33] человека, Кип? Позвольте мне…

– У вас работает слуховой аппарат?

– Что?

– Включите его…

– Мне кажется, он нашел друга, – сказала Хана Караваджо.

Она выходит во двор, на солнце. Днем в водопровод подают воду, и в течение двадцати минут она льется из кранов в фонтане. Хана снимает туфли, влезает в сухой резервуар фонтана и ждет.

Стоит запах скошенной травы. В воздухе роятся мухи, натыкаясь на нее, как на стену. Подняв голову и посмотрев под верхнюю чашу фонтана, в тени которой сидит, девушка замечает скопление водяных пауков. Ей нравится сидеть здесь, в каменной колыбели, вдыхать прохладный густой запах из наливного отверстия, словно из подвала, который открыли впервые после зимы, а снаружи висит жара. Она стряхивает пыль с рук, босых ног, туфель и потягивается.

Слишком много мужчин в доме. Она дотрагивается губами до обнаженной руки выше плеча и чувствует запах своей кожи, знакомый запах. Свой вкус и аромат. Помнит, когда впервые ощутила его: где-то в подростковом возрасте, когда присасывалась губами к собственному предплечью, чтобы научиться целоваться, или обнюхивала запястья, или склонялась к бедру, стараясь вдохнуть свои запахи. Складывала ладони вместе и делала выдох, чтобы потом ощутить ароматы своего дыхания. Она потерла ступнями пестрое дно фонтана. Сапер рассказывал, как в перерывах между боями приходилось спать возле скульптур. Он помнил одну из них, показавшуюся красивой, – скорбящего ангела, в котором можно было обнаружить и мужские, и женские черты. Он лежал под ней, глядел вверх – и впервые за все время войны почувствовал умиротворение и покой.

Она вдыхает затхлый запах влажного камня.

Как умирал отец? Боролся ли он за жизнь или умер тихо? Лежал ли на кровати, как английский пациент, важно распростершийся на своем ложе? Кто ухаживал за ним? Чужой или близкий? Чаще чужой человек может сделать намного больше, чем близкий: попадая в руки незнакомого человека, вы обнаруживаете зеркало собственного выбора. В отличие от сапера, ее отец не был приспособлен к жизни. Разговаривая, так смущался, что проглатывал некоторые слова. Мать жаловалась, что в любых предложениях Патрика всегда терялись два или три решающих слова. Но Хане это нравилось. В нем не было духа феодала, но была неопределенность, нерешительность, что придавало своеобразное очарование. Он был не похож на других. Даже у английского пациента иногда проявлялись повадки феодала. А отец был голодным призраком, которому нравилось, что вокруг уверенные, даже грубые люди.

Шел ли он навстречу смерти с тем смутным ощущением, что он здесь случайно? Или был в бешенстве? Хотя это совсем не

похоже на него – он вообще не был способен на ярость. Ненавидел споры и выходил из комнаты, когда кто-то нелестно отзывался о Рузвельте[34] или Тиме Баке[35], либо восхвалял некоторых мэров Торонто. За всю жизнь он не пытался никого переубедить, просто воспринимая и отмечая события, которые происходили вокруг. Вот и все. Любой роман – это зеркало, скользящее вдоль дороги. Она прочла это в одной из книг, которые рекомендовал английский пациент, – и именно так вспоминала отца, когда пыталась собрать в памяти отдельные отрывочные эпизоды: как он остановил машину в полночь под мостом в Торонто, севернее Поттери-Роуд, и рассказал ей, что скворцам и голубям здесь очень неуютно и они ссорятся по ночам, ибо не могут поделить стропила. И они стояли там некоторое время, задрав головы вверх, прислушиваясь к птичьему гомону и сонному щебетанью.

– Мне написали, что Патрик умер на голубятне, – сказал Караваджо.

Ее отец любил город, который сам придумал, а улицы, стены и границы в нем нарисовал вместе с друзьями. Он никогда и не покидал этого города. Теперь Хана понимает, что в жизни до всего доходила сама либо узнавала от Караваджо или от мачехи Клары, когда они жили вместе. Клара была когда-то актрисой и умела отлично изображать эмоции, что и сделала успешно, разыграв ярость, когда узнала, что они идут на войну. Весь последний год войны Хана возила с собой по Италии письма от Клары, которые, она знала, Клара писала, сидя на розовой скале на острове в заливе Джорджиан-Бей[36], а ветер с моря раздувал листы бумаги… потом мачеха вырывала страницу из блокнота и вкладывала в конверт. Хана хранила эти письма в чемодане – кусочки розовых скал и морского ветра, память о доме, – но не отвечала на них. Тосковала по Кларе, но после всего, что с ней случилось на войне, рука не поднималась ответить. Было просто невыносимо писать хоть что-нибудь, тем более – признать смерть Патрика.

И даже сейчас она не могла сделать этого – здесь, на другом континенте, когда война отошла дальше, а монастыри и церкви на холмах Тосканы и Умбрии, которые во время боевых действий быстро превращались в госпитали, стояли в безмолвном уединении, словно отрезанные от всего мира. Только небольшие группки военных оставались в них, словно малые морены после отхода обширного ледника. А вокруг – священный лес.

Она подбирает ноги под юбку и обхватывает их руками. Все тихо. Слышит знакомый нарастающий глухой звук в трубе, которая встроена в центральной колонне фонтана, затем снова

тишина – и взрыв грохочущей воды, решительно наполняющей фонтан.

Книги, которые Хана читала английскому пациенту, отправляясь в путешествие вместе со старым странником в «Киме» или с Фабрицио в «Пармской обители», опьяняли их и бросали в водоворот событий, где армии, лошади, повозки уходили от войны или, наоборот, шли ей навстречу. В одном углу комнаты стопкой лежали книги, которые они уже прочли, путешествия, которые уже совершили.

Многие начинались со вступительного слова автора. Тихо окунувшись в его воды, вы плавно скользили по волнам.

«Началом моего повествования станет год, когда консулом был Сервий Гальба. …Истории Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона, когда они находились у власти, фальсифицированы ужасом, а после их смерти написаны, когда еще не остыла ненависть к ним».

Так начинает Тацит[37] свои «Анналы».

Но романы начинались медленно или хаотично. Читателей постоянно бросало из одной крайности в другую. Открывалась дверь, или поворачивался ключ в замке, или взрывалась плотина – и вы бросались следом, одной рукой хватаясь за планшир, другой придерживая шляпу.

Начиная читать книгу, она словно входит через парадные ворота в огромные дворы. Парма, Париж, Индия расстилаются своими коврами.

«Вопреки запрещению муниципальных властей он сидел верхом на пушке Зам-Заме, стоявшей на кирпичной платформе против старого Аджаиб-Гхара, Дома Чудес, как туземцы называют Лахорский музей. Кто владеет Зам-Замой, этим „огнедышащим драконом“, – владеет Пенджабом[38], ибо огромное орудие из позеленевшей бронзы всегда служит первой добычей завоевателя»[39].

– Читайте медленно, милая девушка. Киплинга[40] надо читать медленно. Следите внимательно за запятыми, и будете делать естественные паузы. Он ведь писал чернилами и ручкой. Думаю, часто отрывался от страницы, уставившись в окно и слушая пение птиц, как делают писатели, оставшись в одиночестве. Не все могут похвастаться знанием птиц, а он мог. Ваш глаз слишком быстр, как у всех североамериканцев. Подумайте, с какой скоростью писал Киплинг. В противном случае первый же абзац покажется вам ужасным и скучным.

Это был единственный урок чтения, который преподал английский пациент. Больше он не прерывал ее. Если случалось, что засыпал, она продолжала читать не отрываясь, пока сама не утомлялась. Если и пропускал последние полчаса сюжета (это могло сравниться с тем, как в обследуемом доме остается только одна темная комната), то не волновался, потому что, похоже, хорошо знал этот роман. Так же хорошо был знаком и с географией тех мест, где проходили события, описываемые в книге. К востоку от Пенджаба был Бенарес, на севере – Чилианваллах. (Все это случилось до того, как в их жизнь вошел сапер – словно шагнул со страницы книги. Как будто их потерли ночью, словно волшебную лампу, они ожили – и произошло чудесное превращение.)

Она оторвалась от последней страницы «Кима», с изящными и возвышенными предложениями, которые теперь научилась правильно читать, и взяла книгу пациента, пронесенную сквозь огонь. Она разбухла и не закрывалась, став почти вдвое толще.

В нее был вклеен тонкий листок, вырванный из Библии.

«Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться.

И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтоб она предстояла царю и ходила за ним и лежала с ним, – и будет тепло господину нашему, царю.

И искали красивой девицы во всех пределах Израильских, и нашли Ависагу Сунамитянку, и привели ее к царю.

Девица была очень красива, и ходила она за царем и прислуживала ему; но царь не познал ее»[41].

Люди из племени, которые спасли обожженного летчика, принесли его на британскую базу в Сиве в 1944 году. Ночным санитарным караваном его доставили из Западной пустыни[42] в Тунис, а оттуда отправили на корабле в Италию. В то время в госпиталях было много безымянных солдат – больше тех, кто действительно не помнил, кто он, чем таких, которые делали это с определенным умыслом. Тех, кто заявлял, что не помнит своей национальности, разместили на отгороженной территории морского госпиталя на Тирренском побережье. Обгоревший пациент был еще одной загадкой: личность не установлена, а внешность неузнаваема. В лагере для преступников, который располагался рядом, держали американского поэта Эзру Паунда[43] в клетке. Он прятал то на теле, то в карманах, ежедневно перекладывая, листочек эвкалипта – амулет, якобы обеспечивающий личную безопасность. Когда поэта арестовали и вели через сад, принадлежащий тому, кто его предал, он

дотянулся и отщипнул этот листик, «чтобы помнить».

– Вы могли бы обманом заставить меня говорить по-немецки, – сказал обгоревший пациент тем, кто его допрашивал, – и этот язык я знаю. Спросили же меня, как бы между прочим, о Доне Брэдмене? Спросите и о Мармите, о великой Гертруде Джекилл.

Он знал, где находилась каждая картина Джотто[44] в Европе, и почти все места, где человеку могли всучить подделку вместо оригинала.

Морской госпиталь располагался вдоль побережья – в кабинках для купающихся, которыми пользовались в начале века. Когда было жарко, старые зонты Кампари снова, как и раньше, водружались в свои гнезда на столиках, и раненые в бинтах и повязках сидели под ними, вдыхая свежий морской воздух. Кто неторопливо беседовал, кто просто молча смотрел на море, а кто болтал без умолку. Обгоревший пациент заметил молодую медсестру, которая отличалась от других. Была знакома эта мертвенность во взгляде живых глаз, и он сразу понял, что девушка сама нуждалась в лечении. Когда было что-то нужно, он обращался только к ней.

Его снова допрашивали. Все указывало и подтверждало, что он англичанин – за исключением того факта, что он обгорел до черноты, и это не устраивало офицеров-контрразведчиков.

Они спросили его, где находились войска союзников в Италии, и он предположил, что они взяли Флоренцию, но были остановлены среди холмов и городков севернее. «Готическая линия».

– Ваши дивизии застряли у Флоренции и не могут пройти опорные пункты, к примеру, в Прато и Фьезоле, потому что немцы засели на виллах и в монастырях и прекрасно защищены. Это старый прием – крестоносцы совершали такие же ошибки в походах против сарацинов. И так же, как им, вам нужно взять эти города-крепости. Но они никогда не сдавались, только во времена эпидемий чумы или холеры.

Он говорил, перескакивая с одной мысли на другую, чем доводил их до бешенства – невозможно было понять, кто он: друг или враг.

И вот сейчас, несколько месяцев спустя, близ деревни в холмах к северу от Флоренции, на вилле Сан-Джироламо, в комнате, похожей на зеленую беседку, которая стала спальней, он лежит на постели, словно статуя мертвого рыцаря в Равенне[45]. Говорит отрывками про города-оазисы, про последних Медичи, о стиле прозы Киплинга, о женщине, которая его кусала… А в его книге «Истории» Геродота издания 1890 года есть вставные

фрагменты – карты, дневниковые записи, пометки на разных языках, абзацы текста, вырезанные из других изданий. Единственное, чего не хватает, – его имени. До сих пор нет ключа к разгадке того, кто он на самом деле: ни имени, ни звания, ни принадлежности к дивизии или эскадрилье. Все записи в этой книге сделаны до войны, в пустынях Египта и Ливии в 1930-е годы, пересыпаны сведениями об искусстве наскальной живописи и отсылками то к галереям, то к заметкам из журналов – и все это одним и тем же, должно быть, его собственным мелким почерком.

– А вы знаете, что среди флорентийских мадонн нет брюнеток? – говорит он Хане, когда она склоняется над постелью.

Он уснул со своей книгой в руках. Хана берет ее и кладет на маленький столик рядом с кроватью. Не закрывая, приостанавливается и читает, давая себе обещание не переворачивать страницу.

Май 1936.

«Я прочитаю вам стихотворение», – объявила жена Клифтона своим официальным голосом, таким же бесстрастным, какой казалась сама, если вы не были близко знакомы. Мы были в южном лагере и сидели у костра.

Я шел по пустыне.
И я закричал:
«О, Господи, забери меня отсюда!»
И голос ответил мне: «Это не пустыня».
Я закричал: «Но ведь здесь песок,
И жара, и бескрайний горизонт».
А голос мне ответил: «Это не пустыня».
Все сидели молча.

Она сказала: «Это написал Стивен Крейн[46]*, он никогда не был в пустыне».*

«Он был в пустыне», – сказал Мэдокс.

Июль 1936.

Военные измены – детские шалости по сравнению с изменами в мирное время. Новый любовник занимает место старого. Все рушится, поданное в новом свете. И все это делается с раздражением или нежностью, хотя сердце соткано из пламени.

История любви не о тех, кто теряет сердце, а о тех, кто находит в себе то, что запрятано глубоко-глубоко. Оно обитает в вас, а вы и не подозреваете об этом, пока вдруг не поймете, что душу можно обмануть, а плоть – никогда. Плоть ничем нельзя

обмануть – ни мудростью сна, ни соблюдением светских приличий. В плоти – средоточие и самого человека, и его прошлого.

В комнате с зелеными стенами почти темно. Хана поворачивается и чувствует, как у нее затекла шея, оттого что все-таки увлеклась и погрузилась в чтение книги, разбухшей от карт и текстов, написанных неразборчивым почерком. Там где-то даже вклеен маленький листок папоротника. «Истории». Она не закрывает книгу, вообще не дотрагивается до нее с тех пор, как положила на столик. Уходит от нее.

Работая на поле в северной части виллы, Кип обнаружил мину огромных размеров. Он чуть не наступил на зеленый провод, когда шел через сад, быстро отклонился в сторону, вследствие чего потерял равновесие и упал на колени. Он осторожно поднял провод, который не был натянут, и пошел по его ходу, петляя между деревьями.

Дойдя до места, где была сама мина, сел, положив походный мешок на колени. Мина шокировала его тем, что была забетонирована. Они установили здесь взрывной заряд и механизм, а потом залепили все мокрым бетоном для маскировки. В трех метрах от этого места стояло голое дерево, еще одно – в десяти метрах. За два месяца на бетонированном возвышении успела вырасти трава.

Кип развязал мешок, достал ножницы и выстриг траву. Потом сплел маленькую сетку и, привязав к веревке, прилаженной через блок к ветке дерева, медленно приподнял бетонную шапку. От нее в землю шли два провода. Сапер сел, прислонившись к дереву, глядя на них. Теперь нельзя спешить. Достав из мешка детекторный радиоприемник, надел наушники. Вскоре в ушах зазвучала американская музыка, которую крутили на радиостанции. Примерно по две с половиной минуты на каждую песню или танцевальную мелодию. Он может вычислить, сколько времени сидит здесь, сложив количество песен, которые помнит по названиям: «Нитка жемчуга», «Си-Джем Блюз» и другие.

Музыка не мешает, она помогает сосредоточиться и продумать конструкцию мины, представить того, кто сплел этот клубок проводов и залил их мокрым бетоном. Он знает, что у такой мины не будет тикающего или щелкающего звука, предупреждающего об опасности, поэтому нет необходимости напрягать слух.

Подвешенный наискось в воздухе бетонный тар, обвязанный веревочной сеткой, означал, что те две проволоки не выскочат из земли, сколь бы сильно их ни тянули. Кип встал и начал

осторожно очищать замаскированную мину, сдувая с нее пылинки, сметая пером кусочки бетона. Оторвался только тогда, когда музыка в наушниках пропала: волна «ушла», и пришлось подрегулировать настройку. Очень медленно очистил набор проводков. Там их было шесть – спутанные, все черного цвета.

Он смел мелкую пыль с крышки, на которой они лежали.

Шесть черных проводков… Когда он был маленьким, отец, собирая его пальцы в свой кулак и показывая только кончики, заставлял угадать, какой из них самый длинный. Своим маленьким пальчиком ребенок дотрагивался до того, который считал самым длинным, а отец, разжимая кулак, радостно показывал его ошибку… Конечно, можно было провод с отрицательным потенциалом оставить красным. Но его оппонент не только забетонировал мину, но и замазал все проводки черным. Кип пустился в размышления о психологии врага и начал мало-помалу соскабливать краску ножом, обнаруживая красный, синий, зеленый. А что, если его оппонент еще и соединил их по-другому? Тогда придется устанавливать перемычку своим черным проводком вслепую, а затем проверять петлю на положительный и отрицательный заряды. Потом надо, конечно, проверить ее на затухающее напряжение, чтобы точно узнать, где находится опасность.

Хана несла перед собой большое зеркало по коридору. На минуту остановилась, чтобы передохнуть, потом пошла дальше; в зеркале отражался темно-розовый цвет стен.

Англичанин захотел посмотреть на себя. Прежде чем войти в комнату, она перевернула зеркало к себе, чтобы свет от окна сразу не ударил ему в лицо.

Он лежал весь темный, обгоревший. Единственным светлым пятном был слуховой аппарат в ухе, а подушка, казалось, сияла белизной. Хана помогла ему стянуть простыни вниз, к основанию кровати. Потом встала на стул и медленно наклонила зеркало к пациенту. Стояла так, удерживая зеркало вытянутыми руками, когда услышала слабые крики из глубины сада.

Сначала она не обратила на них внимания. В доме всегда были слышны шумы из долины. Доносящиеся крики саперов в мегафоны, наоборот, успокаивали, когда они жили на вилле вдвоем.

– Пожалуйста, держите зеркало ровнее, – попросил он.

– Кажется, кто-то кричит. Вы слышите?

Левой рукой он подкрутил слуховой аппарат.

– Это сапер. Вам лучше пойти и узнать, в чем дело.

Она прислонила зеркало к стене и бросилась из комнаты по

коридору. Выскочив из дома, немного постояла, но, услышав еще один крик, побежала через сад дальше, на верхнее поле.

Он стоял с поднятыми над головой руками, словно держал гигантскую паутину, и тряс головой, пытаясь сбросить наушники. Когда Хана устремилась к нему, он крикнул, чтобы она приняла влево. Вокруг были минные провода. Девушка застыла на месте. Она ходила здесь много раз, не подозревая об опасности. Приподняв юбку и внимательно глядя под ноги, пошла вперед, осторожно ступая в высокую траву.

Сапер так и стоял с поднятыми вверх руками. Он был в ловушке, держа два «живых» провода, которые не мог опустить без ущерба для собственной безопасности. Требовался помощник, чтобы взять хотя бы один из них и позволить Кипу вернуться к боеголовке. Он осторожно передал ей провода и опустил затекшие руки, слегка потряхивая их.

– Я заберу их через минуту.

– Не волнуйся. Я в порядке.

– Стой спокойно, не двигайся.

Он достал из мешка счетчик Гейгера[47] и магнит, затем провел диском счетчика вверх по проводам, которые держала Хана. Нет отклонения стрелки, показывающей наличие потенциала. Значит, нет и ключа к разгадке. Ничего нет. Он отступил назад, размышляя, в чем же секрет.

– Давай я подвяжу их к дереву, и ты сможешь уйти.

– Нет, они не достанут до дерева. Я подержу.

– Тебе лучше уйти.

– Кип, я останусь здесь.

– Мы в тупике. Кто-то хитро подшутил над нами. Я не знаю, что делать. Не понимаю, насколько сложна эта ловушка.

Оставив ее, побежал к тому месту, где первый раз увидел провод. Снова поднял его и пошел вдоль всей длины, на этот раз со счетчиком Гейгера. Потом присел метрах в десяти, размышляя, время от времени поднимая голову и глядя мимо Ханы – видя только два проволочных отвода от схемы, которые она держала в руках.

– Я не знаю, – сказал он громко, медленно выговаривая каждое слово. – Не знаю. Думаю, мне придется перерезать провод, который держишь в левой руке, и ты должна уйти.

Он снова натянул на голову наушники, чтобы звук проник в него, возвращая ясность мысли. Проверил в уме схему соединений всех проводов, ответвлений, витков и узлов, самые неожиданные уголки, запрятанные переключатели, которые превращали потенциалы проводов из положительных в

отрицательные. Металлическая коробка. Он вдруг вспомнил собаку, у которой глаза были огромными, как блюдца. Мысль бежала вдоль линий воображаемого чертежа наперегонки с музыкой, и все это время он не сводил глаз с рук девушки, которая все еще держала провода.

– Тебе лучше уйти.

– Ты же сказал, что нужна помощь, чтобы отрезать один провод.

– Я привяжу его к дереву.

– Я останусь и буду держать.

Он подхватил провод, словно тонкую гадюку, из ее левой руки. Потом взял другой. Девушка не уходила. Кип ничего не сказал ей, нужно было максимально сосредоточиться – так, как он мог, когда был один. Хана подошла к нему и снова взяла один из проводов, но он даже не заметил этого, погрузившись в себя. Опять прошел мысленно по всем каналам взрывателя, воображая, что сам устанавливал эту мину, пробуя нажимать на все ключевые точки, будто рассматривая рентгенограмму хитрой схемы – и все это под звуки музыки, льющейся из наушников.

Подойдя к девушке, перерезал провод под ее левым кулаком – он упал на землю с таким звуком, словно прокусили что-то зубами. Кип увидел темный отпечаток от складок ее платья на коже вдоль по плечу, у нежной шеи. Мина была мертвой. Бросил кусачки на землю и положил руку Хане на плечо, ибо нужно было почувствовать нечто живое. Она что-то говорила (губы шевелились), но он не слышал, тогда девушка потянулась вперед и сняла с него наушники. И нахлынула тишина. Легкий ветерок. Шелест листвы. Он понял, что щелчок от срезанного провода не был слышен, только почувствовался, словно хруст маленькой косточки кролика. Провел ладонью вдоль и вниз по ее руке и вытащил пятнадцать сантиметров проволоки, которые все еще были зажаты в кулаке.

Она лукаво смотрела на него, ожидая ответа на то, что сказала, но он не слышал. Хана тряхнула головой и села. Он начал собирать свои принадлежности, которые валялись на земле, и складывать в мешок. Она посмотрела вверх на дерево, а потом, когда случайно взглянула вниз и увидела его руки, трясущиеся, напряженные и тяжелые, как у эпилептика, услышала глубокое и частое дыхание, поняла, что за испытание досталось нынче этому парню.

– Ты слышал, что я сказала?

– Нет. А что?

– Я думала, что умру. Я хотела умереть. И подумала: если суждено умереть, хочу умереть вместе с тобой. С таким, как ты, –

молодым. За последний год я видела столько смертей, что уже не было страшно. Конечно, сейчас я не была такой смелой. Подумала про себя: у нас есть эта вилла, эта трава, нам надо бы лечь на нее, обнявшись перед смертью. Я хотела дотронуться до твоей ключицы, которая похожа на жесткое крыло под кожей. Хотела прикоснуться к ней пальцами. Мне всегда нравилась смуглая кожа, цветом похожая на реки или горы, или на карие глаза Сюзанны – знаешь такой цветок? Когда-нибудь видел? Кип, я устала и хочу спать. Хочу уснуть под этим деревом, положив голову тебе на плечо, прислонившись к твоей ключице – просто закрыть глаза и не думать ни о ком; хочу забраться на дерево, устроиться в укромном местечке и уснуть. Какой ты умный, Кип! Догадался, какой провод надо перерезать! Как это удалось? Ты все повторял: я не знаю, я не знаю, а ведь догадался. Да? Не дергайся, ты должен быть моей постелью: дай свернуться вокруг тебя, будто ты – мой добрый дедушка; мне нравится это слово «свернуться», такое спокойное слово, оно не спешит…

Он лежал с ней под деревом, почти не шевелясь, глядя вверх на ветку. Девушка прислонилась ртом к его рубашке. Он слышал ее глубокое дыхание. Когда он обнял ее за плечи, она уже почти спала, но ухватилась за его руку. Посмотрев вниз, Кип заметил у нее в руке обрывок провода – должно быть, опять подобрала его.

Ее дыхание было живым, а тело – таким легким, словно она должна была получить всю тяжесть от него. Сколько он сможет так лежать – неподвижно, не имея возможности заняться делом? Но нужно оставаться неподвижным – как тогда, когда он спал у подножия статуй, в те месяцы, когда союзники продвигались по побережью, отвоевывая каждый город-крепость, и все они стали для солдат одинаковыми; везде похожие узкие улочки, которые превратились в сточные канавы для крови, так что он думал: если поскользнется и упадет, его подхватит этим красным потоком и понесет по склону на скалу, а потом – в долину… Каждый вечер он входил в отвоеванную церковь и выбирал статую, которая на эту ночь становилась его ангелом-хранителем. Доверял теперь только этой семье из камней, придвигаясь к ним в темноте как можно ближе, к статуе скорбящего ангела, бедро которого было выточено в совершенстве женских форм и казалось таким мягким. Он клал голову на колени одному из таких созданий и засыпал, забывая о тревогах и страданиях.

Вдруг она пошевелилась и сильнее навалилась на него. Дыхание стало глубже, словно звук виолончели. Он наблюдал за ее спящим лицом. Еще не прошло раздражение из-за того, что девушка осталась, когда он обезвреживал мину, – как будто он был теперь у нее в долгу, и это заставляло чувствовать

ответственность за нее, хотя сейчас все уже прошло. Будто то, что Хана осталась, могло повлиять на успешное обезвреживание мины.

Он смотрел на себя как бы со стороны, словно на одну из картин, которую видел где-то в прошлом году. Этакая беззаботная парочка в поле. Сколько раз встречал таких людей, лениво спящих, не думающих о работе и опасностях, которые могут подстерегать в этом мире. Кип заметил еле заметное движение губ Ханы; брови поднялись, как будто она спорит с кем-то во сне. Он отвел взгляд и посмотрел вверх, на дерево и на небо в белых облаках. Ее рука крепко держалась за него – как глина, которая прилипала на берегу реки Моро, когда он вцеплялся в мокрую грязь, чтобы не свалиться в стремительный водный поток.

Если бы он был героем с картины, было бы основание потребовать время для сна. Но даже она сказала о смуглости его кожи – темной, как горная скала или мутная вода бушующих рек.

Юноша почувствовал, что его задели эти наивные слова Ханы. Успешное разминирование очередной хитроумной бомбы означало новый шаг на пути к разгадке, вооружало саперов методами работы с новыми типами снарядов. Ради таких случаев приглашались мудрые и опытные белые специалисты, которые пожимали друг другу руки, признавали результаты и, прихрамывая, возвращались в свое уединение. А он оставался, потому что был профессионалом. Лавры доставались не ему, потому что он был иностранцем, сикхом. Да они и не были нужны. Единственной мишенью для контактов, человеческих и личных, был враг, который изобрел, сделал, установил эту мину и ушел, заметая следы.

Почему он не может заснуть? Почему не может повернуться к девушке и перестать думать, что весь мир горит в огне? На картине в его воображении поле должно быть объято пламенем. Как-то в 1944 году он наблюдал в бинокль за сапером, входящим в заминированный дом. Увидел, как тот смахнул с края стола коробку спичек и мгновенно превратился в огненный столб – за полсекунды до того, как услышал звук взрыва. Это было словно молния! Как же можно было доверять даже безвредному куску проволоки, обмотанному вокруг руки девушки? Или легким переливам ее дыхания, глубокого, словно камни в реке?

Она проснулась оттого, что гусеница заползла по воротнику платья на щеку. Открыла глаза и увидела его, склонившегося. Не дотрагиваясь до ее лица, он взял гусеницу и положил в траву. Хана заметила, что сапер уже собрал свои вещи. Отодвинулся и сел, прислонившись к дереву, наблюдая, как она медленно перевернулась на спину и потянулась, задерживая этот момент

так долго, как могла. Вероятно, был день. Солнце стояло высоко. Она откинула голову и посмотрела на него.

– Я думала, ты крепко держал меня.

– Я так и делал, пока ты не отодвинулась.

– И сколько ты меня так держал?

– Пока ты не пошевелилась, пока тебе не захотелось пошевелиться.

– Надеюсь, я не воспользовалась ситуацией? – И добавила, заметив, что он смущается: – Шучу. Пойдем в дом?

– Да, пожалуй, я голоден.

Она с трудом встала, покачиваясь от яркого солнца, от слабости в ногах. Хана не помнила, сколько они здесь пробыли. Осталось лишь ощущение того, как легко и хорошо ей было.

Караваджо раздобыл где-то граммофон, и решили устроить вечеринку в комнате английского пациента.

– Я буду учить тебя танцевать, Хана. Не тому, что знает твой молодой приятель. Я видел такие танцы, на которые смотреть не хотелось. Но эта песня, «Как долго это продолжается», – одна из лучших, потому что мелодия вступления прекраснее, чем сама песня. И только великие джазмены понимали это. Мы можем устроить вечеринку на террасе, можем даже пригласить на нее нашу собаку, или лучше вторгнуться в покои англичанина и устроить вечеринку у него в спальне. Твоему юному другу, который в рот не берет спиртного, удалось раздобыть вчера в Сан-Доменико несколько бутылок вина. Не хватало только музыки. Дай мне руку. Нет, подожди. Сначала надо расписать мелом пол и потренироваться. Три основных шага – раз, два, три, – а теперь давай руку… Да что с тобой сегодня?

– Кип обезвредил мину, огромную и очень сложную. Пусть он сам тебе расскажет.

Сапер пожал плечами – не из скромности, а чтобы показать, что это очень трудно объяснить. Быстро стемнело, темнота сковала сначала долину, потом горы, и вскоре пришлось зажечь фонари.

Шаркая ногами, они шли по коридору в комнату английского пациента. Караваджо нес в одной руке граммофон, в другой – его заводную ручку и иглу.

– А сейчас, до того, как вы начнете кормить нас своими историями, – обратился он к неподвижной фигуре на кровати, – я подарю вам «Мою любовь».

– Написанную в 1935 году, кажется, мистером Лоренсом Хартом, если мне не изменяет память, – пробормотал английский пациент.

Кип сидел в нише окна, и она сказала, что хочет танцевать с ним.

– Сначала я поучу тебя, мой дорогой червячок.

Хана в недоумении посмотрела на Караваджо – обычно так ее называл отец. Дэвид неуклюже обхватил ее и, повторив «мой дорогой червячок», начал урок танца.

Она надела чистое, но не глаженое платье. Всякий раз, когда описывали круг в танце, она видела сапера. Он подпевал про себя. Если бы было электричество, он мог бы провести радио и услышать, где сейчас идет война. А пока единственной ниточкой, связывающей с миром, был детекторный приемник Кипа, но он оставил его в своей палатке. Английский пациент пустился обсуждать несчастную судьбу Лоренса Харта. Сказал, что некоторые лучшие его стихи для мюзикла «Манхэттен» были изменены, и процитировал:

Мы поедем в Брайтон
И будем там плавать
И жарить рыбу.
Твой купальник такой тонкий,
Что даже крабы будут усмехаться.

– Прекрасные строчки, в них даже есть эротика. Но, говорят, Ричард Роджерс[48] хотел, чтобы в них было больше достоинства.

– Понимаешь, ты должна чувствовать мои движения.

– А почему не наоборот?

– Я тоже буду, когда ты научишься. А пока только я знаю движения.

– Спорим, Кип тоже знает?

– Может быть, но не афиширует этого.

– Я бы выпил немного вина, – сказал английский пациент, и сапер схватил стакан с водой, выплеснул ее за окно и налил вина.

– Это мой первый глоток вина в этом году.

За окном послышался приглушенный шум. Кип быстро повернулся и выглянул в темноту. Все застыли. Это могла быть мина. Он повернулся и сказал:

– Все в порядке. Это не мина. Это откуда-то с разминированной территории.

– Кип, переставь пластинку. А теперь я представлю вам «Как долго это продолжается», написанную… – Он оставил паузу для английского пациента, который замешкался, тряся головой, усмехаясь с вином во рту.

– Этот алкоголь, наверное, убьет меня.

– Ничто вас не убьет, мой друг. Ведь вы уже превратились в

чистый уголь!

– Караваджо!

– Джордж и Айра Гершвины[49]. Послушайте.

Они с Ханой поплыли под звуки печальной мелодии саксофона. Дэвид был прав. Прелюдия была медленной, затянутой, чувствовалось, что музыкант не хотел покидать маленькую гостиную интродукции и входить в песню; хотелось подольше оставаться там, где рассказ еще не начался, словно он был очарован горничной в прологе. Англичанин пробормотал что-то по поводу того, как назывались такие интродукции. Щекой Хана прислонилась к мускулистому плечу Караваджо. Спиной она чувствовала ужасные обрубки его рук, которые водили по ее чистому платью. Танцующие двигались между кроватью и стеной, кроватью и дверью, кроватью и оконной нишей, где сидел Кип. Время от времени, когда они разворачиваются, можно видеть его лицо. То он сидит, забравшись в нишу с коленями, положив на них руки. То выглядывает в темноту окна.

– А кто-нибудь знает такой танец – «Объятие Босфора»? – спросил англичанин.

– Нет, не слышали.

Кип следил за тенями, которые скользили по потолку, по разрисованной стене. Он спрыгнул с окна и подошел к англичанину, чтобы наполнить его стакан, дотронувшись бутылкой до края, словно чокнувшись с ним. Западный ветер ворвался в комнату, и сапер вдруг сердито повернулся. Он почувствовал слабый запах кордита[50], еле ощутимый в ночном воздухе, и выскользнул из комнаты, жестами показывая усталость, оставляя Хану в объятиях Караваджо.

Кип бежал по темному коридору. Быстро собрав мешок, выскочил из дома, перемахнул тридцать шесть ступенек от часовни и устремился дальше, отгоняя мысль об усталости.

Кто взорвался – сапер или кто-то из мирных жителей? Он ощущал запах цветов и трав вдоль дороги. Несчастный случай или чья-то ошибка? Саперы обычно держались вместе. Все считали их немного странными; как людей, которые работают, например, с драгоценностями и камнями, их отличали жесткость и ясность мысли, их решения пугали даже тех, кто был занят тем же. Кип узнавал это качество в ювелирах-огранщиках, но никогда – в себе, хотя знал, что другие видели это в нем. Саперы никогда не сближались друг с другом. Когда они общались, дальше информации о новых приборах и приемах противника разговоры не заходили. Вот сейчас он вбежит в городской зал, где были расквартированы саперы, и, охватив взглядом три лица, поймет, что нет четвертого. Или их будет четверо, а где-нибудь в поле –

тело старика либо девушки.

Когда его взяли в армию, то заставили изучать диаграммы и схемы, которые становились все более и более сложными, как огромные узлы музыкальной партитуры. Кип вдруг обнаружил у себя способность трехмерного видения, когда охватывал предмет или страницу информации пристальным взглядом – и сразу замечал все фальшивые «нотки». По натуре он был консервативен, но мог также представить самое худшее, возможность несчастного случая в любой комнате – сливу на столе и ребенка, который подходит и съедает ядовитую косточку; или мужчину, который идет в спальню, чтобы лечь в постель с женой, и смахивает себе под ноги керосиновую лампу с консоли. Каждая комната была полна такой «хореографией». Цепкий взгляд видел спрятанную под поверхностью линию, представлял, как может быть завязан проволочный узел, скрытый от глаз. Его раздражали детективы, потому что он слишком легко вычислял злодеев. Ему нравились мужчины, которые были не такие, как все, например, его наставник лорд Суффолк или английский пациент.

Кип все еще не доверял книгам. Как-то Хана видела его сидящим возле английского пациента, и ей показалось, что это ожил Ким Киплинга. Только молодой ученик был теперь индийцем, а мудрый старый учитель – англичанином. Но именно Хана оставалась по ночам со старым учителем, который вел ее по горам к священной реке. Они даже вместе читали эту книгу; голос Ханы замолкал, когда врывался ветер и задувал пламя свечи, и страницу не было видно.

«Он сел на корточки в углу шумной комнаты ожидания, и все посторонние мысли покинули его. Руки его были сложены на коленях, а зрачки сузились и стали не больше булавочного острия. Он чувствовал, что через минуту… через полсекунды… решит сложнейшую загадку…»[51].

Ей кажется, что именно в такие ночи, когда она читала, а он слушал, они и подготовились к появлению молодого солдата – мальчика, который вырос и присоединился к ним. Но тем мальчиком в романе была Хана. А если Кип и участвовал в той истории, то был полковником Крейтоном.

Книга, карта соединений, крышка взрывателя, четыре человека в комнате на заброшенной вилле, освещенной только пламенем свечи, вспышками молний и – время от времени – заревами от взрывов. Горы, холмы и Флоренция, ослепшая без электричества. Пламя свечи едва ли дает что-нибудь различить уже на расстоянии пятидесяти метров. А дальше – полная темнота. Сегодня вечером в комнате английского пациента

каждый отмечал свое событие: Хана – свой сон, Караваджо – удачную «находку», граммофон, а Кип – успешное разминирование, хотя сам уже и забыл об этом. Он всегда чувствовал себя неуютно на праздниках.

За пределами пятидесяти метров их уже нет в этом мире. Из долины их не видно и не слышно, не видны скользящие по стене тени, когда Хана танцует с Караваджо, Кип сидит в нише окна, а английский пациент прихлебывает вино, чувствуя, как алкоголь быстро проникает в каждую клеточку неподвижного тела, опьяняя его. И он начинает издавать разные звуки: то свистит, как лиса пустыни, то переливается, будто древесный дрозд, которого, как он говорит, можно встретить только в Эссексе, потому что эта птица размножается лишь там, где есть лаванда и древесные черви. Все желания обгоревшего летчика были у него в голове – так думал Кип, сидя в оконной нише. Затем быстро повернул голову, сразу поняв, что это за звук, не сомневаясь в этом. Он посмотрел на них и, впервые в жизни солгав: «Все в порядке. Это не мина. Это откуда-то с разминированной территории», – ждал, пока не почувствует запах кордита.

Сейчас, через несколько часов, Кип снова сидит в алькове окна. Если бы он смог сейчас встать, пройти пять-шесть метров и дотронуться до нее, был бы спасен. В комнате полутемно, горит только свеча на столе, за которым сидит Хана. Сегодня она не читает. «Наверное, потому, – подумал он, – что немного опьянела от вина».

Когда он вернулся с места взрыва мины, Караваджо спал в библиотеке на диване в обнимку с собакой. Постоял у открытой двери. Собака наблюдала, слегка пошевелившись, достаточно для того, чтобы показать, что не спит и охраняет место. Он услышал ее тихое рычание, вплетающееся в мощный храп Караваджо.

Он снял ботинки, связал шнурками и, перебросив через плечо, зашагал вверх по ступенькам. Из коридора увидел, что в комнате английского пациента все еще горит свет.

На столе пламенела свеча. Хана сидела на стуле, облокотившись о стол, откинув голову. Опустив на пол ботинки, он тихо вошел в комнату, в которой три часа назад звучала музыка. В воздухе стоял запах алкоголя. Она приложила палец к губам и показала на пациента. Возможно, тот все равно не услышал бы тихих шагов. Кип снова занял свое место в нише окна. Если бы он мог пройти через комнату и дотронуться до нее, то был бы спасен. Но между ними лежал опасный и трудный путь. Целый мир. Англичанин просыпался при малейшем звуке: во время сна слуховой аппарат был настроен на максимум – для уверенности в безопасности. Глаза девушки метнулись по

комнате, потом остановились, когда она увидела Кипа в прямоугольнике окна.

Он был на месте взрыва и видел, что осталось от его напарника, Харди. Это взорвался Харди, и они его похоронили. А потом Кип вдруг вспомнил, как Хана держала провода, испугался за нее, потом рассердился за то, что она не ушла, когда он приказывал. Она обращалась со своей жизнью так небрежно.

Хана пристально смотрела на него. Он наклонился вперед и потерся щекой о ремень на плече.

Возвращался через деревню под дождем, падающим на подстриженные деревья на площади, за которыми не ухаживали во время войны, шел мимо странной статуи, изображающей двух всадников, обменивающихся рукопожатием. И вот он здесь, смотрит на лицо девушки в освещении колеблющегося пламени и не знает, что выражает ее взгляд: мудрость, печаль или любопытство.

Если бы она читала или склонилась над английским пациентом, он бы, наверное, просто кивнул и вышел. Но вдруг он впервые увидел, что она молода и одинока. Сегодня вечером, глядя на воронку от мины, погубившей Харди, он испытал страх за Хану, вспомнив то, что случилось днем. Надо быть более настойчивым, иначе она примется ходить с ним на каждое разминирование, и он станет беременным ею. А это было не нужно: когда он работал, его наполняли музыка и ясность – весь остальной мир переставал существовать. Но она уже сидела в нем… или у него на плече – так же, как он видел однажды: сержант нес живого козла из туннеля, который они пытались пройти.

Нет.

Все это неправда. Он хотел дотронуться до плеча Ханы, хотел положить туда ладонь – как днем, когда она спала, а он лежал, словно под прицелом чьего-то автомата, чувствуя себя неловко. Ему не нужен был покой, но он хотел окружить им девушку, увести из этой комнаты. Он отказывался верить в собственную слабость, а с любовью не нашел сил бороться и не решался сделать первый шаг. Никто не хотел признаться первым.

Хана сидела прямо и смотрела на него. Пламя свечи колебалось и изменяло выражение лица. Он не знал, что она видит только его силуэт, что его стройное тело и кожа сейчас – лишь часть темноты.

Раньше, когда он поспешно ушел из комнаты, она чуть не взбесилась, зная, что он защищал их, как детей, от мин. Теснее прижалась к Караваджо, словно в отместку за обиду и оскорбление. А сейчас, в радостном возбуждении после

вечеринки, она не могла читать. Караваджо ушел спать, предварительно порыскав в ее медицинской коробке, а когда она наклонилась над английским пациентом, тот поднял в воздух свой костлявый палец и поцеловал ее в щеку.

Хана задула все свечи, оставив один маленький огарок на прикроватном столике, глядя на спокойное тело английского пациента, который после выпитого спиртного разошелся и бормотал бессвязные речи.

Когда-то буду я конем
Или чудовищем безглавым.
А может, кабаном, собакой,
А может, стану я огнем.

Она слышала, как со свечи капал воск на металлический поднос. Знала, что сапер ушел на место взрыва, и то, что он ничего не сказал, все еще злило ее.

Она не могла читать. Сидела в комнате со своим неумолимо умирающим пациентом, болезненно ощущая спину, которой ударилась об стену во время танца с Караваджо.

А сейчас, если он подойдет, она не будет возражать и не скажет ни слова. Пусть сам догадается, сделает первый шаг. К ней и раньше подходили солдаты.

Но вот что он делает. Пересекает комнату и запускает руку в походный мешок, который все еще висит за плечом. Тихо подходит к кровати пациента, останавливается и, достав из мешка кусачки, обрезает проводок слухового аппарата. Затем поворачивается к ней, усмехаясь.

– Я все исправлю утром.

И кладет левую руку ей на плечо.

– Дэвид Караваджо – нелепое имя для вас, конечно.

– По крайней мере, оно у меня есть.

– Да, вы правы.

Караваджо сидит на стуле Ханы. В лучах дневного солнца, которые пронизывают комнату, плавают пылинки. Темное худое лицо англичанина с орлиным носом похоже на ястреба, замотанного в простыни. «Ястреб в гробу», – думает Караваджо.

Англичанин поворачивается к нему.

– У Караваджо есть картина, которую он написал в поздний период жизни, – «Давид с головой Голиафа». На ней изображен молодой воин, который держит в вытянутой руке голову Голиафа, старую и страшную. Но не только поэтому картина навевает грустные мысли. Было доказано, что лицо Давида – это портрет

самого Караваджо в молодости, а голова Голиафа – это его же портрет, но уже в зрелом возрасте, когда он писал картину. Молодость вершит суд над старостью, которую держит в вытянутой руке. Суд над собственной бренностью. Мне кажется, что, когда я увидел Кипа около своей кровати, подумал: вот он – мой Давид.

Караваджо молчит, его мысли плывут вместе с пылинками в солнечных лучах. Война лишила душевного равновесия, и таким он не может вернуться в другой мир, постоянно накачиваясь морфием. Он уже немолод, но так и не скучает по семейному счастью. Всю жизнь он старался избегать постоянных привязанностей. До этой войны был скорее влюбленным, чем мужем. Он был из тех, кто ускользает, словно любовник, оставляя за собой хаос чувств; словно вор, покидающий опустошенный дом.

Он наблюдает за пациентом, ибо должен узнать, кто этот англичанин из пустыни – и раскрыть его ради безопасности Ханы. Или создать для него кожу наподобие дубильной кислоты, которая маскирует обгоревшую плоть человека.

В начале войны, во время работы в Каире, его научили изобретать двойных агентов или призраков, имеющих телесную оболочку. Ему был поручен мифический агент по кличке «Сыр», и Дэвид проводил недели, обряжая его в факты, обучая таким качествам характера, как алчность и слабость к выпивке, благодаря которым агент будет давать противнику информацию – конечно, ложную. Так же, как и некоторые другие в Каире, Караваджо работал над созданием целых отрядов в пустыне. Он был там как раз в то время, когда ложь и только ложь можно было предложить людям, которые его окружали. Чувствовал себя, словно человек в темной комнате, которому приходится кричать кукушкой.

Но здесь наступила пора сбрасывать кожу: надо было не притворяться, а быть такими, как есть. Не оставалось никакой защиты, кроме поиска правды в других.

Она вытаскивает из полки в библиотеке книгу «Ким» и, опираясь на рояль, начинает писать на форзаце в конце.

«Он говорит, что это грозное оружие – пушка Зам-Зама – все еще находится перед Лахорским музеем. Там было две пушки, отлитые из металлической кухонной утвари, которую собрали из домов жителей Хинду в качестве подати. Все это расплавили и отлили пушки. Их использовали во многих сражениях в восемнадцатом и девятнадцатом веках против сикхов. Во время сражения при переходе через реку Чинаб одна пушка пропала…»

Она закрывает книгу, встает на стул и прячет ее на высокой,

почти невидимой полке.

Затем входит в комнату английского пациента с новой книгой и громко объявляет название.

– Сегодня мы не будем читать, Хана.

Девушка смотрит на него. «Даже сейчас, – думает она, – у него красивые глаза. Все можно прочесть в этом пристальном взгляде». Она чувствует, как пульсируют сигналы из его глаз, затем исчезают, словно потух огонь маяка.

– Сегодня мы не будем читать. Дайте мне Геродота.

Она подает толстую запачканную книгу.

– Я видел издания «Историй» с тисненым портретом на обложке, изображающим скульптуру, которую нашли в одном из французских музеев. Но никогда не представлял себе Геродота таким, скорее – в виде одного из свободных людей пустыни, которые путешествуют от оазиса к оазису, торгуя легендами, принимая все без подозрений, соединяя миражи. «Моя история, – пишет Геродот, – с самого начала нашла дополнение к основному аргументу». Что интересно, так это его рассказы о тупиках на поворотах истории: как люди предают друг друга во имя спасения нации, как влюбляются… Сколько, вы говорили, вам лет?

– Двадцать.

– Я был значительно старше, когда влюбился.

Хана молчит и после паузы спрашивает:

– Кто она?

Но он уже далеко.

– Птицы предпочитают садиться на голые ветки, – сказал Караваджо. – В этом случае у них прекрасный обзор, и они могут лететь в любом направлении.

– Если ты имеешь в виду меня, – сказала Хана, – то я не птица. А вот кто птица – так это пациент наверху.

Кип пытается представить ее птицей.

– Скажи мне, можно ли полюбить человека, который не такой сильный, как ты? – Караваджо, воинственно настроенный после инъекции морфия, вызывает ее на спор. – Во время моих любовных похождений, которые, должен признаться вашей честной компании, начались довольно поздно, это волновало меня больше всего. Только после женитьбы я понял, что можно возбуждаться от беседы. Я никогда не думал, что слова могут быть эротичными. Иногда мне действительно больше нравится говорить, чем трахаться. В предложениях что-то есть. Немножко одного, немножко другого, а потом опять… Единственная проблема со словами в том, что можешь припереть сам себя к стенке, а когда трахаешься, такого не бывает.

– Это говорит мужчина, – пробормотала Хана.

– Ну, со мной такого точно не случалось, – продолжал Караваджо. – Может, с тобой такое бывало, Кип, когда спустился с гор в Бомбей, а потом приехал для военной учебы в Англию? Интересно, кто-нибудь припирал себя к стенке траханьем? Сколько тебе лет, Кип?

– Двадцать шесть.

– Старше, чем я.

– Старше Ханы. Мог бы ты влюбиться в нее, если бы она не была сильнее тебя? Я хочу сказать: она может и не быть сильнее. Но важно ли для тебя знать, что она сильнее, чтобы влюбиться? Смотри. Она одержима англичанином, потому что он знает больше. Когда мы разговариваем с этим парнем, кажется, что находимся в огромном поле. И даже не знаем, англичанин ли он. Может, и нет. Видишь ли, я думаю, что легче влюбиться в него, чем в тебя. Почему? Потому что мы хотим знать, как все происходит, из чего складывается. Тот, кто умеет говорить, умеет обольщать. Слова заводят в тупик. Больше всего мы хотим расти и меняться. Дерзкий новый мир.

– Я так не думаю, – сказала Хана.

– И я тоже. Но скажу, что думает об этом человек моего возраста. Проблема среднего возраста в том, что окружающие думают, будто ты уже полностью сформировался. Вот так!

Караваджо поднял руки напоказ Хане и Кипу. Она встала, подошла к нему сзади и обняла за шею.

– Не делай этого. Хорошо, Дэвид? – Она мягко взяла его руки в свои. – У нас уже есть наверху один безумный любитель поговорить.

– Да ты посмотри на нас – мы сидим здесь, как вонючие богачи в своих вонючих виллах на этих вонючих холмах, когда в городе становится слишком жарко. Сейчас девять утра – наш старый приятель наверху еще спит. Хана одержима им. Я одержим здоровьем Ханы, своим «душевным равновесием», а Кип, того и гляди, подорвется на мине. Зачем? Ради чего? Ему всего двадцать шесть. В британской армии ему привили определенные навыки, американцы продолжают развивать их, создается команда саперов, им читают лекции, их снаряжают и отправляют сюда, в роскошные холмы. Тебя просто использовали, старина, как говорят в Уэльсе. Лично я больше здесь не останусь. С меня хватит. Хочу отвезти тебя домой. К черту этот город!

– Не говори так, Караваджо. С Кипом ничего не случится.

– А как же тот сапер, который вчера подорвался на мине? Как его звали?

Сапер не ответил.

– Как его звали?

– Сэм Харди. – Кип подошел к окну и повернулся спиной, показывая, что не хочет говорить об этом.

– Беда в том, что мы там, где нас не ждали. Что мы делаем в Африке, в Италии? А что Кип делает здесь, очищая от мин роскошные сады? Скажи мне, ради бога! Какое ему дело до войн, в которые ввязывается Англия? Фермер на так называемом западном фронте не может подрезать дерево, не сломав пилу. А почему? Да потому, что в стволе полно шрапнели, которая осталась там еще с *прошлой* войны. Даже деревья разбухают от болезней, которые мы принесли. В армии тебе промывают мозги, внушая свою идею; затем оставляют тебя здесь, а сами идут дальше, неся беду, эти меднолобые вояки, у каждого из которых всего одна извилина, да и та чаще всего – след от фуражки с золотым шитьем… Нам всем пора отсюда сматываться.

– Но мы же не можем оставить англичанина.

– Англичанин уже давно не с нами, Хана. Он с бедуинами в пустыне или в своем английском саду с флоксами и прочим дерьмом. Возможно, он даже не помнит ту женщину, вокруг которой все время крутится, о которой пытается что-то рассказать. Он даже не знает, где сейчас находится, черт побери.

Ты думаешь, я рассердился на тебя, потому что ты влюбилась, да? Такой ревнивый дядюшка. А я боюсь за тебя. И хочу убить англичанина, ибо это единственное, что может спасти тебя, вытащить отсюда. Он и мне начинает нравиться, вот какой опасный человек. Покинь свой пост. Как Кип может любить тебя, если ты недостаточно сильна, чтобы заставить его перестать рисковать жизнью?

– Потому что. Потому что он верит в цивилизованный мир. Он цивилизованный человек.

– Первая ошибка. Правильнее было бы сесть в поезд, уехать отсюда и нарожать кучу детей. А может, нам пойти и спросить у англичанина, у нашего ястреба, что он думает по этому поводу?

Почему тебе не хватает силы? Только богатые могут позволить себе не быть сильными. Им приходится идти на компромисс. Они уже давно зажаты в тисках своих привилегий. Вынуждены защищать свое имущество. Никто так не скромен, как богатые. Уж поверьте! Но они должны соблюдать правила дерьмового цивилизованного мира. Объявляют войну, потому что у них есть репутация, и они не могут ею пренебречь. А вы двое? Нет, мы трое? Мы свободны, и нам ничего не мешает. Сколько саперов умирают? А ты почему еще живой? Запомни: удача – дама капризная.

Хана наливает молоко в свою чашку. Потом льет белую

жидкость на темные пальцы Кипа, на запястье и выше, до локтя, потом вдруг останавливается. Кип сидит не двигаясь.

К западу от дома находится длинный узкий сад, расположенный на двух уровнях: традиционная терраса, а выше – более заросшие тенистые аллеи, в которых каменные ступеньки и бетонные статуи почти незаметны под зеленой плесенью. Сапер поставил палатку именно здесь. Льет дождь, из долины поднимается туман, и капли падают с ветвей кипарисов и елей на этот кусочек сада на склоне холма, наполовину очищенный от мин.

Только костры могут осушить постоянно сырой и затененный верхний сад. Хана собирает в кучу остатки досок и балок, разодранных артобстрелами и бомбежками, ветки, сорняки, вырванные во время прополки, скошенную траву и крапиву и тащит сюда; вечером, в сумерках, они с Кипом сжигают все это. Костры сначала дымят, дым от горящих растений стелется по кустам, поднимается вверх к деревьям, затем рассеивается на террасе перед домом. Через открытое окно до пациента доходят эти запахи, он слышит доносящиеся ветром голоса, время от времени смех из дымного сада. Старается по запаху определить, что горит в кострах. Кажется, розмарин, молочай, полынь, что-то еще есть там, без запаха, возможно – дикая фиалка или ложный подсолнух, который должен расти на кислых почвах этой местности.

Английский пациент дает Хане советы, что выращивать. «Пусть ваш итальянский друг достанет семена, он, кажется, крупный специалист по этой части. Что вам нужно, так это сливовые деревья. А еще красная гвоздика. Если нужны латинские названия для вашего друга – это „Силене виргиника“. Красный чабрец тоже не помешает. Если хотите, чтобы в саду пели зяблики, посадите орешник и вишни».

Она все аккуратно записывает, потом кладет ручку в ящик маленького столика, где хранит книгу, которую читает ему, а также две свечи и спички. В этой комнате она не держит медикаменты, прячет в других местах, ибо знает, что рано или поздно Караваджо опять примется искать морфий, и не хочет, чтобы он беспокоил англичанина. Кладет листок со списком растений в карман платья, чтобы отдать потом Караваджо. Теперь, когда в ней проснулось физическое влечение, девушка чувствовала себя неловко в компании трех мужчин.

Если только причина в физическом влечении. Если это имеет отношение к любви Кипа. Ей нравится лежать, зарывшись лицом в его плечо, в эту темно-коричневую реку, и просыпаться

погруженной в нее, чувствуя кожей невидимую пульсирующую жилку, в которую ей придется вливать физиологический раствор, если он будет умирать.

В два или три часа ночи, когда англичанин уже засыпает, она идет через сад к палатке сапера, на свет фонаря «молния», который висит на руке статуи святого Христофора. Идет в кромешной тьме, но ей знаком каждый кустик на пути, место последнего костра, который еще тлеет красными углями. Иногда Хана берет в руки стеклянную воронку и задувает фонарь, иногда оставляет его горящим и, наклонив голову, ныряет через откинутый борт палатки внутрь, чтобы прильнуть к нему, ласкать и ухаживать за ним, как за раненым. А вместо тампона будет ее язык, вместо иглы – ее зубы, вместо маски для наркоза – ее рот, который заставит его постоянно работающий мозг расслабиться и забыться в томной неге. Девушка расстегивает платье и кладет его на теннисные туфли. Она знает, что для него мир, горящий вокруг них, состоит из нескольких решающих правил, которые необходимо соблюдать при разминировании, что именно этим по-прежнему занят его мозг – когда она уже засыпает рядом, целомудренная, как сестра.

Их окружают палатка и темный лес.

Они только на шаг переступили границу утешения, которое она давала раненым во временных госпиталях в Кортоне или Монтерчи. Ее тело – как последнее тепло; ее шепот – как утешение; ее игла – чтобы усыпить. Но сапер не допускает в свое тело ничего из другого мира. Влюбленный мальчик, который не станет есть из ее рук; он не нуждается в обезболивающих уколах, в отличие от Караваджо, который только этим и живет, или в чудодейственных мазях, которыми бедуины лечили англичанина. Только для спокойного сна.

Он украшает свое жилище. Листья, которые она подарила, огарок свечи, а в палатке – детекторный приемник и вещевой мешок, в котором хранятся приборы. Он вышел из сражений со спокойствием, которое, пусть и кажущееся, означало порядок. Он всегда остается требовательным к себе: взяв на мушку автомата ястреба, парящего над долиной; обезвреживая мину и не сводя с нее глаз; даже когда вытаскивает термос, откручивает крышку и пьет из нее.

Она думает, что все остальное для него – второстепенно, его глаза останавливаются лишь на том, что представляет опасность, его ухо настроено только на радиоволну, где передают события из Хельсинки или Берлина. Даже когда он занимается с ней любовью и ее левая рука держит его выше браслета-«кара», где напряжены мышцы, Хана чувствует себя невидимкой в этом отсутствующем

взгляде – пока из его груди не вырвется стон и голова обессиленно не упадет ей на грудь. Все второстепенно, кроме того, что представляет опасность. Хана научила его не молчать в минуты наслаждения, она хотела слышать, расслабился ли он, ибо лишь по звукам можно было понять, что он чувствует.

Трудно сказать, насколько она влюблена в него или он в нее. Или насколько это должно держаться в тайне. Чем дальше заходила их связь, тем усерднее они старались этого не показывать. Хане нравилось, что Кип оставляет ей свободу и территорию, на которую, как он считал, каждый имеет право. Это давало им силу для соблюдения внешней отстраненности, когда он проходил под ее окном, не говоря ни слова, отправляясь в деревню, чтобы встретиться с другими саперами. Или когда передавал ей тарелку в руки. А она клала новый зеленый лист на его загорелое запястье. Или когда они ремонтировали разрушенную стену вместе с Караваджо. Сапер напевает свои излюбленные американские песни, которые Караваджо тоже нравятся, но дядюшка Дэйв предпочитает не подавать вида.

«Пенсильвания-шесть-пять-о-о-о», – выдыхает молодой солдат.

Хана изучает все оттенки его смуглой кожи. Цвет руки выше локтя, цвет шеи, ладоней, щеки, кожи под тюрбаном. Темную смуглость пальцев, разделяющих красные и черные проводки или берущих хлеб из алюминиевой солдатской миски, которой он все еще пользуется. Вот он встает. Такая самоуверенность кажется грубоватой, но для него, несомненно, это верх вежливости.

Но больше всего ей нравится смотреть на его влажную шею, когда юноша умывается. Хана представляет его грудь в капельках пота, когда она хватается за нее, а он нависает над ней во время минут любви, его сильные, крепкие руки в темноте палатки. Она помнит цвет его тела, когда однажды они были в ее комнате, и свет из города, вздохнувшего после отмены комендантского часа, осветил их.

Позже она поймет, что он никогда не допускал для себя возможности принадлежать ей, а для нее – ему. Она встретила это слово в романе, запомнила и занесла в свой словарь. «Принадлежать – быть обязанным, быть в долгу». А он, бесспорно, никогда бы этого не допустил. И если она проходила двести метров темного сада, чтобы попасть в палатку, это был ее выбор, она этого хотела. И он мог спать – не потому, что не хочет ее, а потому, что необходимо хорошо выспаться, чтобы утром иметь свежую голову и быть готовым распутать новые ловушки.

Он считает ее удивительной. Просыпается и видит ее в струях света лампы. Больше всего ему нравится решительное выражение ее лица. А по вечерам хочется слушать ее голос, когда девушка пытается убедить Караваджо в его очередном безрассудстве. Ему нравится, как она медленно двигается вдоль его тела.

Они разговаривают. Легкая монотонность голоса смешивается с запахом палатки, с которой он не расставался в течение всей итальянской кампании, как будто она стала частью его тела, крылом цвета хаки, которым положено укрываться. Это его мир. В такие ночи Хана чувствует, как не хватает Канады. Он спрашивает, почему она не может заснуть. Ее раздражает его самоуверенность, способность быстро отключаться от окружающего мира. А ей нужно, чтобы дождь стучал по жестяной крыше и два тополя шелестели листвой под окном… ей нужен шум, под который она всегда засыпала. Деревья и крыши, которые убаюкивали ее на восточной окраине Торонто, а потом – на берегу реки Скутаматта, куда они переехали вместе с Патриком и Кларой, а позже – над водами Джорджиан-Бей. Странно: в этом огромном саду она не нашла ни одного дерева, которое могло бы успокоить.

– Поцелуй меня. Я так люблю твои губы. Твои зубы.

Позже, когда он повернулся к открытому входу в палатку, она громко шепчет, но только сама слышит этот шепот: «Надо спросить Караваджо. Как-то отец сказал мне, что Караваджо всегда в кого-то влюблен. Не просто влюблен, а умирает от любви. Постоянно не в себе. Постоянно счастлив. Кип! Ты слышишь меня? Я так счастлива с тобой. Я хочу всегда быть с тобой».

Больше всего ей хотелось бы плыть с ним по реке. В плавании нужно было соблюдать определенные правила, почти как в огромном зале на балу. Но он по-другому воспринимал реки. Молчаливо входил в Моро, натягивал связку канатов, привязанных к раскладному мосту; скрепленные болтами стальные панели скользили за ним в воду, словно живое существо, небо озарялось вспышками от взрывов, и кто-то рядом с ним тонул на самой середине реки. И саперы снова ныряли в воду, чтобы подхватить потерянные блоки, ловя и скрепляя их крюками – в холодной грязи и воде, под непрекращающимся огнем.

Ночами они стонали и кричали друг на друга, чтобы не сойти с ума. Одежда разбухала от холодной воды, а мост медленно растягивался над их головами. А через два дня – новая река, новый мост. Почти на каждой реке, которую приходилось

форсировать, был разрушен мост, как будто ее название было вытерто, как будто на небе не было звезд, а в домах – дверей. Подразделения саперов входили в реку, обвязавшись веревками, тянули тросы на плечах, закручивали гаечными ключами промасленные болты, чтобы меньше скрежетал металл, а потом по этим собранным мостам маршировали войска, проезжала техника, а саперы так и стояли внизу, в воде.

Поэтому часто артобстрел или бомбежка заставали на середине реки. Взрывы освещали берега, заросшие тиной, раздирали на части сталь и железо, выбрасывали осколки на камни. И ничто не могло защитить их – река была похожа на тонкий шелк, вспарываемый металлом.

Он все это пережил. И знал, как быстро заснуть – в отличие от нее, у которой были свои реки воспоминаний.

Да, Караваджо сможет объяснить ей, как утонуть в любви. Даже – в осторожной любви.

– Кип, я хочу показать тебе реку Скутаматта, – сказала Хана. – И озеро Дымное. Женщина, которую любил мой отец, живет на озерах и плавает на каноэ лучше, чем водит машину. Мне не хватает грома, который вырубает электричество. Я хочу познакомить тебя с Кларой, королевой каноэ – последней, кто остался в нашей семье. Мой отец пожертвовал ею ради войны.

Хана без колебаний, не останавливаясь, идет ночью к его палатке. Она хорошо знает дорогу. Деревья просеивают сквозь листву лунный свет – и она будто попадает в лучи круглого зеркального шара в танцевальном зале. Влезает в палатку, прикладывает ухо к его груди и слушает, как бьется его сердце – подобно тому, как сапер слушает тиканье часового механизма в мине. Все спят, кроме нее.

IV. Южный Каир, 1930—1938

В течение сотен лет после Геродота западный мир почти не проявлял интереса к пустыне. Это длилось до начала двадцатого века. С 425 года до Рождества Христова все европейцы отводили от нее взгляд. Полное молчание. Девятнадцатое столетие стало веком искателей рек. А затем, в 1920-х годах, пришел запоздалый, но, казалось, радостный постскриптум истории этого потаенного уголка земной суши. Исследователи-энтузиасты организовывали экспедиции на личные средства, а затем представляли результаты в Королевское географическое общество в Лондоне, в Кенсингтон-Гор[52]. Это были усталые люди, опаленные солнцем пустыни, которые, словно моряки Конрада[53], чувствовали себя не в своей тарелке в городских такси и не понимали плоского юмора водителей автобусов.

Направляясь на очередное заседание членов Географического общества из пригородов в Найтсбридж[54], они часто теряются в поездах, не могут найти билет, мысленно путешествуя по старым картам, ни при каких обстоятельствах не расстаются со своими рюкзаками, где хранятся записи, собиравшиеся долго и мучительно. Эти романтики неизведанных земель, принадлежащие к разным странам и национальностям, едут в Лондон в шесть часов вечера, когда «все нормальные люди» разъезжаются по домам. Но это как раз то время, когда можно уединиться. Прибыв в Кенсингтон-Гор и пообедав в «Лайонз-Корнер-Хаус», они входят в здание Географического общества и садятся где-нибудь на галерке в лекционном зале, рядом с огромным каноэ племени маори, еще раз просматривая свои записи. А в восемь часов начинается обсуждение.

Здесь читают лекции раз в две недели. Кто-то выступает, кто-то благодарит. Обычно последний оратор подтверждает или определяет практическую значимость полученных результатов, иногда делает мягкие критические замечания, но без дерзких слов и неуместного пыла. Все признают, что основные докладчики весьма близки к фактам, и даже о самых рискованных предприятиях говорят спокойно.

«Мое путешествие по Ливийской пустыне, от Сокума на Средиземном море до Эль-Обейда в Судане, проходило по одному из сухопутных путей, который представляется интересным с географической точки зрения…»

Людей, которые собрались в зале с дубовыми стенами, никогда не интересует, сколько лет и средств ушло на

подготовку, финансирование и осуществление той или иной экспедиции. На прошлой неделе лектор привел факт исчезновения тридцати человек во льдах Антарктики. О подобных потерях от чрезмерной жары и песчаных бурь сообщалось без особой помпы, довольно сдержанно. Все человеческие факторы и денежные затруднения остаются «за кадром», лежат по другую сторону принятых рамок и не подвергаются обсуждениям, в основном касающимся поверхности Земли, которая «представляется интересной с географической точки зрения».

«Можно ли использовать в этом районе другие впадины, кроме широко обсуждавшейся Вади-Райан, в связи с ирригацией или мелиоративным дренажом дельты Нила?»

«Правда ли, что артезианские скважины в оазисах постепенно исчезают?»

«Где можно искать таинственную Зерзуру?»

«Остались ли еще нетронутые исследованиями „потерянные“ оазисы?»

«Где находятся черепаховые болота, о которых сообщается у Птолемея?»

Джон Белл, директор Института исследований пустыни в Египте, задавал эти вопросы еще в 1927 году. К 1930 году сообщения в газетах стали еще сдержаннее:

«Мне бы хотелось добавить несколько слов по некоторым вопросам, поднятым в интересном обсуждении доисторической географии оазиса Харга…»

К середине тридцатых годов Зерзура была найдена экспедицией графа Ладислава Алмаши[55].

В 1939-м великое десятилетие экспедиций в Ливийской пустыне завершилось, а этот огромный и безмолвный кусок земли стал театром военных действий.

Лежа в беседке из зелени над головой, обгоревший пациент видит сцены из дальнего прошлого. Словно рыцарь в Равенне, мраморное надгробие которого кажется живым, почти прозрачным, он смотрит вдаль, приподнявшись на своем ложе из камня. Видит долгожданный дождь в Африке, жизнь в Каире, тогдашние дни и ночи. Хана сидит у постели и путешествует вместе с ним, словно преданный оруженосец.

В 1930 году мы начали картографировать большую часть плато Гильф-эль-Кебир, не оставляя поиски затерянного оазиса, который назывался Зерзура. Город Акаций.

В нашей группе, состоявшей из европейцев-«пустынников», было несколько человек. Джон Белл, который видел Гильф еще в 1917 году. Кемаль эль Дин. Багнольд, который нашел южный путь к Песчаному Морю. Мэдокс, одержимый исследованиями

пустыни. Его Высочество Васфи Бей. Фотограф Каспариус, геолог доктор Кадар и Берманн. Гильф-эль-Кебир – огромное плато, расстилающееся в Ливийской пустыне, «размером со Швейцарию», как любил говорить Мэдокс, – было нашим сердцем. Плато медленно и плавно снижалось к северу, а его откосы обрывались к востоку и западу. Оно выступало из пустыни в шестистах километрах к западу от Нила.

Древние египтяне, вероятно, считали, что к западу от городов-оазисов ничего нет. Там мир для них кончался, потому что в пустыне не было воды. Но на огромных просторах пустынь вас всегда окружает забытая история. Племена тебу и сенуси бродили когда-то здесь, и у них были колодцы, местонахождение которых хранилось в тайне. Ходили слухи о плодородных землях, раскинувшихся где-то в недрах этой пустыни. Арабские писатели тринадцатого века упоминали о Зерзуре: «Оазис Маленьких Птичек», «Город Акаций». В «Книге о затерянных сокровищах» («Китаб аль-Кануш») Зерзуру называют белым городом, «белым, как голубь».

Посмотрите на карту Ливийской пустыни – и увидите имена этих исследователей. Кемаль эль Дин в 1925 году практически один организовал первую современную большую экспедицию. Багнольд в 1930–1932 годах. Алмаши – Мэдокс – в 1931–1937 годах. Как раз севернее тропика Рака[56].

В периоды между войнами мы были маленькой кучкой неутомимых исследователей, которые составляли карты и совершали все новые и новые вылазки в пустыню. Собирались в Дахле или Куфре[57], как будто это были бары или кафе.

Багнольд называл нас оазисным клубом. Мы не сердились, потому что очень хорошо и давно знали друг друга, свои сильные стороны и слабости. И прощали Багнольду некоторые вольности за то, что он так здорово описал дюны:

«Складки гофрированного песка напоминают волнистую поверхность нёба у собаки».

В этом был весь Багнольд, любознательность которого заставила его засунуть руку в пасть собаки.

1930 год. Первая экспедиция, когда мы двигались из Джагбуба на юг в пустыню, где еще оставались племена зувайя и маджабра. Семь дней до Эль-Таджа. Мэдокс, Берманн и еще четверо. Несколько верблюдов, лошадь и собака. Мы стартовали, напутствуемые старой шуткой: «Песчаная буря в начале путешествия приносит удачу».

За первый день мы прошли на юг около тридцати километров, прежде чем разбили лагерь. Утром, уже в пять, были

на ногах, выбрались из палаток. Было слишком холодно. Мы сели вокруг костра, за спинами стояла темнота, в небе висели последние звезды, до восхода солнца было еще часа два. Мы передавали друг другу стаканы с горячим чаем, спасаясь от холода. Рядом полусонные верблюды вяло жевали финики, прямо с косточками. Мы позавтракали и выпили по три стакана горячего чая.

А через несколько часов неизвестно откуда налетела песчаная буря, нарушив прозрачную чистоту утра. Легкий освежающий ветерок постепенно усиливался. Мы посмотрели под ноги и увидели, что поверхность пустыни меняется. Передайте мне книгу… вот здесь. Вот как прекрасно описал такие бури Гассанейн Бей:

«Кажется, что под землей проложены паровые трубы с тысячами отверстий, сквозь которые вырываются тоненькие струйки дыма. Песок поднимается вверх вихревыми струйками. Ветер усиливается, и дюйм за дюймом вся земля превращается в поток вихрей. Кажется, что вся поверхность пустыни поднимается, подчиняясь какой-то внутренней силе. Крупные камешки больно ударяют о голени, колени, бедра. А мелкие песчинки забивают лицо и волосы. Небо темнеет, почти ничего не видно, вся вселенная в песке».

Нужно было двигаться. В этом – единственное спасение. Если вы останавливались, то превращались в пленников песка, и он засыпал вас, как любой неподвижный предмет. Вы могли исчезнуть навсегда. Такие бури продолжаются иной раз по пять часов. Позже, когда уже были грузовики, мы все равно не останавливались, а продолжали двигаться, даже ничего не видя перед собой. Но хуже всего, если песчаная буря пришла ночью. Однажды севернее Куфры такое случилось. В три часа ночи. Ветер вырвал крюки, к которым были прикреплены палатки, и мы покатились вместе с ними, погружаясь в песок, словно тонущий корабль в воду, тяжелея, задыхаясь, пока нас не спас погонщик верблюдов.

За девять дней экспедиции мы пережили три бури. Заблудились и не смогли найти небольшие поселки, в которых планировали пополнить запасы продуктов. Лошадь исчезла. Три верблюда погибли. В последние два дня не осталось еды – только чай. Последними ниточками, связывающими с миром, были позвякивание закопченного чайника, длинная ложка и стакан, который передавали из рук в руки в утренней темноте. На третий день мы перестали разговаривать друг с другом. Все, что имело тогда значение, – это тепло костра и стакан коричневой жидкости.

По чистой случайности мы наткнулись в пустыне на город Эль-Тадж. Я шел по базару, по улице, где продавали часы, а дальше – барометры, мимо палаток с ружьями, лотков, где продавали итальянский томатный соус и другие консервы из Бенгази[58], миткаль из Египта, украшения из страусовых перьев, зубные врачи предлагали свои услуги, а торговцы – книги. Мы все еще не могли говорить, каждый был погружен в свой мир. И в этот мир, новый для нас, входили медленно, с трудом – словно утопленники, вернувшиеся к жизни. На центральной площади Эль-Таджа мы уселись и ели баранину, рис, пироги «бадави», пили молоко со взбитым миндалем. Все это после однообразных церемоний долгого ожидания трех стаканов чая, приправленного мятой.

Как-то в 1931 году я путешествовал с караваном бедуинов, и мне сказали, что в пустыне есть еще один исследователь. Им оказался Фенелон-Барнес, который составлял каталог окаменевших деревьев. Я нашел лагерь, но его самого там не было – ушел в однодневную экспедицию. Я вошел в его палатку и осмотрелся: связки карт, семейные фотографии, которые он всегда возил с собой, и прочее. Уже выходя, заметил вверху зеркало, прикрепленное гвоздиками к стене из шкур, в котором отражалась постель. Там, под одеялами, кто-то лежал, может, собака. Я откинул одеяло и увидел маленькую арабскую девочку, которая спала там связанная.

К 1932 году Багнольд закончил свои экспедиции, а Мэдокс и другие были разбросаны по всей пустыне. Кто искал пропавшую армию Камбиза[59], кто – Зерзуру. 1932, 1933 и 1934 годы. Мы не видели друг друга месяцами. Только бедуины и мы в окрестностях Дороги Сорока Дней. Я видел многие племена пустыни. Это самые красивые люди, которых когда-либо встречал. Им было безразлично, какой мы национальности – немцы или англичане, венгры или африканцы. Вскоре и нам это стало безразлично. Сделалось ненавистно самое понятие нации. Постоянное осознание, ощущение своей и чужой национальной принадлежности разрушает человека. Мэдокс погиб только из-за этого.

Пустыню нельзя затребовать либо завладеть ею – она словно кусок ткани, уносимый ветрами; его нельзя прижать и удержать камнями, ему давали сотни названий еще задолго до того, как построили Кентербери[60], задолго до того, как войны и перемирия прошли по всей Европе и Востоку. Эти караваны, эти странные разобщенные ритуалы и культуры не оставили после себя ничего, даже тлеющего уголька от костра. Каждому из нас,

даже тем, у кого в Европе были семьи и дети, хотелось сбросить с себя оболочку национальности, словно ненужное обмундирование. Это было святое место. Мы растворялись в нем. Только огонь и песок. Мы покидали гавани оазисов. Те места, куда приходила вода… Айн… Вир… Вади… Фоггара… Хоттара… Шадуф… Какие прекрасные названия, не идущие ни в какое сравнение с собственным именем. Стереть имена! Стереть национальности! Это был дух пустыни, этому она учила нас.

Но все же были и такие, кто хотел оставить свой след и увековечить имя. В пересохшем русле реки. Или на этом холме, покрытом крупной песчаной галькой. Мелкие всплески тщеславия на этом куске земли, к северо-западу от Судана, южнее Киренаики. Фенелон-Барнес, например, пожелал, чтобы открытые им ископаемые деревья носили его имя. И даже хотел назвать своим именем одно из племен: целый год вел переговоры. Но его обскакал Баухан, имя которого было присвоено определенному виду барханов. Меня же не покидало желание стереть, стереть свое имя и нацию, к которой принадлежу. К тому времени, как началась война, я провел в пустыне уже десять лет, и не представляло никакого труда проскальзывать через границы, не принадлежать никому, никакой нации.

1933-й или 1934-й? Забыл, какой это был год. Мэдокс, Каспариус, Берманн, я, два водителя-суданца и повар. Мы путешествуем уже в грузовиках марки «Форд-А» с деревянными кузовами и впервые используем большущие шины с малым давлением на почву. Машины хорошо идут по песку, но мы рискуем, ибо не знаем, как они поведут себя на камнях и острых скалах.

Выезжаем из Харги[61] 22 марта. Мы с Берманном вычислили, что именно там, где встречаются три высохших русла рек, о которых писал Вильямсон еще в 1838 году, и находится Зерзура.

На юго-западе от Гильф-эль-Кебира поднимаются три отдельных гранитных массива: Джебель-Аркану, Джебель-Увейнат и Джебель-Киссу[62]. Они находятся километрах в двадцати пяти друг от друга. В некоторых ущельях есть вода, хотя в колодцах Джебель-Аркану она горькая, и пить ее можно только в случае острой необходимости. Вильямсон писал, что Зерзура находится там, где пересекаются русла трех рек, но не называл конкретного места, и это считалось выдумкой. Хотя даже один оазис с дождевой водой на этих возвышенностях, напоминающих формой кратер вулкана, мог бы дать разгадку того, как Камбиз и его армия смогли пересечь такую пустыню, а отряды из племени сенуси – совершать набеги во время Великой войны; как могучие чернокожие люди с юга бродили здесь, когда у них не было

запасов воды и еды… Пустыня – мир, где цивилизация существовала столетиями, где сплетались и разбегались тысячи тропинок и дорог.

В Абу-Балласе находим кувшины в форме классических греческих амфор. Геродот говорит о таких кувшинах.

В крепости Эль-Джоф мы с Берманном разговариваем со странным стариком, похожим на змею. Сидим в каменном зале, где когда-то была библиотека великого шейха сенуси. Старик принадлежит к племени тебу, он – проводник караванов и говорит по-арабски с акцентом. Позже Берманн скажет, цитируя Геродота: «Подобно зловещему крику летучих мышей». Мы беседовали с ним целый день и ночь, но он ничего не выдал. Вероучение сенуси, их главная доктрина предписывает ни в коем случае не раскрывать секреты пустыни пришельцам.

В Вади-эль-Мелик на глаза попадаются птицы неизвестного вида.

Пятого мая я забираюсь на скалу и достигаю плато Увейнат с другой стороны, новым маршрутом. Оказываюсь в широкой долине на месте бывшей реки, где растут акации.

Были времена, когда картографы предпочитали называть открытые ими места не своими именами, а именами возлюбленных. Вот встречаешь в пустыне караван и купающуюся девушку, которая прикрывается тонкой тканью из муслина… Какой-то древний арабский поэт увидел эту девушку, ее плечи, похожие на два голубиных крыла, – и назвал оазис ее именем. Льется вода, она заворачивается в прозрачную ткань, а старый поэт наблюдает и, черпая вдохновение в этом зрелище, описывает город Зерзуру.

Так человек в пустыне может попасть в историю, словно в случайно обнаруженный колодец, и в его затененной прохладе бороться с соблазном никогда не покидать это укрытие. Самым большим желанием было остаться здесь, среди акаций. Я шел по земле, о которой нельзя было сказать, что здесь не ступала нога человека, скорее наоборот; шел по земле, где за многие столетия перебывало столько людей, эти деревья видели столько событий: армии четырнадцатого века, караваны тебу, набеги сенуси в 1915 году. А между событиями ничего не было. Когда долго не случалось дождей, акации увядали, русла рек пересыхали… пока вода снова не появлялась здесь через пятьдесят или сто лет. Спорадические приходы и исчезновения, как легенды и слухи в истории.

В пустыне вода, как сокровище: ты несешь ее, как имя возлюбленной, в ладонях, подносишь к губам… и пьешь пустоту. Женщина в Каире выскальзывает из кровати и перегибается через

окно, подставляя дождю обнаженное белое тело…

Хана наклоняется вперед, чувствуя, что он начинает бредить, молча наблюдая за ним. Кто она, эта женщина?

Край земли не там, где обозначены точки на картах, за которые борются колонисты, расширяя сферы влияния. С одной стороны – слуги, и рабы, и периоды власти, и переписка с Географическим обществом. С другой – белый человек впервые переходит через великую реку, впервые видит гору, которая стояла здесь веками.

Когда мы молоды, то не смотрим в зеркало. Это приходит с возрастом, когда уже есть имя и своя история, интерес к тому, что твоя жизнь значит для будущего, что ты оставишь «городу и миру». Мы становимся тщеславными со своими именами и претензиями на право считаться первыми, иметь самую сильную армию, быть самым умным торговцем. Когда Нарцисс состарился, потребовал изваять свой портрет из камня.

И было интересно, что мы могли значить в прошлом. Мы плыли в прошлое. Были молоды. Знали, что власть и деньги – преходящи. Мы засыпали с книгой Геродота.

«Потому что города, которые были великими раньше, сейчас стали маленькими, а те, которые числятся великими в мое время, были маленькими еще раньше… Счастье человека никогда не ждет на одном месте».

В 1936 году молодой человек по имени Джеффри Клифтон встретил в Оксфорде друга, который рассказал, чем мы занимаемся. Он связался со мной, на следующий день женился и через две недели прилетел с женой в Каир.

Дело в том, что нам приходилось путешествовать на большие расстояния, поэтому требовался самолет. А Клифтон был богат, умел летать, и главное – у него был собственный самолет. Модель «Мотылек». Спортивная.

Так эта пара вошла в наш мир, где нас было четверо: принц Кемаль эль Дин, Белл, Алмаши и Мэдокс. Мы были еще во власти завораживающего названия Гильф-эль-Кебир. Где-то там, на Гильфе, скрывалась Зерзура, появившаяся в старых арабских хрониках еще в тринадцатом столетии.

Клифтон встретил нас в Эль-Джофе, к северу от Увейната. Сидел в своем двухместном самолете, а мы шли навстречу из базового лагеря. Он встал в кабине и налил себе из фляжки. Рядом сидела его жена.

– Я назову это место «Сельский клуб Вир Мессаха», – объявил Клифтон.

Я наблюдал за дружелюбной неуверенностью, которая сквозила в лице его жены, за гривой ее волос, когда она стянула с

головы кожаный шлем.

Они были молоды и едва ли не годились нам в дети. Вылезли из самолета и поздоровались.

Это был 1936 год, начало нашей истории…

Они спрыгнули с крыла «Мотылька». Клифтон подошел, протягивая флягу, и мы по очереди хлебнули теплого коньяку. Он был из тех, кто любит церемонии. Самолет назывался «Медвежонок Руперт». Не думаю, чтобы ему так уж нравилась пустыня, но он испытывал благоговение перед нашей сплоченной группой, членом которой тоже хотел стать – как разбитной студент-выпускник испытывает благоговейный трепет в торжественной тишине библиотек. Мы не ожидали, что он прибудет с женой, но, как мне кажется, отреагировали на это достаточно вежливо. Она стояла поодаль, и песок оседал в гриве волос.

Как воспринимала нас эта молодая пара? У каждого к тому времени уже было имя в истории исследований пустыни. Мы написали немало трудов о строении дюн и барханов, об исчезновении и новом появлении оазисов, о затерянной культуре пустынь. Казалось, нас интересовало только то, что не покупалось и не продавалось, и это вряд ли было понятно во внешнем мире. Мы говорили о географических широтах или о событии, которое произошло семьсот лет назад. Нас занимали теоремы исследований. Крайне любопытной считалась информация о том, что Абд-эль-Мелик-Ибрагим-эль-Зувайя, живший в оазисе Зук и разводивший верблюдов, был первым человеком среди этих племен, который знал понятие «фотография».

Клифтоны переживали последние дни медового месяца. Они остались в лагере, а я отправился с проводником в Куфру, где провел много времени, пытаясь проверить свои теории, которые пока держал в секрете. Через трое суток я вернулся в базовый лагерь в Эль-Джоф.

Мы сидели у костра. Клифтоны, Мэдокс, Белл и я. Если немного отклониться назад, пропадаешь в темноте. Кэтрин Клифтон начала декламировать, и моя голова будто выкатилась из круга света, создаваемого пламенем.

Черты ее лица были классическими. Родители девушки, несомненно, принадлежали к числу влиятельных и известных «законной» истории людей. Мне не нравилась поэзия, пока я не услышал, как Кэтрин читает стихи. Здесь, в пустыне, она решила вспомнить университетские годы и поведать о них, описывая звезды, – так Адам нежно обучал свою единственную женщину, применяя изящные сравнения.

…Нет, не зря
Глубокой ночью тысячи светил,
Никем не созерцаемые,
Льют сиянье дружное. Не полагай,
Что, если б вовсе не было людей,
Никто бы не дивился небесам,
Не восхвалял бы Господа. Равно —
Мы спим ли, бодрствуем, – во всем, везде
Созданий бестелесных мириады,
Незримые для нас; они дела
Господни созерцают и Ему
И днем и ночью воздают хвалы.
Нередко эхо из глубин дубрав,
С холмов отзывчивых доносит к нам
Торжественные звуки голосов
Небесных, воспевающих Творца, —
Отдельных или слитых в дивный хор,
И оглашающих поочередно
Полночный воздух!..[63]

В ту ночь я влюбился в голос. Только в голос. Ничего не хотел слышать, кроме него. Встал и отошел.

Я представлял ее ивой. Какой была бы она зимой, в моем возрасте? Я смотрел на нее – всегда! – глазами Адама. Видел, как она неловко вылезала из самолета, как наклонялась к огню, чтобы подбросить ветку, как пила из фляги, отставив локоть в мою сторону.

Через несколько месяцев мы вальсировали на одной из вечеринок в Каире. Хотя Кэтрин немного выпила, ее лицо оставалось неприступным. Даже сейчас мне кажется, что именно такое лицо раскрывало ее сущность – то, которое было тогда, когда мы чуть-чуть опьянели, но еще не стали любовниками.

Все эти годы я пытался разобраться, что она хотела сказать этим взглядом. Сначала казалось, будто это презрение. Теперь я думаю – она изучала меня. Она была неопытна, и во мне ее что-то удивляло. Я же вел себя так, как обычно в барах; не учел, что компания другая. Забыл, что она моложе меня.

Девушка просто изучала меня. А я следил за ее застывшим взглядом, словно пытался уловить момент, когда она выдаст себя.

Дайте мне карту, и я построю город. Дайте карандаш, и нарисую комнату в Южном Каире, карты пустынь на стене. С нами всегда была пустыня. Я просыпался, поднимал глаза и видел

карту старинных поселений вдоль средиземноморского побережья – Газала, Тобрук, Мерса-Матрух, а к югу нарисованные карандашом пересохшие русла рек – *вади* – и окружающие их желтые тени, в которые мы вторгались, пытаясь затеряться.

«Моя задача состоит в том, чтобы кратко описать несколько экспедиций, предпринятых на плато Гильф-эль-Кебир. Доктор Берманн немного позже пригласит нас в пустыню в таком виде, в каком она существовала тысячи лет назад…»

Так начинал Мэдокс свой доклад в Кенсингтон-Гор. Но в протоколах заседаний Географического общества вы не найдете нарушения правил; там не фиксируются любовные сцены. Наша комната никогда не появится в подробных отчетах, требующих тщательного описания каждого холмика, каждого исторического события.

На улице в Каире, где продаются завезенные из-за границ экзотические живые существа, вас могут неприятно удивить говорящие попугаи. Эти птицы лают и свистят, создавая шум, словно на оживленном проспекте крупного города. Я знал, какие племена привезли их в маленьких клетках-паланкинах, каким шелковым путем или верблюжьей тропой прошли через пустыню.

Мы стояли среди них. Я показывал город, который она не знала. Все было для нее новым.

Кэтрин взяла меня за запястье.

– Если бы я отдала тебе свою жизнь, ты бы не принял ее. Правда?

Я ничего не ответил.

V. Кэтрин

Когда он впервые приснился ей, она застонала и проснулась.

Уставившись на простыню, она сидела с открытым ртом на кровати в супружеской спальне. Муж дотронулся до ее спины.

– Не волнуйся, это всего лишь сон.

– Да.

– Принести тебе воды?

– Да.

Она не может пошевелиться, не может вернуться туда, где только что была с ним.

Все происходило в этой самой комнате – она чувствует, как его рука сжимает ей шею (дотронулась до нее сейчас), чувствует его гнев – так же, как тогда, когда впервые увидела его. Нет, скорее то был не гнев, а безразличие, смешанное с каплей беспокойства от того, что в их мужском обществе появилась она, замужняя женщина. Их тела сплелись в тесный клубок, он так вцепился в ее шею, что она задохнулась от страсти.

Муж принес стакан воды на блюдце, но она так ослабла, что трясутся руки. Он неловко подносит стакан к ее рту, она делает глоток, вода стекает по подбородку на грудь. Откинувшись на подушку, сразу проваливается в глубокий крепкий сон, не вспоминая о том, что ей приснилось.

Это было первое признание. На протяжении следующего дня Кэтрин не раз вспомнила о своем сне, но была настолько занята, что решила не придавать ему значения, выкинула из головы; ночь была душной, и это просто случайная комбинация образов и впечатлений, не больше.

Через год ей снились другие, спокойные, но более опасные сны. Но она вспоминала тот, первый сон и руки, сжимавшие ее шею, – и с замиранием ждала, когда их ровные теплые отношения перейдут в буйную страсть.

Кто оставляет крохи еды, которые соблазняют вас? Притягивают к человеку, о котором никогда не думали раньше. Этот сон. А потом – еще. Целая вереница снов.

Позже он сказал ей, что это – единение душ. «В пустыне всегда происходит единение душ». Ему нравилось это словосочетание – единение душ с водой, единение душ двух или трех человек, трясущихся в машине в течение шести часов на пути к Песчаному Морю. Он видит у коробки передач ее колени с капельками пота, которые дергаются всякий раз, когда автомобиль прыгает на ухабах. В пустыне есть время наблюдать

за всем и поразмыслить о всяком движении вещей.

Когда он говорил так, она еще больше ненавидела его. Глаза оставались вежливыми, а душу распирало желание ударить. Всегда было неукротимое желание ударить его, и она понимала, что оно носило сексуальный характер. Для него же все отношения с людьми выстраивались по шаблону: или единение душ, или чужой. В историях Геродота определялись все группы общества. Он признавал, что достаточно много повидал в этом мире, который, по существу, добровольно оставил несколько лет назад, полностью посвятив себя исследованиям таинственного и едва ли вполовину изведанного мира пустыни.

На аэродроме в Каире они погрузили оборудование в машины, ее муж остался проверить, хватит ли горючего в баках спортивного самолета, прежде чем трое мужчин отправятся в экспедицию следующим утром. Мэдокс уехал в какое-то посольство, чтобы послать телеграмму. А он собирался в город, чтобы, как всегда, напиться в последнюю ночь в оперном казино мадам Бадин, а затем раствориться в улицах за «Паша-отелем». Все вещи он соберет сейчас, до наступления вечера, чтобы завтра утром не суетиться, а сразу взять мешок – и в грузовик.

Он вез ее в город. Воздух был влажным, а движение медленным, потому что в это время на дороге много машин.

– Как жарко. Хочется пива. А вам?

– Нет, у меня еще масса дел, которые займут часа два. Уж извините, что не смогу составить компанию.

– Ничего, – сказала она. – Ни в коем случае не хотела бы нарушать ваши планы.

– Выпьем, когда вернусь.

– Через три недели?

– Да, возможно.

– Как бы мне хотелось поехать с вами.

Он ничего не ответил. Переехали через мост Булак, и движение стало еще хуже. Слишком много повозок и пешеходов, которые завладели улицей. Он срезал путь на юг и поехал вдоль Нила к отелю «Семирамис», где она жила как раз выше казарм.

– На этот раз вы наверняка найдете Зерзуру.

– Да, надеюсь.

Он снова замкнулся в себе. Пока ехали, не удостоил женщину ни единым взглядом, даже когда застряли в дорожной пробке.

Когда они подъехали к цели, он стал обходителен и вежлив. Таким он нравился ей еще меньше: они делали вид, что соблюдают приличия, но чувствовали себя неловко, как собачка, на которую надели одежду. Оба знали, чего им сейчас хочется.

Она разозлилась – да пошел он к черту! Если бы ее законный супруг не был вынужден работать с этим типом, она бы предпочла никогда больше не видеть его.

Он достал ее багаж с заднего сиденья машины и уже собрался перенести сумку в холл.

– Не надо, сама могу отнести.

Он заметил, что ее рубашка взмокла на спине.

Швейцар предложил свою помощь, но он сказал: «Нет, не надо, леди предпочитает нести сама», – и она еще сильнее разозлилась. Швейцар ушел, оставив их одних. Кэтрин повернулась, он протянул сумку, она неловко прижала к себе тяжелую ношу обеими руками.

– До свидания. И удачи вам.

– Спасибо. Не волнуйтесь, я присмотрю за всеми. Они будут в надежных руках.

Она кивнула. Женщина находилась в тени, он же, словно забыв о жаре, стоял под палящими лучами солнца.

Потом он подошел ближе, и на какую-то секунду показалось, что он собирается обнять ее. Протянул правую руку и прикоснулся к ее шее так, что она кожей ощутила длину его предплечья, усеянного мелким бисером пота.

– До свидания.

Он вернулся к грузовику. Она продолжала чувствовать на шее влажность его руки, словно капельки крови от пореза лезвием.

Она обхватывает руками подушку, помещает себе на колени и прикрывается ею, словно щитом.

– Если ты захочешь заниматься со мной любовью, я не смогу лгать. Если я захочу заниматься с тобой любовью, опять же не смогу лгать.

Она придвигает подушку к сердцу, будто хочет закрыть его.

– Что ты больше всего ненавидишь?

– Ложь. А ты?

– Собственничество, – говорит он. – Когда ты уйдешь, забудь меня.

Она отбрасывает подушку и бьет его кулаком по лицу. Удар приходится по скуле, как раз под глазом. Затем одевается и уходит.

Каждый день, вернувшись домой, он смотрит на себя в зеркало. Волнует не столько синяк, сколько собственное лицо, словно он видит его впервые. Длинные брови, которых раньше не замечал, пробивающаяся седина в соломенных волосах. Он давно уже не рассматривал себя в зеркале. Да, действительно, длинные брови.

Он не может жить без нее.

Когда он не в пустыне с Мэдоксом и не в арабских библиотеках с Берманном, они встречаются в парке Гроппи возле залитых водой сливовых деревьев. Здесь она чувствует себя счастливой. Она – дитя зеленых лесов и папоротников, ей явно не хватает воды. А для него это обилие зелени напоминает карнавал.

Из парка Гроппи дугообразным маршрутом они направляются в старый город, Южный Каир, на рынки, куда ходят не многие европейцы. В его комнате все стены увешаны картами. Несмотря на попытки как-то обставить жилище, оно все равно напоминает походный лагерь.

Они лежат в объятиях друг друга, ветерок от вентилятора обдувает тела. Все утро он работал с Берманном в археологическом музее, стараясь соединить арабские тексты и описания европейцев, чтобы найти отголоски, совпадения, изменения названий – от Геродота до «Китаб аль Кануш», где оазис назвали Зерзурой по имени женщины из каравана, купающейся в пустыне. И там было такое же мелькание слабых теней от вентилятора. А здесь они обмениваются воспоминаниями из детства, говорят о шраме, об искусстве поцелуя.

– Я не знаю, что делать. Не знаю! Как я могу любить тебя? Это сведет его с ума.

Она постоянно бьет его.

То идет с тарелкой в руках и вдруг запускает в него, поранив голову; по соломенным волосам льется струйка крови. То вилкой протыкает плечо, оставляя следы, которые врач принимает за укус лисы. Синяк под глазом меняет цвет – от ярко-фиолетового до темно-коричневого.

Прежде чем обнять ее, он смотрит, чтобы рядом не было колющих и режущих предметов. На людях приходится выкручиваться и объяснять, откуда взялся очередной синяк на лице, или почему забинтована голова, или что за рубец на руке. И он старается изо всех сил, говорит, что такси резко затормозило, и он ударился о стекло, или по руке случайно пришелся удар кнута, или придумывает что-нибудь еще. Мэдокс был не на шутку обеспокоен столь внезапно захлестнувшей его полосой невезения. Она же просто усмехалась его неумелым отговоркам. «Может, это от возраста, а может, ему нужны очки», – говорил ее муж, слегка подталкивая Мэдокса локтем. «А может, у него появилась женщина, – ехидничала она. – Посмотрите, разве это не похоже на укус или царапину от ногтей?»

«Это скорпион, – говорил он. – Андроктонус аустралис».

Открытка, на которой аккуратным почерком написано:
«Я не могу прожить и дня, коль не увижу вновь тебя.
Все для меня теряет смысл, коль не увижу вновь тебя.
И это не просто слова.
Это то, что я чувствую всегда».
Ни даты, ни подписи.

Иногда, когда им удается провести вместе целую ночь, они просыпаются от голосов на трех городских минаретах, которые начинают призывать правоверных мусульман к молитве на заре. Он провожает ее домой. По пути из Южного Каира до отеля, где она живет, проходят через рынок, где продают индиго. Мелодичные возгласы муэдзинов[64] стрелами врезаются в воздух, сменяя друг друга; один минарет отвечает другому, как бы обмениваясь репликами в разговорах о двух грешниках, которые холодным утром идут по улицам святого города, напоенным запахами древесного угля и гашиша. Грешники в святом городе.

Он смахивает рукой тарелки и стаканы со стола в ресторане, чтобы Кэтрин, находясь где-нибудь в городе, услышала этот шум, подняла взгляд и поняла, как ему плохо без нее. Ему, который никогда не испытывал одиночества, находясь в глубине пустынь, вдали от людей. Мужчина в пустыне может держать пустоту в сложенных ладонях, зная, что она спасет его вернее, чем вода. Он слышал, что в окрестностях Эль-Таджа есть удивительное растение. Если в его мякоти вырезать углубление в форме сердца, к утру оно заполнится благоухающей влагой, приносящей успокоение и надежды человеку, который ее выпьет, если его сердце разбито. И так можно делать в течение года, а потом растение погибает. От раны, от жажды или по какой-то иной причине?

Он лежит в комнате в окружении пыльных карт. Кэтрин нет с ним. Он так тоскует, что готов плюнуть на все условности и правила приличия.

Его не интересует, как она ведет себя с другими. Он жаждет ее здесь, хочет наслаждаться ее надменной красотой и меняющимся настроением. Мечтает, чтобы они прильнули друг к другу, словно страницы закрытой книги, хочет раствориться в ней, чтобы ничто их не разделяло.

Она вошла в его жизнь, нарушив покой. И если она так поступила с ним, как же он поступил с ней?

Когда они встречаются в обществе и ее отделяет стена, он

собирает вокруг себя слушателей и рассказывает анекдоты, над которыми сам не смеется. Отпускает колкости в историю исследований и экспедиций, что совсем не характерно для него. Он всегда так делает, когда ему плохо. Только Мэдокс понимает это. Но она даже не смотрит в его сторону. Расточает всем милые улыбки: гостям, предметам, цветам, прочему безликому и не имеющему значения антуражу. Она не понимает, думая, будто он делает как раз то, что хочет, – и от этого стена между ними вырастает вдвое.

Но сейчас ему тошно и невыносимо больно ощущать наличие этой стены. А Кэтрин сообщает: «Ты ведь возвел вокруг себя стену, мне тоже нужно защитить себя». Она говорит это, сияя красотой, а у него просто подкашиваются ноги. Такая красивая в этом платье, с бледным лицом, которое он так любит целовать, она смеется и улыбается каждому, а иногда хмурится, если не понимает его злых шуток. А он, распаляясь все больше и больше, продолжает сыпать сатирические замечания в адрес какой-нибудь экспедиции и рассказывать о том, о чем все знают.

С той минуты, когда в холле бара Гроппи она не ответила на приветствие, он становится безумным. Не в силах смириться с тем, что может так просто ее потерять. Он знает, что угроза потери отступит, если они будут вместе, крепко держать друг друга в объятиях – и взаимно беречь от этой боли. Не возводя стен.

Солнечный свет заливает комнату в Южном Каире. Его рука вяло лежит на книге Геродота, а тело напряжено, поэтому он пишет неразборчиво, неуклюже водя пером по бумаге. Он едва может написать слова «солнечный свет». Или слово «влюблен».

В комнате отражается свет от реки и пустыни, падает с потолка и стен на ее шею, ступни, на шрам от прививки на правой руке, который он так любит. Она садится на кровати, обхватив руками колени. Он скользит ладонью по плечу, ощущая капельки пота. «Это мое плечо, – думает он, – не ее мужа, а мое». Любовники дарят тела друг другу – без остатка, каждую частицу, здесь и сейчас. В этой комнате с окном, выходящим на реку.

За те несколько часов, которыми они располагали, солнце село и остался только отсвет заката от реки и от пустыни.

Когда вдруг случается неожиданный редкий дождь, они подходят к окну, вытягивая руки, стараясь дать как можно больше влаги разморенным жарой телам. На улице слышны крики, приветствующие кратковременный ливень.

– Мы никогда больше не будем любить друг друга. Никогда не сможем быть вместе.

– Я знаю, – говорит он.

В тот вечер она так настойчиво повторяла слова о разлуке.

Она сидит, погруженная в себя – словно в броне от этого ужасного открытия, сквозь которую он не может пробиться. Только его тело рядом с ней.

– Никогда больше. Что бы ни случилось.

– Да.

– Это его убьет. Ты понимаешь?

Он ничего не говорит, отказываясь от попытки увлечь ее за собой.

Спустя час они выходят на улицу. Вдалеке слышны песни, которые доносятся из открытых окон кинотеатра «Музыка для всех». Они должны расстаться сейчас, пока не закончился сеанс, чтобы ее не мог увидеть кто-нибудь из знакомых.

Они в ботаническом саду, возле кафедрального собора Всех Святых. Она видит слезинку на его щеке, подается вперед и слизывает ее языком.

Так же, как слизывала кровь с его руки, когда он готовил для нее и порезался. Кровь. Слезы. Он чувствует, как тело опустошается, внутри – лишь безжизненный холодный дым. Все, что осталось, – это знание будущего желания. Все, что следовало бы сказать, он не может сказать этой женщине, которая открыта, как рана, и слишком молода. Он не может предложить альтернативы тому, что больше всего любит в ней, – она не склонна к компромиссам, хотя лирические стихи, которые все так же любит, легко уживаются с реальным миром.

Ее настойчивость этим вечером. Двадцать восьмого сентября. Лунный свет почти высушил капли дождя на деревьях. Ни одна прохладная капля не упадет на его лицо, как слеза. Расставание в парке Гроппи. Он не спрашивает, дома ли ее муж. Дом – вот это освещенное высокое здание через дорогу.

Он видит ветви пальм над собой и их вытянутые листья. Похоже на ее голову и волосы над ним, когда они занимались любовью.

Прощаются без поцелуя. Только объятие. Он отрывается от нее и идет прочь. Потом оборачивается. Она все еще стоит. Он подходит и, подняв указательный палец, говорит:

– Я хочу, чтобы ты знала. Я пока по тебе не скучаю.

И пытается улыбнуться, но это дается с трудом. Его лицо ужасает ее, она резко дергает головой и ударяется виском о столбик ворот. Он видит, как ей больно. Но они уже разделились. Каждый пойдет своей дорогой. Между ними стена, которую она сама хотела возвести. Ее рывок, ее боль – это все случайно. Подносит руку к виску.

– Будешь скучать, – говорит она.

«С этой минуты, – шептала она ему раньше, – наши души или найдут друг друга, или потеряют».

Как это происходит? Любовь обрушивается, или ты падаешь в нее – и, так или иначе, рассыпаешься на кусочки.

Я лежал в ее объятиях. Поднял рукав ее рубашки выше, к плечу, чтобы видеть шрам от прививки. «Я люблю его», – сказал я. Этот бледный ореол на руке. Вижу, как медсестра инструментом царапает и пробивает кожу, вводя сыворотку; вижу, как это случилось много лет назад, когда ей было всего девять лет и она училась в школе.

VI. Тайник в пустыне

Он пристально смотрит вдоль кровати, по длине которой протянулась дорожка из простыни, рядом стоит Хана. Она обмыла его, а сейчас отламывает верхушку ампулы с морфием и поворачивается, чтобы сделать очередной укол. Его кровать – как лодка. Морфий разливается по телу и вызывает воспоминания о событиях и местах, словно географические карты, умещающие целый мир на плоском листе бумаги в двух измерениях.

Долгие вечера в Каире. Ночное небо простирается над головой; ястребов выпускают с наступлением сумерек, и они устремляются навстречу последнему свету пустыни в слаженном полете, будто бросаемые сеятелем зерна.

В 1936 году здесь можно было купить все – от собаки или птицы, которая возвращалась по одному звонкому свистку, до тех ужасных уздечек, которые надевались на мизинец женщины так, что она была привязана к вам на многолюдном рынке.

В северо-восточной части Каира была школа монахов, за ней – базар Хан-эль-Халили.

Мы смотрели из окна на узкие улочки, на котов, которые лениво развалились на крышах из рифленого железа и тоже поглядывали вниз, на улицу и ларьки. Над всем этим была наша комната. Окна с видом на минарет, фелуки, котов, ужасный шум. Она рассказывала о садах детства. Когда Кэтрин не могла заснуть, описывала мне сад матери – в подробностях, каждую клумбу, пруд, в котором водилась рыба и который замерзал в декабре, скрип решеток, увитых розами. Брала мою руку за запястье, там, где сливаются вены, и подносила к впадинке у основания шеи.

Март 1937 года, Увейнат. Мэдокса раздражает разреженный воздух. Всего четыреста метров над уровнем моря, но и эта минимальная высота раздражает его. Для того чтобы посвятить себя пустыне, он оставил родную деревушку Марстон Магна в Сомерсете[65], нарушил традиции и привычки, поэтому имел право на близость к уровню моря – так же, как на постоянную жару пустыни.

– Мэдокс, как называется впадинка у основания женской шеи? Спереди. *Вот здесь*. Есть у нее название? Впадинка размером с подушечку большого пальца?

Мэдокс какое-то мгновение смотрит на меня в ярком свете полудня.

– Веди себя серьезней, – бормочет он.

– Я расскажу тебе одну историю, – говорит Караваджо Хане. –

Жил-был венгр по имени Алмаши, который работал на немцев во время войны. Некоторое время летал в Африканском корпусе, но считался более ценным кадром. В тридцатые годы был одним из самых известных исследователей пустыни – знал каждый колодец и составил карту Песчаного Моря. Он знал о пустыне все, различал диалекты племен, живущих там. Тебе это никого не напоминает? В период между войнами почти все время находился в экспедициях за пределами Каира. Нужно было найти Зерзуру – затерянный оазис. Потом, когда началась эта война, стал работать на немцев. В сорок первом взялся водить тайных агентов через пустыню в Каир. К чему я это говорю? А вот к чему: я думаю, что английский пациент – не англичанин.

– Да нет же, англичанин, иначе – откуда воспоминания о цветочных клумбах в Глостершире?

– Вот именно. Это все – отлично продуманная легенда. А помнишь, когда два дня назад мы обсуждали кличку для собаки? Помнишь?

– Да.

– Что он предложил?

– Он вел себя как-то странно.

– Странно, потому что я дал ему большую дозу морфия. Помнишь, какие имена он называл? Восемь, не так ли? Пять из них были явно шутливыми, а вот три… Цицерон[66]. Зерзура. Далила[67].

– Ну и что из этого?

– А то, что Цицероном звали одного из тайных агентов. Англичане раскрыли его. Двойной, потом тройной агент. Он улизнул. С Зерзурой мне разобраться сложнее.

– Я слышала о Зерзуре. Он рассказывал о ней. А еще говорил что-то насчет садов.

– Но сейчас в основном о пустыне. А легенда с упоминанием английских садов звучит не очень убедительно. Он умирает. Я думаю, у нас наверху тот самый проводник тайных немецких агентов Алмаши.

Они сидят на старых плетеных корзинах для белья, глядя друг на друга. Караваджо пожимает плечами:

– Ей-богу, вполне возможно.

– А я думаю, он англичанин, – говорит она, втягивая щеки, как всегда, когда о чем-то размышляет.

– Я знаю, ты его любишь, но он не англичанин. В начале войны я работал на оси Каир – Триполи[68]. Тайный агент Роммеля[69] Ребекка…

– Что ты имеешь в виду, говоря «тайный агент Ребекка»?

– В сорок втором немцы забросили в Каир тайного агента по

имени Эпплер, еще до битвы при Эль-Аламейне[70]. Он использовал книгу Дафны Дюморье «Ребекка» как шифр при передаче сообщений Роммелю о передвижении войск. И знаешь, книга стала бестселлером среди английских разведчиков. Даже я читал ее.

– Ты читал книгу?

– Спасибо. Человек, который провел Эпплера через пустыню в Каир по личному приказу Роммеля – от Триполи до самого Каира – граф Ладислав Алмаши. Никто, кроме него, не мог знать этого пути. Между двумя войнами у Алмаши завелись друзья среди англичан. Великие исследователи. Но когда разразилась война, он стал работать на немцев. Роммель попросил доставить Эпплера через пустыню в Каир, потому что планер или парашют – это было нереально. Он провел парня через пустыню и расстался с ним в дельте Нила.

– Откуда ты так хорошо знаешь об этом?

– У нас была база в Каире. Мы шли по их следу. Из Джиало он повел в пустыню группу из восьми человек пешим ходом – для начала, а потом они должны были выкопать грузовики из песчаных холмов. Шли к Увейнату и гранитному плато, туда, где была вода, а также пещеры для укрытия. Это примерно середина маршрута. В тридцатые годы он нашел там пещеры с наскальными рисунками. Но плато кишело союзниками, и невозможно было использовать тамошние колодцы. Тогда эти «боши» опять отправились в пески. Совершили налет на британские склады горючего, чтобы заполнить баки. В оазисе Харга переоделись в английскую военную форму и повесили на машины номерные знаки британской армии. Когда их обнаружили с воздуха, сумели скрыться в сухих руслах рек и просидели в этом лабиринте три дня, сгорая от жары в песке.

Понадобилось три недели, чтобы добраться до Каира. Алмаши пожал Эпплеру руку и ушел. Здесь мы его потеряли – просто развернулся и ушел в пустыню один. Мы думали, он снова обнаружит себя в Триполи, но ошиблись. С тех пор его никто не видел. Вскоре англичане взяли Эпплера и использовали код «Ребекки», чтобы снабжать Роммеля дезинформацией накануне Эль-Аламейна.

– Мне все еще не верится в это, Дэвид.

– Человека, который принимал участие в захвате Эпплера в Каире, звали Сэнсом.

– Далила.

– Вот именно.

– Может быть, он – Сэнсом?

– Я тоже сначала так думал. Тот был очень похож на Алмаши.

Тоже фанат пустыни. Провел детство в Леванте[71] и знал бедуинов. Но Алмаши, в отличие от него, умел водить самолет. Мы ведь говорим о человеке, который потерпел авиакатастрофу и, обгоревший до неузнаваемости, попал в руки англичан в Пизе. Ну и что? Он вполне свободно говорит по-английски, чтобы избежать любопытства контрразведчиков. Алмаши ведь учился в школе в Англии. В Каире его называли английским шпионом.

Хана сидела на корзине, посматривая на Караваджо:

– Мне кажется, не надо его мучить. Не имеет теперь значения, на какой он был стороне, разве не так?

Караваджо ответил:

– Мне бы хотелось еще с ним поговорить. Дать еще разок сверхдозу морфия, чтобы он разговорился. Нам обоим это необходимо. Понимаешь? Далила. Зерзура. Ты должна ввести ему усиленную дозу.

– Нет, Дэвид. Ты слишком… одержим. Я считаю, что совсем не важно, кто он. Война ведь уже закончилась.

– Тогда я сам сделаю это. Приготовлю «Бромптонский коктейль». Морфий и алкоголь. Его изобрели в Бромптонской больнице в Лондоне для раковых больных. Не волнуйся, это не смертельно. Он быстро всасывается в организм. Я могу смешать, а ты дашь ему выпить. А потом введешь еще морфий в вену.

Он сидел на корзине, глядя на девушку ясными глазами, с улыбкой на губах. За последнее время Караваджо стал одним из многочисленных специалистов по краже морфия. Прибыв на виллу, сразу вынюхал, где хранятся медикаменты, и сейчас не мыслил себе жизни без маленьких ампул с морфием. Впервые увидев эти ампулы, Хана подумала, что они похожи на маленькие тюбики с зубной пастой для кукол. У Караваджо всегда были две-три в кармане, и он делал сам себе укол за уколом в течение дня. Однажды она наткнулась на него в одном из темных уголков виллы; он согнулся и дрожал от передозировки. Его рвало, он смотрел на Хану и не узнавал. Девушка попыталась заговорить, но он смотрел в пространство. Затем нашел ее металлический стерилизатор. Бог знает, откуда взялась сила, чтобы открыть его.

Однажды, когда сапер порезал ладонь о железные ворота, Караваджо зубами откусил от ампулы стеклянный кончик, высосал морфий и прыснул изо рта на смуглую ладонь еще до того, как Кип догадался, что это. Тот оттолкнул его и сверкнул глазами в ярости.

– Не трогай его, Караваджо. Он мой пациент.

– Да ничего я ему не сделаю. Морфий и алкоголь еще и облегчат боль.

(3 кубических сантиметра «Бромптонского коктейля», 3 часа дня.)

Караваджо вытягивает книгу из обгоревших рук.

– Когда вы потерпели авиакатастрофу в пустыне, откуда вы летели?

– Я вылетел из района плато Гильф-эль-Кебира. Нужно было забрать одного человека оттуда. В конце августа 1942 года.

– Во время войны? Но к тому времени все экспедиции уже покинули этот район.

– Да. Оставались только военные.

– Гильф-эль-Кебир?

– Да.

– Где это находится?

– Дайте мне книгу Киплинга… Вот здесь.

На титульном листе романа «Ким» была карта с точечной линией, обозначающей путь мальчика и святого старца. Можно видеть часть Индии, заштрихованный темными полосками Афганистан и Кашмир в окружении гор.

Он проводит рукой вдоль реки Нуми до того места, где она впадает в море, на широте 23˚30′. Продолжая движение на запад, указательный палец переползает со страницы на грудь и дотрагивается до ребра.

– Вот здесь. Гильф-эль-Кебир, к северу от Тропика Рака[72]. На египетско-ливийской границе.

– Что случилось в 1942 году?

– Я совершил путешествие в Каир и возвращался оттуда. Удавалось незаметно ускользнуть от врагов – по старым картам, находя довоенные запасы горючего и воды. Я ехал по направлению к Увейнату. Одному было намного легче. На расстоянии нескольких километров от Гильф-эль-Кебира под грузовиком что-то взорвалось, и меня выбросило из кабины. Инстинктивно покатился по песку, чтобы сбить искры. В пустыне всегда боятся пожаров.

Грузовик от взрыва опрокинулся… Возможно, это была диверсия. Шпионов вербовали и среди бедуинов, а их караваны продолжали бороздить пустыню, перевозя из города в город не только пряности или специи, но и государственных советников. Во время войны среди бедуинов всегда можно было найти англичан или немцев.

Оставив грузовик, я пошел к Увейнату, где знал место… спрятанного самолета.

– Подождите. Вы хотите сказать, что спрятали там его?

– Когда-то давно у Мэдокса был старый самолет. Хозяин

облегчил его до предела, но основные части оставались на своих местах; единственным «излишеством» был фонарь, закрывающий кабину, что очень важно для полетов над пустыней. В экспедициях он учил меня летать: мы ходили вокруг этого создания из веревок и планок и обсуждали, как оно будет лететь или менять направление на ветру.

Когда прилетел Клифтон на своем почти новеньком «Руперте», старушку Мэдокса закрыли брезентом, закрепили колышками и оставили на приколе в одном из укромных уголков между гранитными отрогами к северо-востоку от Увейната. Постепенно ее занесло песком; никто не думал, что увидит ее снова. Еще одна жертва пустыни. Через несколько месяцев, когда мы пролетали над северо-восточной долиной, не смогли различить даже очертаний. К тому времени у нас уже был самолет Клифтона, на десять лет моложе.

– Итак, вы шли к спрятанному самолету…

– Да. Четверо суток. Я оставил человека в Каире и вернулся в пустыню. Везде шла война. Вдруг все разбились на «группы»: берманны отдельно, багнольды отдельно, Слатин-Паша сам по себе… Раньше они не раз спасали друг друга от смерти, а сейчас разделились на лагеря.

Я шел к Увейнату. Пришел туда в полдень и влез в одну из пещер на плато. Над колодцем под названием Айн-Дуа.

– Караваджо считает, что знает, кто вы, – сказала Хана.

Пациент ничего не ответил.

– Говорит, что вы не англичанин. Он работал на английскую разведку в окрестностях Каира и немного в Италии. Пока его не схватили. Моя семья знала Караваджо еще до войны. Он был вором и верил в «перемещение вещей». Знаете, среди воров бывают коллекционеры, как среди исследователей (которых вы презираете), и среди мужчин, коллекционирующих любовные победы, и среди женщин. Но Караваджо не такой. Он был слишком любознательным и щедрым, чтобы преуспеть в своей профессии. Половина вещей, которые он крал, не доходила до дома. Так вот, он думает, что вы не англичанин.

Она наблюдает, как спокойно он слушает то, что она говорит; кажется, будто не реагирует. Опять где-то путешествует. Так же, как Дюк Эллингтон[73] погружен в свои мысли, когда играет «Одиночество».

Она замолчала.

Он дошел до мелкого колодца под названием Айн-Дуа. Сняв с себя одежду, намочил ее в колодце, потом сам окунулся туда с головой. Четверо суток путешествия по пустыне измучили вконец. Развесив одежду на скалах, он полез дальше, по валунам,

оставляя за спиной пустыню, которая тогда, в 1942 году, была ареной сражений; затем обнаженным вошел в темноту пещеры.

Увидел знакомые наскальные рисунки, которые нашел несколько лет назад. Жирафы. Домашние животные. Мужчина в нарядном головном уборе с поднятыми руками. Несколько фигур, по позам которых можно безошибочно определить пловцов. Берманн был прав, когда утверждал, что на этом месте плескалось древнее озеро.

Прошел дальше в холодную темноту, в Пещеру Пловцов, где оставил ее. Она все еще была там. Отползла в угол, плотно закутавшись в парашютный шелк. Он обещал вернуться. Он тоже предпочел бы умереть в пещере, в уединении, в окружении пловцов, застывших в наскальных рисунках. Берманн как-то говорил, что в азиатских садах можно смотреть на скалу, и будет казаться, что это вода, а если смотришь на неподвижную поверхность озера, то она покажется твердой, словно скала. Кэтрин выросла среди садов, дыша их влажными тенями; для нее были привычными понятия «решетка, увитая зеленью» или «корабельная роща». Страсть к пустыне была временной. Она полюбила ее неприступность из-за него, ибо хотела понять, почему ему так хорошо в уединении среди раскаленных песков. Она всегда любила дождь, ванну в клубах пара, влагу, медленно обволакивающую; нравилось наполовину высунуться из окна в ту ночь в Каире, пропитаться дождем, а потом, не вытираясь, одеться, чтобы все еще чувствовать на себе влагу. Точно так же она любила семейные традиции, учтивые церемонии и классические стихи. Была ненавистна мысль умереть здесь, незаметно. Нить, которая связывала ее с предками, была осязаема, в то время как он стер из памяти и свой путь к настоящему. Мужчина удивлялся, как она могла полюбить его, несмотря на отрицательные качества и полную безымянность.

Она лежала на спине – в позе, типичной для захоронений в Средние века.

Я подошел к ней, обнаженный – как тогда, в нашей комнате в Южном Каире; хотел раздеть ее, хотел любить ее.

Что ужасного в том, что я делал? Разве ты не прощаешь все тем, кого любишь? Прощаешь эгоизм, желание, обман до тех пор, пока ты – причина, мотив, цель… Можешь заниматься любовью с женщиной, у которой сломана рука или у которой лихорадка. Она высасывала кровь из моей раны на руке, а я делал то же, когда у нее была менструация. Есть слова в европейских языках, которые не так-то просто перевести без потерь, например – *фелхомалия*. Оно похоже на могильный сумрак, потому что означает близость между мертвыми и живыми[74].

Я взял ее на руки, нарушив ее сон и тонкий саван из парашютного шелка.

Вынес на солнце. Оделся. Одежда высохла и стала ломкой от жары.

Снова взял ее на руки, сделал сиденье из рук. Когда мы вышли на песок, повернул так, что она смотрела назад, через мое плечо. Женщина была очень легкой. Я помню, как носил ее на руках по комнате, а она оплеталась вокруг меня и была похожа на веер, принявший человеческое обличье: руки в стороны, пальцы раскрыты, как у морской звезды.

Так мы шли к северо-восточной долине, где был спрятан самолет. Я знал дорогу без карты. На спине громоздилась канистра с горючим, которую я взял с собой и нес весь путь от опрокинувшегося грузовика. Потому что три года назад без горючего мы оказались бессильны…

– А что случилось три года назад?

– Она была ранена. В 1939 году. Ее муж погиб при крушении самолета, когда планировал совершить самоубийство, прихватив с собой на тот свет и нас обоих. В то время мы уже не были любовниками. Думаю, слухи о нашей связи каким-то образом дошли до него.

– Она была тяжело ранена, и вы не могли взять ее с собой?

– Да. Единственной возможностью спасения было оставить ее там и пойти за помощью.

В пещере, после месяцев разлуки, одиночества и гнева, они опять были вместе, опять разговаривали на языке любви, отметая границы, которые сами воздвигли, повинуясь законам общества, в которые не верили.

Тогда в ботаническом саду она ударилась виском о столбик ворот в порыве решительности и ярости. Была слишком горда, чтобы стать тайной любовницей. В ее мире не предусматривалось места для лжи. Он повернулся и покачал пальцем:

– Я еще не скучаю по тебе.

– Будешь.

За время разлуки он ожесточился и стал независимым. Избегал ее общества. Не выносил ее спокойного вида. Звонил, разговаривал по телефону с ее мужем и слышал в трубке ее отдаленный смех. В ней было то особое очарование, которое привлекало многих. За это тоже он ее любил. Но теперь уже ничему не доверял.

Заподозрил, что появился другой любовник. Каждый ее жест казался обещанием. Однажды в холле она схватила Раунделла за лацканы пиджака и потрясла его, смеясь, а тот пробормотал что-

то в ответ. Он следил в течение двух дней, чтобы убедиться, что между ними ничего нет. Больше не верил в ее последние ласки и нежности. Допускал только два варианта: или она с ним, или нет. Она была не с ним. Если передавала бокал, он не принимал его. Если за обедом показывала на вазу, в которой плавала лилия из Нила, демонстративно отворачивался. У нее появились новые хорошие друзья, в круг которых не входили ни ее муж, ни он. И он мог это объяснить: если женщина расстается с любовником, она почти никогда не бывает снова близка с мужем.

Он купил тонкую папиросную бумагу и вклеил несколько страниц в «Истории» – туда, где были описания войн, которые совсем не интересовали. Записал все аргументы, которые она могла иметь против него, пытаясь быть объективным, посмотреть со стороны, увидеть себя ее глазами.

В конце августа, как раз перед войной, отправился в последний раз на плато Гильф-эль-Кебир, чтобы свернуть базовый лагерь. Ее муж должен был забрать его. Мужчина, которого любили оба – до того, как полюбили друг друга.

Клифтон прилетел в Увейнат вовремя, точно в назначенный день. Шум самолета нарушил покой затерянного оазиса. Он летел так низко, что воздушной волной срывало листья с акаций. «Мотылек» скользил над впадинами и выемками местности, а он стоял на вершине огромного камня, обозначенного синим брезентом. Затем самолет устремился к земле и упал, врезавшись носом в песок метрах в пятидесяти от камня. Из-под шасси выбивалась голубая полоска дыма. Огня не было.

Видно, ее муж обезумел. Решил покончить сразу со всем треугольником. Убить себя. Убить ее. Убить его – либо подмяв (если удастся) обломками самолета, либо оставив навсегда в пустыне.

Но она не умерла. Он вытащил ее из самолета, из его мертвой хватки, из последних объятий законного супруга.

– Почему ты так ненавидел меня? – шепчет она в Пещере Пловцов, превозмогая боль от ранений. У нее сломано запястье, раздроблены ребра. – Ты вел себя безобразно. Как раз тогда Джеффри и начал подозревать тебя. До сих пор ненавижу это в тебе – уходить от реальной жизни в пустыню или бары.

– Ты же оставила меня в парке Гроппи.

– Потому что ты не хотел меня.

– Потому что ты сказала, что это убьет твоего мужа. Так и случилось.

– Сначала ты убил меня, убил во мне все. Поцелуй меня,

пожалуйста. Хватит защищаться. Поцелуй меня и назови по имени.

Их тела встретились, вместе с их запахами, в безумном желании забраться под тонкую оболочку плоти языком или зубами – как будто можно было ухватиться за характер и выдернуть его из души партнера раз и навсегда.

Сейчас ее руки не посыпаны тальком, а бедра не смочены розовой водой.

– Ты думаешь, ты борец с предрассудками, но это не так. Просто отступаешь от того, чего не можешь иметь, или находишь замену. Если что-то не удается, отворачиваешься и переключаешься на другое занятие. Ты неисправим. Сколько женщин у тебя было? Я ушла, ибо поняла, что не смогу тебя изменить. Иногда ты стоял в комнате – такой тихий, спокойный – и молчал, как будто самым большим предательством по отношению к себе было приоткрыть еще один лучик, еще один уголочек характера.

Мы разговаривали в Пещере Пловцов. Были на расстоянии всего двух градусов широты от Куфры, которая могла дать безопасность.

Он замолкает и протягивает руку. Караваджо кладет в темную ладонь таблетку морфия, и она исчезает во рту пациента.

Я пересек пересохшее озеро и пошел к оазису Куфра, сгорая днем от жары, а ночью замерзая от холода. Геродота оставил с ней, в пещере. А через три года, в сорок втором, нес ее тело на руках, словно доспехи рыцаря, к спрятанному самолету.

В пустыне средства к выживанию сокрыты под землей – пещеры троглодитов, вода, которая прячется в растении, оружие, самолет. На долготе 25, широте 23 я начал копать, разгребая брезент, и постепенно из песка появился самолет Мэдокса. Это происходило ночью, но даже в холоде я покрывался потом. Взял керосиновый фонарь, поднес к ней и присел рядом. Двое любовников в пустыне – под звездным или лунным светом, уже не помню. Где-то далеко была война.

Самолет постепенно вырастал из песка. Не было еды, и я обессилел. Брезент оказался таким тяжелым, что я не мог его выкопать и просто разрезал.

Утром, поспав часа два, я взял ее на руки и посадил в кабину. Завел мотор, и тот огласил пустыню рокотом. Мы тронулись, затем заскользили в небо. С опозданием в три года.

Он молчит. Глаза смотрят в одну точку – и видят самолет.

Медленно, с усилием машина отрывается от земли, мотор пропускает обороты, как иголка стежки. После стольких дней молчания трудно терпеть этот шум. Из ее блузки вылезла ветка акации. Сухая веточка. Сухие косточки. Он смотрит вниз и видит, что горючее намочило колени. Как высоко он над землей? Как низко в небе?

Шасси едва не задевает верхушку пальмы, пилот направляет самолет вверх, горючее разливается по сиденью, ее тело соскальзывает. Искра от короткого замыкания попадает на ветку на ее колене, и та загорается. Он перетаскивает любимую обратно на сиденье рядом с собой. Потом толкает обеими руками фонарь кабины, но тот никак не поддается. Начинает бить его, наконец разбивает, горючее и огонь расплываются вокруг. Как низко он в небе? Она съеживается – прутики акации, листья, ветви, которые когда-то были руками, обвивавшими его. Она медленно исчезает. Он чувствует на языке вкус морфия. В темных озерах его глаз отражается Караваджо. Он болтается вверх и вниз, как ведро в колодце. Чувствует, что лицо в крови. Он летит на прогнившем от старости самолете, брезентовая обшивка крыльев распарывается на ветру. Они – мертвецы. Как далеко была та пальма? И как давно это было? Он пытается вытащить ноги из разлитого огня, но они тяжелые. Никак не может вылезти. Он вдруг состарился. Устал жить без нее. Не может забыться в ее объятиях и доверить охранять его сон. Никого не осталось. Он измучен не пустыней, а одиночеством. Уже нет Мэдокса. Женщина, которую он любил, превратилась в листья и ветви, а сквозь разбитое стекло фонаря в кабину заглядывает зияющая пасть неба пустыни.

Он проскальзывает в ремни пропитанного бензином парашюта и вываливается вниз, но ветер резко швыряет его тело назад. Потом ноги чувствуют удивительную свободу, и он висит в воздухе – яркий, как ангел; пока не понимая, что горит.

Хана слышит голоса в комнате английского пациента и останавливается в коридоре, прислушиваясь.

– Ну как?

– Отлично!

– А теперь я попробую.

– А, великолепно!

– Это самое чудесное из изобретений.

– Отличная находка, молодой человек.

Войдя, она видит, что английский пациент и Кип передают друг другу банку сгущенки. Англичанин подносит банку ко рту и высасывает густую жидкость. Его лицо сияет, а сапер кажется

раздраженным, когда сгущенка не у него. Кип, взглянув на Хану, наклоняется над постелью, щелкая пальцами пару раз, забирая наконец банку из обгоревших рук.

– Мы обнаружили еще одну черту, которая нас сближает. Мы, оказывается, оба любим сгущенку. Я всегда брал ее с собой в путешествиях по Египту, он – по Индии.

– Вы когда-нибудь пробовали бутерброды со сгущенкой? – спрашивает сапер. Хана переводит взгляд с одного на другого. Кип заглядывает внутрь банки.

– Я принесу еще одну, – говорит он и исчезает.

Хана смотрит на пациента.

– Мы с Кипом, как незаконнорожденные: родились в одной стране, а местом жительства выбрали другую. Всю жизнь пытаемся либо вернуться обратно, либо навсегда уехать из своей страны. Хотя Кип этого сейчас не понимает. Вот поэтому мы так хорошо ладим.

В кухне сапер пробивает пару дырок в свежей банке со сгущенкой своим ножом, который, как ему кажется, будет теперь использоваться только в мирных целях, и бежит по лестнице в комнату англичанина.

– Вы, наверное, выросли не в Англии, а где-то еще, – говорит он. – Англичане так не пьют сгущенку.

– Вы забываете, молодой человек, что я провел несколько лет в пустыне. И всему научился там. Все, что было важного в жизни, произошло там, в пустыне.

Он улыбается Хане.

– Один кормит меня морфием, другой – сгущенкой. Мы можем разработать сбалансированную диету! – Поворачивается к Кипу. – Как долго вы занимаетесь разминированием?

– Пять лет. Сначала обучались в Лондоне, затем наше саперное подразделение обезвреживало неразорвавшиеся бомбы. Потом я оказался в Италии.

– А кто вас обучал?

– Один англичанин в Вулвиче. Его считали странным.

– Такие учителя – самые лучшие. Это не лорд ли Суффолк? Кстати, а мисс Морден там тоже была?

– Да.

Они разговаривают между собой, забыв, что Хана тоже здесь. Но ей хочется услышать что-нибудь об учителе. Как он опишет его?

– Кип, а какой он был?

– Он занимался научными исследованиями. Был руководителем экспериментального подразделения. С ним всегда были мисс Морден, его секретарша, и мистер Фред Хартс, шофер.

Мисс Морден записывала все, что он говорил, когда обезвреживал бомбу, а мистер Хартс подавал нужные инструменты. Он был великолепным человеком. Их называли святой троицей: они никогда не расставались, так и погибли вместе. В тысяча девятьсот сорок первом году. В Эрите.

Она смотрит на сапера, который стоит, прислонившись к стене, одной ногой подпирая ее. На лице не отражаются ни печаль, ни какие-либо иные чувства.

Ей это хорошо знакомо. Раненые умирали у нее на руках. Она помнит, как в Анжиари поднимала еще живых солдат, которые были изъедены червями. В Кортоне давала последнюю сигарету молодому парнишке, у которого оторвало руки. И нельзя было расслабляться. Она продолжала делать свое дело, а чувства спрятала глубоко. Очень легко сойти с ума, став служанками войны, одетыми в желто-кремовые халаты с костяными пуговицами.

Она смотрит на Кипа, упершегося затылком в стену, и понимает, почему его лицо ничего не выражает. Ей это хорошо знакомо.

VII. На своем месте Уэстбери, Англия, 1940

Кирпал Сингх[75] стоял на том месте, где на настоящей лошади должно лежать седло. Сначала просто встал на спину этой «лошади», затем помахал тем, кого не видел, но знал, что они наблюдают за ним. Лорд Суффолк смотрел в бинокль и увидел, как молодой человек приветственно поднял руки.

Затем спустился вниз, в середину силуэта огромной лошади, врезанного в склон одного из белых известковых холмов Уэстбери. Теперь сикх был просто темной фигуркой, на меловом фоне издали заметить разницу между цветом его смуглой кожи и хаки военной формы невозможно. Если же подрегулировать резкость в бинокле, лорд Суффолк мог увидеть на плече Сингха малиновую нашивку, что означало его принадлежность к саперному батальону. Отсюда наблюдателям казалось, будто он меряет большими шагами карту, вырезанную в форме гигантского животного. На самом деле Сингх думал только о том, чтобы не упасть, медленно скользя по склону неровной известковой скалы.

За ним с рюкзаком через плечо медленно спускалась мисс Морден, опираясь на сложенный зонтик. Остановившись метра на три выше контура лошади, раскрыла зонтик и примостилась под его тенью. Затем достала блокноты и приготовилась записывать.

– Вы меня слышите?

– Да, все отлично.

Она вытерла об юбку испачканные мелом руки и поправила очки. Затем бросила взгляд вдаль и так же, как Сингх, помахала рукой тем, кого сейчас не было видно.

Сингху она нравилась. Ведь это была, пожалуй, первая англичанка, с которой он по-настоящему разговаривал после того, как приехал в Англию. Большую часть времени он провел в казармах в Вулвиче, где общался только с другими индийцами и английскими офицерами. Конечно, он разговаривал с официантками в солдатской столовой, но все общение там состояло из двух-трех фраз, не более.

В семье Сингх был вторым сыном. Старший должен пойти на военную службу, средний – стать врачом, младший – бизнесменом. Такова семейная традиция. Но война изменила все планы. Начался призыв в армию, и в составе полка из сикхов[76] Кирпал Сингх попал в Англию.

Через несколько месяцев подготовки в Лондоне записался добровольцем в инженерное подразделение, которое создавалось,

чтобы обучать саперов обезвреживанию невзорвавшихся снарядов и бомб замедленного действия. Инструкция 1939 года казалась наивной:

«Министерство внутренних дел несет ответственность за невзорвавшиеся бомбы, передавая отделениям противовоздушной обороны полномочия по изъятию и транспортировке таких бомб в безопасные места, где военнослужащие должны подрывать их согласно всем правилам».

Так обстояло дело до 1940 года, когда ответственность за обезвреживание бомб передали Военному министерству, а это значило – Королевским инженерным войскам. Было создано двадцать пять саперных взводов. Не хватало специалистов по обучению, пока не было речи и про специальное оборудование (кто знал, каким оно должно быть?); будущие саперы были вооружены молотками, зубилами и инструментами, предназначенными для ремонта дорог.

«Бомба состоит из следующих частей:

1. Контейнер, или корпус.
2. Взрыватель, или запал.
3. Запальный заряд, или стакан-детонатор.
4. Основной заряд высокой взрывной силы.
5. Дополнительные монтажные устройства».

Восемьдесят процентов бомб, сбрасываемых тогда на Англию, были обычными тонкостенными бомбами-снарядами от сорока до пятисот килограммов. Бомба весом в тонну называлась «Германн» или «Эсау», двухтонная – «Сатана».

После многочасовых занятий Кирпал Сингх так и заснул – с чертежами и схемами в руках. Снилось, будто он вошел в лабиринт цилиндра и пробирался мимо пикриновой кислоты, стакана-детонатора и конденсаторов, пока не дошел до взрывателя, который сидел глубоко, в самом сердце бомбы. И тут он внезапно проснулся.

Когда бомба достигает цели, удар о препятствие вызывает срабатывание тремблера и затем капсюля-воспламенителя во взрывателе. Оттуда луч огня передается в стакан-детонатор, заставляя пентритовое вещество детонировать. Тогда начинает свою работу пикриновая кислота. Она-то и принуждает главное содержимое контейнера – тринитротолуол в смеси с алюминиевым порошком и другими компонентами – взрываться. Это путешествие от тремблера до взрыва длится доли секунды.

Самыми опасными бомбами были те, которые сбрасывали с низкой высоты. Они не взрывались в воздухе. И силы удара о препятствие не хватало для запуска «адской машины» в действие. Такие бомбы лежали в городах и полях и спокойно дремали, пока кто-нибудь не замыкал контакты тремблера: либо фермер палкой, либо колесо машины, либо мячик, который отскакивает от корпуса; тогда они взрывались.

Сингха вместе с другими добровольцами перевезли на грузовике в расположение экспериментального подразделения, в Вулвич. Это было время, когда количество несчастных случаев от небрежного и неквалифицированного обращения с невзорвавшимися бомбами катастрофически росло. В 1940 году, когда Франция пала и Англия оказалась на осадном положении, ситуация ухудшилась.

К августу начался «блицкриг» – за один месяц появились 2500 невзорвавшихся бомб, которые требовалось обезвреживать. Перекрывали дороги, эвакуировали фабрики. К сентябрю количество их достигло 3700. Было создано еще сто новых саперных подразделений. Как «работали» эти бомбы, во многом оставалось неясным. Срок жизни саперов в этих подразделениях не превышал десяти недель.

«То было героическое время обезвреживания бомб, период индивидуальной отваги, когда в экстренных ситуациях, без достаточных знаний и оборудования, люди шли на фантастический риск, на подлинное самопожертвование… Вместе с тем это было героическое время, когда главные герои оставались в тени, ибо их действия не предавались широкой огласке по соображениям, связанным с обеспечением безопасности. Было очевидно, что такие сообщения могли раскрыть противнику истинное положение дел в нашей борьбе с неразорвавшимися бомбами».

Кирпал Сингх сидел впереди рядом с мистером Хартсом, а мисс Морден и лорд Суффолк – сзади. Они ехали на знаменитой машине марки «Хамбер» цвета хаки. Крылья автомобиля были выкрашены в ярко-красный цвет, как у всех средств передвижения, приданных саперным подразделениям; для ночных поездок на левой боковой фаре смонтирован синий светофильтр.

Два дня назад подорвался мужчина, который проходил неподалеку от знаменитой «лошади» в известковых холмах Дауне[77]. Когда саперы приехали на место, то обнаружили, что еще одна бомба находится в самом центре исторической достопримечательности – так сказать, в «желудке» гигантской белой «лошади» в Уэстбери, силуэт которой был врезан в склон округлого мелового холма в 1778 году. Вскоре после этого такие

«лошади» в Северном и Южном Даунсе (а их насчитывалось семь) были затянуты маскировочными сетками – не столько для защиты, сколько для того, чтобы они не служили ориентирами для немецких бомбардировщиков.

Сидя на заднем сиденье, лорд Суффолк непринужденно рассказывал о миграции дроздов из военных зон Европы, об истории борьбы с невзорвавшимися бомбами, о знаменитых девонских сливках… Говорил об этом, знакомя молодого сикха с обычаями и традициями Англии так, как будто их только что обнаружили. Несмотря на то, что звали его лорд Суффолк, он жил в Девоне, в провинции; до начала войны его страстью была книга «Лорна Дун», в которой его больше всего интересовало, насколько правдоподобен роман с географической и исторической точек зрения. Большую часть зимы он проводил, болтаясь в окрестностях деревушек Брэндон и Порлок. И сумел убедить официальных лиц, что лучшего места, чем в Эксмуре[78], для размещения полигона, где тренировали саперов, не найти.

В его подчинении было двенадцать человек – собранные из разных подразделений саперы и инженеры. Кирпал Сингх был одним из них. Большую часть недели они находились в Ричмонд-парке в Лондоне, где слушали лекции и сообщения о новых методах работы с невзорвавшимися бомбами. Сидели в парке на занятиях, а рядом спокойно бродили лани. Но в конце недели они уезжали в Эксмур, где проводилась дневная тренировка и отработка практических навыков. А потом лорд Суффолк вез их в церковь, где убили Лорну Дун во время свадебной церемонии. «Выстрелом или из этого окна, или из задней двери… как раз вдоль прохода – весь заряд угодил в ее плечо. Отличный выстрел, хотя, конечно, ситуация в целом достойна осуждения. Негодяя поймали на болотах и разорвали на куски». Для Сингха это звучало, как знакомая индийская басня.

Самым близким другом лорда Суффолка в Девоне была женщина-авиатор, мисс Свифт, которая ненавидела общество, но любила лорда Суффолка. Они вместе охотились. Она жила в маленьком коттедже в Каунтисбери на скале, глядевшей на Бристольский залив.

Каждая деревушка, через которую они проезжали на «Хамбере», имела свою особенность, и лорд Суффолк рассказывал об этом. «Вот здесь лучше всего покупать терновые трости». В своей форме и тюрбане он напоминал Сингха, который собирался зайти в маленький угловой магазинчик в тюдоровском стиле, чтобы поболтать с его хозяином о тростях.

Лорд Суффолк был лучшим из англичан, как Кип позже скажет Хане. Если бы не война, никогда не вылезал бы из

Каунтисбери или своего «логова» под названием Хоум Фарм, где сиживал в старом подвальчике со стаканом вина, предаваясь размышлениям, а мухи вились над ним. Ему исполнилось пятьдесят лет. Он был женат, но в душе оставался холостяком. Каждый день прогуливался по скалам, навещая свою подругу-авиатора. Любил мастерить что-нибудь, чинить старые лохани для стирки, вскрывать генераторы или кухонный вертел, который работали от водной энергии. Он помогал мисс Свифт собирать информацию о барсуках.

Итак, путь к белой лошади в Уэстбери был заполнен и шутками, и полезной информацией. Даже сейчас, в военное время, он знал, где лучше остановиться и выпить чаю. Заходил в чайную комнату «У Памелы», рука на перевязи после недавнего случая с пироксилином, и заводил свою группу – секретаршу, шофера и сапера, словно это были его дети. Для всех оставалось тайной, как лорду Суффолку удалось убедить Комитет разрешить по-новому обмундировать саперов своего подразделения. По части изобретений с ним, пожалуй, не мог сравниться никто. Он был самоучкой и верил, что в любом изобретении может прочитать мотивы и настроение, с которым оно было создано. Сразу же изобрел рубашку с карманами, куда во время работы саперы могли класть взрыватели и подобную мелочь.

Они пили чай и ждали, когда принесут горячие лепешки, обсуждая обезвреживание бомб in situ[79].

– Я доверяю вам, мистер Сингх, вы знаете это, не так ли?

– Да, сэр. – Сингх обожал его. Лорд Суффолк был первым настоящим джентльменом, которого он встретил в Англии.

– Вы знаете, что я доверяю вам, как самому себе. Мисс Морден разместится рядом и будет записывать информацию. Мистер Хартс расположится немного дальше. Если понадобятся еще инструменты или помощь, свистнете в полицейский свисток, и он прибежит. Хартс не специалист в нашем деле, но всегда готов прийти на помощь. Если он что-то не сделает, значит, не согласен, и тогда я вмешаюсь. Но на месте у вас полная свобода действий. Вот мой пистолет. Возможно, взрыватели сейчас более сложной конструкции, но кто знает, может, вам и повезет.

Лорд Суффолк имел в виду одно открытие, которое сделало его знаменитым: способ останавливать работу взрывателя бомбы замедленного действия, достав пистолет и выстрелив по головке взрывателя, отключая таким образом часовой механизм. От этого метода пришлось отказаться, когда немцы придумали новую конструкцию взрывателя, в котором сверху находился сам ударный капсюль-воспламенитель, а не часовой механизм.

С Кирпалом Сингхом обошлись по-дружески, и он никогда этого не забудет. Ведь почти половину пребывания на войне он провел в обществе этого лорда, который никогда не покидал пределы Англии и собирался осесть в Каунтисбери, когда все закончится. Когда Сингх, оторванный от семьи в Пенджабе, приехал в Англию, то никого здесь не знал. Ему был двадцать один год. Он жил среди солдат. И однажды прочитал объявление о наборе добровольцев в экспериментальный саперный батальон. И несмотря на то, что поговаривали, будто лорд Суффолк – сумасшедший, Сингх решил: на войне всегда приходится состоять под чьим-то командованием, а здесь будет возможность жить рядом с интересной личностью и, наверное, самому сохранить индивидуальность.

Среди тех, кто подал заявления, он был единственным выходцем из Индии. Лорд Суффолк опаздывал. Их, пятнадцать человек, привели в библиотеку, и секретарь попросила подождать. Она сидела за столом, переписывая фамилии, а солдаты шутили о предстоящем собеседовании и тестах.

Он никого не знал. Подойдя к стене, уставился на барометр, хотел дотронуться до прибора, но передумал, только придвинул лицо к шкале. «Очень сухо. Нормально. Шторм». Проговаривал про себя слова, стараясь, чтобы они звучали по-английски.

Он обернулся к остальным. Осмотрел комнату. И поймал взгляд секретарши – суровой на вид женщины средних лет. Она наблюдала именно за ним, парнем из Индии.

Он улыбнулся и пошел к книжным полкам. И снова не прикоснулся ни к чему. Приблизился к книге под названием «Раймонд, или Жизнь и смерть», написанной сэром Оливером Ходжем. Нашел еще одну с похожим названием: «Пьер, или Двусмысленность». А повернувшись, снова поймал на себе взгляд женщины.

Он почувствовал себя виноватым, как будто взял книгу и положил в карман. Может быть, она просто раньше не видела тюрбана? Вот уж эти англичане! Хотят, чтобы ты защищал их, но не станут разговаривать с тобой, поскольку ты – сикх. Вот они – двусмысленности.

Они познакомились с лордом Суффолком во время ланча. Он был добродушен, наливал всем вина и громко смеялся любой шутке солдат.

Днем им предложили странный экзамен: из разных деталей, о которых не было никакой информации, нужно было собрать что-нибудь полезное. Дали на это два часа, но любой мог уйти раньше, если считал, что справился.

Сикх быстро выполнил задание, но не ушел, а оставшуюся

часть времени провел, пытаясь собрать еще какую-нибудь вещь из других деталей. Чувствовал, что будет принят, если не помешает его национальность.

Он приехал из страны, в которой математика и механика были естественны для человеческого разума и рук. У них ничего не пропадало. Если ломался автомобиль, его детали несли через всю деревню и прилаживали к швейной машине или водяному насосу. Заднее сиденье «Форда» перетягивали заново – и оно становилось диваном. Для большинства жителей его деревни было более привычно держать в руке гаечный ключ или отвертку, чем карандаш или авторучку. Ненужные или отслужившие свой век части автомобилей использовались в старинных настенных часах, ирригационных механизмах или устройстве, обеспечивающем вращение офисного стула. Противоядие любому механическому несчастью находили легко. Они охлаждали перегревшийся мотор машины не водой из резиновых шлангов, а приносили коровий навоз и обкладывали радиатор.

То, что он увидел в Англии, было просто неумеренным использованием деталей, которых на индийском субконтиненте хватило бы еще на двести лет.

Он был одним из трех, выбранных лордом Суффолком. Лорд, который даже не разговаривал с ним (и не смеялся, потому что сикх не шутил за столом), прошел через комнату и положил ему руку на плечо. Суровая секретарша оказалась мисс Морден. Она торопливо вошла в комнату с подносом в руках, на котором стояли два бокала шерри, протянула один лорду Суффолку, сама взяла другой и, сказав: «Я знаю, что вы не пьете»[80], – подняла бокал за парня из Индии.

– Поздравляю, вы прекрасно выдержали экзамен. Хотя я была уверена, что вы его сдадите. Поняла это, как только увидела вас.

– Мисс Морден – прекрасный психолог. У нее нюх на таланты и хороший характер.

– Вы сказали «характер», сэр?

– Да. Вообще-то это не обязательно, но ведь нам придется работать вместе. Мы будем как одна семья. Видите: уже перед ланчем мисс Морден знала, что вас выберут.

– Я с трудом удерживалась от того, чтобы не подмигнуть вам, мистер Сингх.

Лорд Суффолк, обняв Кирпала Сингха, подвел его к окну.

– Я подумал: ведь мы не начнем до середины следующей недели, почему бы не поехать в мой Хоум Фарм? Ко мне приезжают солдаты из подразделения. Можно было бы обменяться знаниями и лучше рассмотреть друг друга.

Так он выбрал свою дорогу на этой войне, четкую и ясную.

Прошел год пребывания за границей, и он обрел семью – словно блудный сын, которому предлагают стул за столом и расспрашивают обо всем, что произошло.

Было уже темно, когда они пересекли границу между Сомерсетом и Девоном по трассе вдоль побережья с видом на Бристольский залив. Мистер Хартс повернул машину на узкую проселочную дорогу, вдоль которой росли вереск и рододендроны, темно-красный цвет отчетливо различался в свете фар. Нужно было проехать еще пять километров.

Кроме «святой троицы» – лорда Суффолка, мисс Морден и Хартса – в подразделении было еще шесть саперов. В выходные дни они бродили по болотам вокруг каменного коттеджа. Вечером в воскресенье к ним присоединилась подруга лорда Суффолка. Мисс Свифт сказала молодому сикху, что всегда мечтала пролететь над Индией.

Он, вырвавшись из казармы, даже не ориентировался, где находится. Под потолком на роликах висела карта. Однажды утром, оказавшись в комнате одни, раскрутил карту до пола и прочитал внизу:

«Каунтисбери и окрестности. Составлена Р. Фоунзом. По просьбе мистера Джеймса Хэллидэя».

«Составлена по просьбе…» Ему начинали нравиться англичане.

В палатке он рассказывает Хане о том, что случилось в Эрите. 250-килограммовая бомба взорвалась, когда лорд Суффолк обезвреживал ее. Погибли также мистер Фред Хартс, мисс Морден и еще четверо саперов, которых обучал лорд Суффолк. Май 1941-го. Кирпал Сингх пробыл в подразделении Суффолка уже год.

В тот день он работал в Лондоне с лейтенантом Блэклером, ликвидируя угрозу существованию какого-то замка от бомбы «Сатана». Они вместе трудились над этой двухтонной штукой и изрядно устали. Он вспомнил, как поднял взгляд и увидел нескольких офицеров, которые указывали в его сторону, и подумал: что-то случилось. Может быть, нашли еще одну бомбу? Было уже около десяти, и он ужасно устал. А тут, похоже, предстоит разбираться еще с одним снарядом. Он вернулся к работе.

Когда покончили с «Сатаной», он решил сэкономить время и сам подошел к одному из офицеров, который отвернулся, будто уже собрался уходить.

– Да, давайте. Где она?

Мужчина взял его за руку, и Сингх понял: случилось что-то очень серьезное. Лейтенант Блэклер, стоявший за спиной, когда офицер рассказал им, что произошло, крепко схватил его сзади за

плечи.

Он ехал в Эрит. Догадался, о чем офицер не сразу решился попросить. Конечно, посыльный не приехал бы просто сообщить о смерти. Ведь они были на войне, где не оставалось места для сантиментов. Значит, поблизости находилась еще одна бомба, возможно, такой же конструкции; и, стало быть, открывался единственный шанс узнать, в чем дело.

Он хотел все сделать сам. Лейтенант Блэклер останется в Лондоне. Их теперь только двое из этого саперного взвода, и было бы глупо рисковать обоими. Если лорду Суффолку не удалось справиться, значит, немцы применили что-то новенькое. Как бы то ни было, он хотел разобраться в загадке сам. Когда работаешь вдвоем, должна быть общая логика. Приходится отыскивать компромиссные решения.

Во время ночного переезда он отмел все эмоции и личные ощущения. Мозг должен быть ясным.

Он попытался представить их живыми. Мисс Морден выпивает один глоток крепкого виски, прежде чем перейдет к шерри. Так она сможет пьянеть гораздо медленнее – и в течение вечера выглядеть настоящей леди.

«Вы не пьете, мистер Сингх, но если бы пили, нужно делать так, как я. Один полный глоток виски, потом потягивайте ликер потихоньку, как хороший придворный».

И за этим следовал ее медленный, переливчатый смех. Он впервые в жизни встретил женщину, которая носила с собой две серебряные фляжки. Итак, она пила, а лорд Суффолк грыз галеты…

Вторая бомба лежит приблизительно в полукилометре от того места, где оборвались их жизни. Еще одна 250-килограммовая, тип SC. Похоже, ее конструкция знакома Кирпалу Сингху. Они обезвредили уже сотни таких. Механизм достаточно известный. Но военная техника быстро прогрессирует. Почти каждые полгода немцы что-нибудь изменяли. Тебе удается понять ловушку, секрет, раскусить гадкую маленькую хитрость, объяснить остальным саперам, но тут появляется очередная новинка… Вот как сейчас.

Он никого не взял с собой и будет сам запоминать каждый шаг. Сержанта, который привез его, звали Харди, он остался у джипа. Сингху предложили подождать до утра, но он понимал, что этим следует заняться немедленно. Бомбы типа SC-250 – излюбленные подарки от немецкого «люфтваффе»[81]. Если в их конструкции произошли какие-либо изменения, нужно узнать об этом как можно скорее.

Он заставил их выпросить электродуговые прожектора. Не

возражал против работы, но ему нужно было хорошее освещение, а не просто огни фар двух джипов.

Когда он приехал в Эрит, зона действия уже была освещена.

Когда-то, в мирное время, здесь находилось поле. Росли живые изгороди. Может быть, плескался пруд. Сейчас это – арена для поединка не на жизнь, а на смерть.

Стало холодно, он взял у Харди свитер и натянул поверх гимнастерки. От света будет немного теплее.

Когда шел к бомбе, все они еще оставались живыми в его памяти. Он видел их – и должен был сдать им экзамен.

Под ярким светом видна шершавость металла, из которого сделан корпус бомбы. Сейчас Сингх забыл все, кроме подозрения. Лорд Суффолк говорил, что можно быть отличным шахматистом в семнадцать лет, даже в тринадцать и побеждать больших мастеров. «Но в таком возрасте нельзя стать замечательным игроком в бридж. Бридж основывается на характерах. Вашем и оппонентов. Вы должны принимать во внимание характер противника. Это относится и к обезвреживанию бомб. Оно похоже на бридж вдвоем, с глазу на глаз. У вас есть враг. И нет партнера. Иногда на экзамене я предлагаю соискателям сыграть в бридж. Считается, что бомба – механический объект, механический враг, но не забывайте о том, что ее кто-то сделал».

Стенка бомбы была повреждена ударом о землю, и Сингх видел внутри взрывчатое вещество. Возникло чувство, что за ним наблюдают, но он не стал вдаваться в раздумья, кто – лорд Суффолк или автор этого хитрого изобретения. Свет прожекторов взбодрил. Он обошел вокруг бомбы, осматривая ее с разных углов. Чтобы достать взрыватель, нужно проникнуть в основную камеру корпуса.

Он расстегнул мешок и, пользуясь универсальным ключом, осторожно открутил металлическую плиту на другой стороне контейнера. Заглянув внутрь, увидел, что «карман» с механизмом взрывателя выбит из малой камеры корпуса. Сингх не знал, удача это или нет – рано говорить об этом, пока не выяснил, работает ли механизм, приведен ли в действие. Он опустился на колени, наклонился над бомбой, порадовавшись одиночеству в тот момент, когда надо делать прямой выбор. Повернуть вправо или влево. Отрезать это или то. Но он устал, и гнев еще не остыл.

Он не знал, сколько у него времени. Возможно, слишком долгое ожидание будет смертельным. Плотно обхватив ботинками нос цилиндра, он просунул руку внутрь и выдернул карман с механизмом взрывателя, подняв его над бомбой.

Как только сделал это, его начало трясти. Он вытащил его.

Бомба обезврежена. Положил взрыватель со спутанным клубком проводов на траву; они сверкали на свету.

Он дал отмашку: можно волочить безжизненный основной корпус к грузовику, за пятьдесят метров от этого места. Солдаты опорожнят его, вытопив взрывчатку. В этот момент за полкилометра отсюда взорвалась еще одна бомба, и небо озарила вспышка, в свете которой огни электрических дуг в прожекторах показались нежными и блеклыми.

Офицер подал кружку с напитком «Хорликс», в котором было немного алкоголя, и он вновь вернулся к карману с механизмом взрывателя. Вдыхал пары горячего напитка.

Теперь серьезной опасности не было. Если на каком-то дальнейшем этапе работы он окажется не прав, то небольшой взрыв всего лишь оторвет ему кисть. И если она не будет в этот момент прижата к сердцу, он не умрет. Проблема стала просто технической задачкой. Взрыватель. Новая «шутка» в конструкции.

Можно попытаться воспроизвести лабиринт проводов в первоначальном виде. Он пошел обратно к офицеру и попросил налить еще напитка из термоса, затем вернулся и сел рядом с взрывателем. Было половина второго ночи. Не было часов, но он догадался.

Полчаса он рассматривал механизм взрывателя в круглое увеличительное стекло, подобие монокля, которое всегда прицеплено к нагрудному карману. Склонившись, разглядывал латунь и медь, пытаясь обнаружить хоть намек на царапины, которые мог оставить предохранительный зажим. Ничего.

Позже ему потребуется отвлекаться. Позже, когда за спиной уже будет целая история подобных событий и моментов, потребуется какое-то средство, чтобы забыть обо всем, пока решается новая задачка. Появится детекторный приемник с громкой музыкой, и брезент палатки будет ограждать его от дождя в реальном мире.

Но сейчас он словно сторожит какой-то проблеск вдалеке – похож ли тот на отражение молнии в облаке? Хартс, Морден и Суффолк погибли, остались только их имена.

Сингх снова сконцентрировал взгляд на коробке взрывателя и начал мысленно поворачивать его, проигрывая логически допустимые возможности. Потом вновь привел его в горизонтальное положение.

Открутил запальный стакан взрывателя, склонившись и прислонив к нему ухо, чтобы услышать, царапнет ли медный проводок. Нет даже слабенького щелчка. Стакан отделился от остальной части механизма в полной тишине.

Осторожно освободил лапки часового механизма и положил

его на траву. Затем взял трубку кармана взрывателя и уставился на нее снова, но опять ничего не увидел.

Собрался и ее положить на траву, но помедлил и еще раз посмотрел при ярком свете. Для глаз ничего особенного. А вес? Никогда бы, право, и не подумал о весе, разгадывая секрет. Обычно все, что они делали – слушали или смотрели.

Осторожно повернул трубку, и вес скользнул к отверстию. Там был второй запальный стакан. Отдельный блок. Он-то и обрекал на неудачу любую попытку традиционного подхода к обезвреживанию такой бомбы.

Вытряхнул стакан-детонатор из трубки и развинтил его. Бело-зеленая вспышка, щелчок – и второй детонатор мертв. Положил его рядом с другими частями на траву. А сам пошел к джипу.

– Там был второй детонатор, – пробормотал он. – Мне здорово повезло, когда удалось вытащить сразу все провода. Позвоните в штаб и узнайте, есть ли еще такие бомбы.

Он остался у джипа один, поставил скамейку и попросил, чтобы еще раз зажгли электрическую дугу. Склонился, взял три части – часовой механизм и два стакана – и положил на скамейку, в полуметре друг от друга.

Было холодно, изо рта вырывался пар.

Сингх поднял глаза. Вдали солдаты все еще извлекали взрывчатое вещество из корпуса бомбы.

Он быстро написал несколько фраз на листке и передал офицеру. Конечно, тот ничего не понял в записях сразу, но если с Сингхом что-нибудь случится, у них, по крайней мере, будет информация.

«Если солнечные лучи освещают комнату, в которой горит огонь, он станет невидимым». Он любил лорда Суффолка и его странные изречения. Но сейчас его здесь не было, вся ответственность лежала на Сингхе. Это означало, что только он может разобраться в новой конструкции бомб; от него зависела жизнь целого города. Такое же чувство ответственности было у лорда Суффолка – он это понял сейчас. Именно оно выработало необходимость записывать все подробно, когда он «колдовал» над новой бомбой. Его никогда не интересовала борьба за власть. Он чувствовал себя неуютно в кабинетном обсуждении планов и решений, зная, что может провести разведку и найти разгадку in situ.

Когда реальность того, что лорда Суффолка нет в живых, дошла до Кирпала Сингха, он попрощался с Англией и, снова записавшись в равнодушную к именам машину армии, через некоторое время оказался на транспортном военном корабле «Макдональд», который вез сотню саперов на Апеннинский

полуостров. Здесь они в основном занимались не бомбами, а наводили мосты, расчищали заминированные территории, устанавливали рельсы для военной техники. Остаток войны он провел там. Мало кто помнил сикха, который был в батальоне лорда Суффолка. Через год батальон расформировали и забыли. Лейтенант Блэклер был единственным, кто продвинулся по службе благодаря своему таланту.

Но в ту ночь, когда Сингх ехал мимо Левисхэма и Блэкхита по направлению к Эриту, он вдруг почувствовал, что в нем больше, чем в любом другом сапере, сконцентрировано знание лорда Суффолка. Он должен стать его преемником.

Все еще стоял у грузовика, когда услышал свист, который означал, что электрическую дугу скоро выключат.

В течение ближайших тридцати секунд металлический свет прожекторов сменился зеленовато-желтым – от фар грузовика. Еще одна бомбежка. Когда услышат, что летят самолеты, то и эти огни будут выключены. Он сел на пустой бак от горючего, глядя на три компонента, которые достал из 250-килограммовой бомбы типа SC, слушая шипение фар вокруг.

Сидел, наблюдал и ждал, когда прозвучит щелчок. Метрах в пятидесяти молча стояли другие мужчины. Знал, что сейчас он – король, хозяин-кукловод и может приказать принести все, что ему захочется: ведро песка или фруктовый пирог; и эти мужчины, которые никогда бы не подошли и не заговорили с ним в переполненном баре, сейчас сделали бы все, что он пожелает.

Это было непривычно: словно вручили костюм большого размера, в который он мог завернуться, а рукава волочились бы сзади. Знал, что ему это не понравилось бы, поскольку он привык быть незаметным. В Англии, когда он жил в разных казармах, соседи, как правило, полностью игнорировали его, и юноша свыкся со своей изолированностью, отстраненностью. Самоуверенность и замкнутость, будто он являлся единственным в мире хранителем какого-то важного секрета, которые Хана открыла в нем позже, не были результатом профессиональной деятельности в качестве простого сапера во время итальянской кампании. То был результат его пребывания в Европе в качестве безымянного представителя другой расы, части невидимого мира. Он выработал защитную реакцию, доверяя только тем, кто подружился с ним.

Но в ту ночь в Эрите Сингх знал, что держит ниточки, которыми мог управлять всеми вокруг, словно марионетками.

Через несколько месяцев отбыл в Италию, упаковав мешок и взяв с собой тень лорда Суффолка; почему-то при этом он ощущал свою похожесть на того мальчика в зеленом костюме,

которого видел впервые в рождественском спектакле. Тогда лорд Суффолк и мисс Морден предложили ему сходить в театр. Он выбрал «Питера Пэна», и они, ни слова не говоря, молча согласились – и пошли с ним на эту детскую пьесу…

Подобные воспоминания бродили тенями вокруг, когда он лежал в палатке с Ханой в этом маленьком городке на холмах в Италии.

Воспоминания Сингха были слишком дороги, поэтому раскрывать прошлое или свои черты характера было бы чересчур щедрым жестом. Точно так же он не считал возможным спросить напрямую, почему Хана предпочла именно его. Он любил ее с той же силой, с которой любил тех трех странных англичан. Ел с ними за одним столом. Видел, как они наблюдали его восхищение и удивление, когда мальчик в зеленой одежде высоко поднял руки и полетел в темноту над сценой, возвращаясь к маленькой девочке, которая жила в обычной семье – чтобы тоже научить ее летать.

А там, в темноте Эрита, он прекратит работу, как только послышится гул самолетов и один за другим погасят огни. Будет сидеть во мраке, наклонившись вперед и приложив ухо к тикающему механизму, все еще сторожа появление щелчков, пытаясь услышать их среди гула немецких бомбардировщиков.

И случилось то, чего он ждал. Ровно через час таймер сбросился, и взорвался ударный капсюль. Когда выкручивали основной запальный стакан взрывателя, освобождался невидимый боек, который должен был привести в действие второй запальный стакан – ровно через час, когда сапер уже будет уверен в том, что бомба обезврежена.

Эта новинка изменила технологию работ по обезвреживанию, производимых союзниками. Теперь в каждой бомбе замедленного действия предполагалось наличие второго запального стакана взрывателя. Вывинчивание только одного (первого) стакана уже не гарантировало факт полного обезвреживания снаряда. Лучше было бы нейтрализовать такие бомбы, не дотрагиваясь до взрывателя.

Кирпалу Сингху просто повезло. Он остался в живых благодаря тому, что раньше, в освещении электрических дуг, обнаружил и вытащил смертельный второй стакан из взрывателя бомбы-ловушки. В зеленовато-желтой темноте под бомбежкой наблюдал бело-зеленую вспышку размером с руку. С опозданием на один час.

Он вернулся к офицеру и сказал: «Нужен еще хотя бы один такой же взрыватель, чтобы проверить свое предположение».

Они опять зажгли вокруг него свет. В ту ночь он проверял

новые взрыватели в течение еще двух часов. Шестидесятиминутная задержка оказалась постоянной.

Сингх провел в Эрите почти всю ночь. Проснулся утром уже в Лондоне. Не помнил, как его отвезли назад. Он встал, подошел к столу и принялся набрасывать чертеж: запальные стаканы, детонаторы, всю схему ZUS-40 – от взрывателя до колец блокировки. Затем нанес на рисунок все возможные направления работы по обезвреживанию. Каждая линия была четкой, текст написан ясно и конкретно – так, как учили.

То, что он обнаружил прошедшей ночью, оказалось верным. Действительно повезло, что он остался в живых. Такую бомбу невозможно было обезвредить на месте, не взорвав ее. Он нарисовал и написал все, что знал, на большом листе синеватой бумаги. Внизу стояло: «Начерчено по просьбе лорда Суффолка его учеником лейтенантом Кирпалом Сингхом 10 мая 1941 года».

После гибели лорда Суффолка Сингх работал как безумный, забывая о себе. В конструкциях бомб постоянно происходили изменения. Он жил в казармах в Риджентс-Парк[82] с лейтенантом Блэклером и еще тремя саперами-специалистами. Они разрабатывали решения, составляя отчеты о каждом новом виде бомб, с которыми пришлось сталкиваться.

Через двенадцать дней, работая в Директорате научных исследований, они нашли ответ. Полностью игнорировать взрыватель. Игнорировать первый пункт инструкции, который гласил: «Вывернуть взрыватель из мины». Это было великолепно. Они смеялись, аплодировали, обнимали друг друга. Пока не было ни одного альтернативного варианта, но они знали, что в принципе правы.

Путь к этой правоте оказался удивительно простым. Проблему нельзя решить, только сформулировав ее. Лейтенант Блэклер случайно бросил фразу: «Если вы в комнате с проблемой, не разговаривайте с ней». Сингх переделал ее по-своему: «Тогда совсем не надо трогать взрыватель».

Когда они поняли это и сообщили в высшие инстанции, через неделю было придумано решение. Паровой стерилизатор. В корпусе бомбы нужно проделать отверстие – и главное взрывчатое вещество будет эмульсировано впрыскиванием пара и вытечет. На некоторое время это решение поможет.

А он уже был на корабле, направлявшемся в Италию.

– Ты обращала внимание, что на бомбах сбоку всегда что-нибудь написано желтым мелом? Так же, как желтым мелом писали на наших телах, когда нас выстроили во внутреннем дворе Лахорского форта.

Мы медленно заходили друг за другом с улицы в здание, где подвергались медосмотру, а потом – во двор по списку. Поступали на военную службу. Врачи проверяли и обследовали нас инструментами, руками ощупывали наши шеи, продезинфицированными щипцами отрывали кусочки кожи.

Тех, кто прошел медосмотр и был признан годным к военной службе, построили во дворе. Закодированные результаты написаны желтым мелом на наших спинах. Позже, в строю, после короткого словесного сообщения, офицер-индиец написал еще что-то желтым мелом на табличках, которые были привязаны к нашим шеям. Наш вес, возраст, район рождения, уровень образования, состояние зубов и рекомендуемый род войск.

Меня это не возмущало. А вот моего старшего брата оскорбило бы: он пришел бы в ярость, кинулся к колодцу, достал ведро воды и смыл бы все меловые метки. Я был совсем другим. Хотя любил его. Восхищался им. У меня в характере – находить всему причину, резон. В школе я был очень старательным и серьезным, за что он дразнил и подшучивал надо мной.

Конечно, ты понимаешь, что я был не таким серьезным, как он, просто ненавидел конфронтации. И ведь это не мешало мне делать то, что я хотел, и так, как я хотел. Очень рано я открыл для себя, что совсем не обязательно идти на столкновение. Не спорил с полицейским, который говорил, что нельзя переезжать на велосипеде через такой-то мост или сквозь такие-то ворота в форте – просто спокойно стоял, пока не становился невидимым, а потом проезжал. Как крикетный мячик. Как спрятанная чашка с водой. Понимаешь? Этому меня научили выступления моего брата, который всегда был с кем-то в конфронтации.

Но для меня брат был всегда героем в семье. Я видел и чувствовал его состояние в роли неутомимого возмутителя спокойствия. Наблюдал, как он истощался после каждого очередного протеста: его тело дергалось в ответ на обиду или какой-то закон. Он нарушил традицию в нашей семье и отказался идти в армию. Отвергал любую ситуацию, где Англия имела власть. Поэтому его затаскали по тюрьмам. В Лахорскую центральную тюрьму. Потом в Ятнагарскую… Лежал по ночам на тюфяке, рука поднята в гипсе, так как друзья сломали ему руку, чтобы защитить, потому что он не оставлял мысли о побеге. В тюрьме стал спокойным и отстраненным. Еще больше, чем я. Его не оскорбило, что я записался в армию добровольцем вместо него, что не стану врачом, как того требовала традиция; он только рассмеялся и передал через отца, чтобы я был осторожен. Он никогда не пошел бы на войну вместо меня. Был уверен, что я владею секретом выживания и обладаю способностью прятаться в

тихих местах.

Он сидит на подоконнике в кухне и разговаривает с Ханой. Караваджо проходит мимо, тяжелые веревки свешиваются с плеч, но это его дело, как он отвечает, когда кто-нибудь спрашивает, зачем они ему. Стягивает их за спину, проходя в дверь, и сообщает:

– Английский пациент хочет поговорить с тобой, парень.

– Хорошо, парень, – отвечает сапер с индийским акцентом, пытаясь подражать уэльскому диалекту Караваджо. Затем продолжает – для Ханы:

– Мой отец имел птичку – думаю, это был стриж, – которую всегда носил с собой. Она была необходима ему, как очки или, к примеру, стакан воды во время еды. Дома, даже когда он шел в спальню, птичка была с ним. Когда ехал на работу, клетка с птичкой висела на руле велосипеда.

– Твой отец жив?

– Да. Наверное. Некоторое время я не получал писем. А брат, похоже, все еще в тюрьме.

Кип постоянно вспоминает один случай. Он впервые работает один, ищет секрет хитрого приспособления, которое находится «в чреве белой лошади». На меловом холме жарко, белая пыль вокруг. Мисс Морден сидит метрах в двадцати выше по склону, записывая все, что он делает. Он знает, что в долине, внизу, находится лорд Суффолк, который наблюдает в бинокль.

Работает медленно. Меловая пыль поднимается и оседает на все. Ему приходится постоянно сдувать ее с крышек взрывателя, с проводов, чтобы рассмотреть детали.

Жарко. Он заводит взмокшие руки за спину и вытирает запястья о рубашку, нагрудные карманы которой заполнены всякими нужными мелочами и частями прибора, с которым ведется поединок.

Он устал, проверяя, одну за одной, свои догадки. Слышит голос мисс Морден:

– Кип?

– Да.

– Остановитесь на минуту, я спускаюсь к вам.

– Лучше не надо, мисс Морден.

– Все равно я спущусь.

Он застегивает пуговицы на всех карманах и накрывает бомбу тряпкой; женщина неловко вползает в «лошадь», садится рядом и открывает мешок. Смачивает кружевной носовой платок одеколоном из маленькой бутылочки и передает ему.

– Протрите лицо. Лорд Суффолк всегда так делает, чтобы освежиться.

Он осторожно принимает из ее рук платок и прикладывает ко лбу, шее и запястьям. Она открывает термос и наливает себе и ему чаю. Затем разворачивает промасленную бумагу и достает галеты.

Кажется, она не торопится обратно на склон, где будет в безопасности. А напомнить об этом было бы грубо. Болтает об ужасной жаре и о том, что они, благодарение Господу, догадались заказать в городе комнаты с ванной, которая очень пригодится после такой работы. Потом начинает рассказывать о том, как впервые повстречалась с лордом Суффолком. Ни слова о бомбе, которая лежит перед ними.

А ведь и в самом деле, он начал было замедлять темп работы и мыслей – как тогда, когда ты, уже полусонный, постоянно перечитываешь в книге один и тот же абзац, пытаясь уловить связь между предложениями, но вместо того соскальзывая в омут первого сна… Мисс Морден вытащила его из водоворота проблемы.

Женщина аккуратно складывает все в мешок, кладет руку на его правое плечо и возвращается к своей позиции на походном одеяле, расстеленном над уэстберийской «лошадью». Она оставила ему очки от солнца, но в них плохо видно, поэтому он убирает их в сторону и возвращается к работе.

Чувствуется запах одеколона. Он вспоминает подобный аромат. В детстве он однажды слег с высокой температурой, и кто-то натирал его одеколоном.

VIII. Священный лес

Кип покидает поле, где работал саперной лопаткой. Держит перед собой вытянутую левую руку, будто поранился.

Через огород – детище Ханы, с пугалом из креста и подвешенных на нем жестяных банок из-под сардин идет вверх по направлению к вилле и теперь держит ладони чашечкой, будто заслоняет пламя свечи. Хана встречает его на террасе. Он берет ее за руку, и божья коровка, обогнув ноготь мизинца, быстро переползает на ее запястье.

Девушка возвращается в дом, так же вытянув перед собой руку.

Проходит через кухню.

Поднимается по ступенькам.

Пациент поворачивает голову, когда она входит. Хана подносит руку с божьей коровкой к его ступне, и насекомое начинает свой долгий путь по телу, огибая морские просторы белой простыни, – яркое красное пятнышко, ползущее по неровно застывшей вулканической лаве.

В библиотеке Караваджо случайно сталкивает локтем с подоконника блок взрывателя, когда поворачивается на радостный крик Ханы в коридоре. Блок, кажется, повисает в воздухе – столь быстро Кип успевает подхватить его, пока тот не грохнулся на пол.

Караваджо опускает взгляд на лицо Кипа, а молодой человек шумно переводит дух.

Вдруг он понимает, что обязан этому смуглому парню жизнью.

Теряя робость в присутствии пожилого человека, Кип начинает смеяться, стискивая в руках коробку с проводами.

Караваджо запомнит этот бросок. Он может уйти, уехать домой, никогда больше не увидеть Кипа – но ни за что не забудет его. Спустя годы, в Торонто, при выходе из такси он придержит дверь перед собирающимся занять машину индусом – и будет думать о Кипе.

А сейчас тот просто смеется, глядя на лицо Караваджо.

– Я знаю все о саронгах. – Караваджо покрутил рукой в сторону Кипа и Ханы. – Встречался с индусами на восточной окраине Торонто. Я грабил один дом, и оказалось, что он принадлежит индийской семье. Они проснулись и выскочили из спальни, замотанные в этих тканях, саронгах; они в них и спали, меня это заинтриговало. Мы побеседовали, а потом они

уговорили меня примерить саронг. Я снял одежду, переоделся; вдруг они схватили меня и выставили полуголым за дверь.

– Ты это не придумал? – Она усмехнулась.

– Обижаешь!

Она знает его достаточно хорошо и почти поверила. Когда Караваджо занимался своей «работой», он всегда оставался человеком. Вламываясь в дом во время Рождества, он раздражался, если замечал, что календарь открыт не на той странице. Часто разговаривал с животными, которые оставались одни в доме, цветисто обсуждал проблемы питания и давал им большие порции еды из холодильника. Зверушки платили благодарностью, радостно встречая его в следующий раз.

Она идет с закрытыми глазами вдоль книжных полок в библиотеке и вытаскивает наугад книгу. Это сборник стихов. В середине между разделами находит чистую страницу и начинает писать.

«Он говорит, что Лахор – древний город. Лондон по сравнению с Лахором достаточно молод[83]. Я говорю, что родилась в еще более молодой стране. Он говорит, что у них давным-давно знали порох. Еще в семнадцатом веке на картинах, изображающих придворную жизнь, рисовали фейерверки[84].

Он небольшого роста, чуть повыше меня. Всегда серьезен, но улыбка обаятельная. У него твердый характер, но он этого не показывает. Англичанин говорит, что это один из „священных“ воинов. Но у него особое чувство юмора, более буйное, чем предполагают хорошие манеры. Вспоминается: „Я перезвоню ему утром“. О-ля-ля!

Он говорит, что в Лахоре тринадцать ворот, названных именами тамошних святых, императоров или направлений, куда они ведут.

Слово „бунгало“ происходит от „Бенгалия“?..»

В четыре часа дня Кипа опустили на привязных ремнях, напоминающих отчасти парашютную подвеску, отчасти альпинистскую обвязку, в яму. Он оказался по пояс в грязной воде, рядом с бомбой «Эсау» длиной около трех метров. В коричневой воде обхватил бедрами металлический корпус бомбы – почти так же, как, он видел, делают солдаты с женщинами в уголках танцевальных площадок на военных базах. Когда устают руки, он опускает их на деревянные распорки на уровне плеч, которые устроены, чтобы мокрая земля не обваливалась в колодец. Саперы выкопали яму вокруг этой смертоносной туши и

установили деревянную опалубку до того, как он прибыл на место. В 1941 году начали появляться «Эсау» с новым взрывателем типа Y. Это была вторая такая бомба, с которой пришлось иметь дело.

На предшествующих семинарах и совещаниях английские саперы признали, что единственное правильное решение при обезвреживании такого взрывателя – нейтрализация. Это была огромная бомба. Почему-то ее поза напоминала Кипу страуса. Жидкая грязь, устилавшая дно колодца под холодной водой, не давала должной опоры ногам, а, напротив, засасывала их, и он медленно погружался. Предвидя подобную ситуацию, сапер снял ботинки, потому что они наверняка застряли бы в глине; позже, при подъеме, от резкого движения он мог бы сломать лодыжки.

Кип приложил левую щеку к металлическому корпусу, пытаясь почувствовать тепло, сконцентрировавшись на тоненьком лучике солнца, который проникал в яму шестиметровой глубины и попадал на шею. То, к чему он прижался, могло взорваться в любую минуту, когда дрогнет тремблер и огонек ринется в запальный стакан взрывателя. У него не было ни магического, ни рентгеновского луча, который сказал бы, когда крошечная капсула разобьется и проводок перестанет дрожать. Эти маленькие механические семафоры были похожи на перебои в сердце у человека, который только что в невинном неведении пересекал улицу.

В каком городе все это происходило? Сейчас не вспомнить. Он услышал голос и поднял голову. Харди передал ему оборудование в походном мешке, привязанном к веревке, и подождал, пока Кип перекладывал разные зажимы, щипчики и прочие инструменты в многочисленные карманы гимнастерки. Он мурлыкал песенку, которую пел Харди, когда они ехали в джипе на место:

> Сменился караул у Букингемского дворца —
> Гулять ведет красотка Маргарита молодца.

Кип вытер головку взрывателя и начал лепить из глины чашечку вокруг нее. Затем открыл банку и налил в нее жидкий кислород. Для надежности обмотал ее изолентой. Теперь снова надо ждать.

Между ним и бомбой оставалось так мало места, что уже чувствовалось изменение температуры. Если бы это было на поверхности земли, он бы мог пойти погулять и вернуться минут через десять. А здесь, в замкнутом пространстве колодца, приходится стоять рядом с бомбой – совсем близко, почти в

обнимку, – и каждый из двоих ждет, кто первым совершит ошибку. Как-то капитан Карлайл работал с жидким кислородом в шахтном стволе, и вдруг всю яму охватило пламя. Его быстро подняли вверх, но в ремнях уже висело безжизненное тело.

Где он был? Лиссон Гроув? Олд-Кент-Роуд?

Кип погрузил в грязную воду, а потом приложил шерстяную тряпочку к металлическому корпусу в тридцати сантиметрах от взрывателя. Она не прилипла, стало быть, нужно еще подождать. Когда тряпочка прилипнет, это означает, что часть корпуса вокруг взрывателя замерзла, и можно начинать работу. Он еще подлил кислорода в чашечку.

Круг инея разрастался, радиус его заметно увеличился, но Кип не спешил. Еще несколько минут. Он посмотрел на бумажку, которую кто-то приклеил изолентой к бомбе. Утром они получили новые комплекты специального оборудования для всех саперных подразделений. Туда была вложена эта «инструкция», над которой все хохотали.

«Что является основанием для взрыва?

Если принять человеческую жизнь за X, риск за Y, а ожидаемый ущерб от взрыва за V, логично предположить, что, если V меньше, чем X, деленное на Y, бомбу следует взрывать; но если V, деленное на Y, больше, чем X, необходимо приложить усилия, чтобы избежать взрыва на месте».

Кто написал эти глупости?

Он уже провел в колодце наедине с бомбой более часа, продолжая подливать жидкий кислород. На уровне плеча, справа, был шланг, через который в яму накачивали нормальный воздух, чтобы не закружилась голова от избытка кислорода. (Он видел, как солдаты, опохмеляясь, «лечили» кислородом голову).

Снова приложил тряпочку к корпусу бомбы, и на этот раз она прилипла. У него было около двадцати минут, после чего температура «пускового» комплекта деталей в бомбе станет расти. Но теперь взрыватель заморожен, и можно начинать удалять его.

Он провел ладонями по корпусу бомбы, чтобы убедиться, нет ли разрывов. Погруженная в воду часть должна быть безопасна, но кислород мог воспламениться, если войдет в контакт с открытым взрывчатым веществом. Ошибка Карлайла была в том, что этого он не проверил. «X, деленное на У…» Если были разрывы, следовало применять жидкий азот.

– Эта бомба весит почти тысячу кило, сэр. «Эсау», – послышался голос Харди сверху. – Маркировка: пятьдесят, в

кружочке, В. Скорее всего, имеет два блока взрывателя. Но мы думаем, что второй, возможно, не действующий. О'кей?

Они вдвоем обсуждали все это раньше, еще до спуска Кипа в яму, но такие вещи требуют подтверждения, которым лучше не пренебрегать.

– Подключи меня к микрофону, а сам уходи.

– Есть, сэр.

Кип улыбнулся. Он на десять лет младше Харди и не англичанин, но тот был счастлив в рамках армейской дисциплины. Другие солдаты колебались, прежде чем назвать его «сэр», но Харди всегда громко и с энтузиазмом выкрикивал это слово.

Он должен работать быстро, чтобы захватить взрыватель, пока детали скованны льдом.

– Ты слышишь меня? Свистни. …О'кей. Наливаю последний верхний слой кислорода. Пусть он пузырится еще тридцать секунд. Потом начинаю. Освежаю заморозку. …О'кей, я собираюсь выкрутить… О, черт, сломалось.

Харди внимательно слушал и все записывал. Записи были необходимы на тот случай, если что-то пойдет не так и грянет взрыв. Кип мог погибнуть от крошечной искры, блеснувшей в облаке испаряющегося кислорода. Да мало ли какой сюрприз мог быть заложен врагами в сложной конструкции? Другому саперу, которому придется работать с такой же бомбой, нужно будет учитывать альтернативные решения.

– Я использую гаечный ключ. – Кип достал его из кармана гимнастерки. Ключ был холодный, пришлось потереть его в руках. Начал извлекать блокирующее кольцо. Оно легко выкручивалось, и он сообщил об этом Харди.

– *«Сменился караул у Букингемского дворца…»* – насвистывал Кип. Вытащил блокирующее кольцо, затем установочное кольцо и выпустил их в воду. Чувствовал, как они медленно кружили возле его ног. Это займет еще четыре минуты.

Связать свою судьбу с солдатом хочет ли она?
Ведь надо знать, что жизнь солдат опасна и трудна!

Он громко пел, стараясь согреться. Грудь болела от холода. Попытался отодвинуться от стылого корпуса бомбы. Поднял руки вверх, к шее, куда все еще попадал солнечный луч. Потом потер их, чтобы снять грязь, жир и иней. Было трудно достать гильзу, чтобы захватить головку. Затем, к его ужасу, головка взрывателя отломилась и отлетела.

– Плохо, Харди. Головка взрывателя полностью оторвалась.

Ответь мне, о'кей? Остальная часть конструкции его утоплена в корпусе. Я не могу до нее добраться. Не за что ухватиться.

– На сколько хватит заморозки? – Харди был прямо над ним. Прошло всего несколько секунд, но он уже прибежал.

– Еще минут на шесть.

– Вылезайте, сэр, и мы взорвем ее.

– Нет, передай мне еще кислорода.

Он поднял руку и почувствовал ледяную канистру, которую Харди спустил в яму.

– Я выпущу по капле эту мерзость в открытый механизм взрывателя – туда, где отвалилась головка. Потом врежусь в металл. Буду откалывать куски, пока не смогу за что-нибудь ухватиться. Теперь уходи, я буду обо всем сообщать.

Кип едва сдерживал ярость по поводу случившегося. Кислород – мерзость, как они его называли, – разлился по всей одежде и шипел, когда попадал в воду.

Он подождал, когда появится иней, и начал срезать долотом куски металла.

Еще подлил кислорода, еще подождал и начал срезать глубже.

Когда лезвие притупилось, оторвал кусок от гимнастерки, положил между металлом бомбы и рабочим концом долота, потом ударил в торец рукоятки долота молотком. Только эта тряпица защищала его жизнь от гибельных искр. Но проблема заключалась в том, что у него закоченели пальцы: не гнулись и ничего не чувствовали.

Он продолжал отбивать металл по краям вокруг оторвавшейся головки. Снимал его слоями, надеясь, что заморозка примет этот вид хирургического вмешательства. Долото нельзя направить прямо: существует опасность задеть ударный капсюль, который воспламенит запальный стакан взрывателя.

Это заняло еще пять минут. Харди не ушел, стоял над ямой и подсказывал ему, сколько еще будет действовать заморозка. Но на самом деле никто точно не знал этого. Перед тем как головка взрывателя оторвалась, они замораживали другую часть; температура воды, хотя и низкая, была выше температуры металла.

Потом он что-то увидел. Контакт цепи колебался – тоненький серебряный усик. Как бы до него дотянуться! Кип попытался снова согреть руки, потирая их.

Выдохнул, застыл на несколько секунд и игольчатыми плоскогубцами разрезал проводок надвое до того, как снова вдохнул. Кип с трудом ловил воздух, и мороз побежденного

металла обжег его руку. Бомба была мертва.

– Взрывателю конец. Запальный стакан выведен из строя. Поцелуй меня.

Харди уже крутил ворот лебедки на подъем, а Кип пытался вцепиться в веревку; но это плохо удавалось, ибо закоченели все мышцы. Он ощущал резкие рывки тали и с каждым разом все сильнее обвисал на кожаных ремнях, которыми был обвязан. Чувствовал, как ноги вылезали из тисков липкой грязи, как его доставали, словно труп из болота. Ступни показались из воды. Синий и коричневый – какое любопытное сочетание цветов… Он потихоньку появлялся из ямы на солнечный свет – сначала голова, потом торс…

Он висел, медленно вращаясь под вигвамом из шестов, которые держали блок. Харди обнимал его и одновременно расстегивал ремни подвески, высвобождая грудь, талию, бедра…

Вдруг он увидел огромную толпу, которая наблюдала за ним с расстояния метров в двадцать – слишком близко, что было очень опасно; в случае взрыва они могли погибнуть вместе с ним и Харди. Сержанту, конечно, было не до того, чтобы предупреждать и осаживать их.

Они молча наблюдали за ним, за индийцем, который склонился на плечо Харди и вряд ли мог сам дойти сейчас до джипа с оборудованием – инструментами, и канистрами, и одеялами, и переговорным устройством, провода от которого все еще бесшумно змеились вокруг, будто прислушиваясь к тишине в яме.

– Я не могу идти.

– Только до джипа. Еще несколько метров, сэр. Я соберу все наше имущество, не волнуйтесь.

Они немного постояли, потом медленно пошли. Толпа молча расступилась, давая дорогу. Люди смотрели на его смуглую кожу, босые ноги, мокрую гимнастерку, наблюдали за измученным лицом.

Когда они дошли до джипа, Кипа начало трясти. По глазам больно ударило отражение света от ветрового стекла. Харди пришлось поднять его и устроить на пассажирское сиденье в джипе.

Харди отошел за вещами, сапер медленно стянул мокрые брюки и завернулся в одеяло.

Потом сел. Он так замерз и устал, что даже не в силах был отвинтить крышку термоса с горячим чаем, который стоял рядом на сиденье. Подумал: «Мне, кажется, и не было страшно там. Я был только зол – из-за моей ошибки или из-за того, что в механизме мог оказаться сюрприз. Как реакция зверя на

опасность, когда убежать нельзя и следует защищать себя».

Кип понял теперь, что только Харди продолжает видеть в нем человека.

Когда стоит жаркий день, каждый обитатель виллы Сан-Джироламо моет голову – сначала керосином, чтобы избежать появления вшей, а потом водой.

Кип лежит на спине. Его волосы разметались, глаза закрыты от яркого солнца; он кажется удивительно беззащитным сейчас. В нем чувствуется робость. Когда он принимает такую позу, то больше похож на мифическое существо, чем на человека. Хана сидит рядом, уже почти высушив свои темные волосы. В такие моменты он рассказывает ей о семье и о брате в тюрьме.

Он садится, перебрасывает волосы вперед и начинает вытирать полотенцем по всей длине[85]. А она, глядя на него в эти мгновения, представляет себе всех мужчин Азии: такие же неторопливые движения, их спокойную цивилизацию. Кип говорит о священных воинах, а она ощущает, что он – один из них, суровый и видимый, останавливающийся только в редкие минуты яркого солнца, когда можно быть беззаботным.

Его голова откинута к столу, и солнце сушит волосы, которые рассыпались, напоминая колосья, перевесившиеся через край соломенной корзинки странно-забавной формы.

Хотя он из Азии, но в последние военные годы словно приобрел английских родителей – и, как подобает послушному сыну, следует их правилам.

– А мой старший брат считает меня дураком за то, что я доверяю англичанам. – Кип поворачивается к ней, в глазах поблескивают отражения солнечного дня. – Брат говорит: «Когда-нибудь у тебя откроются глаза». Азия все еще несвободный континент, и брат в ужасе от того, как легко мы бросаемся в войны, в которые ввязываются англичане. Мы всегда спорили, потому что не сходились во мнениях. Он все время повторял: «Когда-нибудь у тебя откроются глаза».

Сапер произносит это, подражая манере брата. Его глаза плотно закрыты.

– Я возражаю ему, например, так: Япония – часть Азии, а ведь известно, сколь жестоко японцы обращались с сикхами в Малайе. Но брат словно не слышит этого. Он твердит, что англичане и теперь вешают сикхов, которые выступают за независимость.

Она отворачивается, прижав сложенные руки к груди. Опять вражда, вечная вражда в мире. Нескончаемая. Непреходящая… Хана идет в дом, в его прохладу и темноту, чтобы посидеть с англичанином.

Ночью, когда она распускает пучок его прически, мужчина

становится похож совсем на другое созвездие: руки тысячью экваторов раскиданы по подушке, волны волос качают ее в объятиях. Она держит в руках индийскую богиню, пшеницу и ленты. Когда он наклоняется, волосы струятся. Она может обмотать ими свое запястье. Когда он двигается, она не закрывает глаза и видит в темноте палатки, как вспыхивают то там, то сям маленькие электрические искорки в волосах.

Кип всегда двигается не наобум, а вступая в отношения с чем-нибудь: стенами, зелеными изгородями, террасой. Бегло просматривает окружающее пространство. Даже глядя на Хану, он видит детали ее исхудавшего тела не сами по себе, а на фоне пейзажа. Так же он наблюдает за полетом коноплянки, охватывая вниманием не только птичку, но все пространство, в середине которого она трепещет, поднявшись в воздух. Он прошел всю Италию, очищая ее от мин; глаза повсюду стремились замечать все – кроме того, что было живым и недолговечным.

Единственное, к чему он никогда не присматривался, – к самому себе. Кипа не интересовала ни расплывчатая тень в сумерках, ни собственная рука, протянувшаяся к спинке кровати, ни отражение в окне, ни то, что о нем подумают. За годы войны Кип понял, убедился, выучил наизусть: единственный абсолютно надежный и безопасный предмет – он сам.

Он проводит вечера с англичанином, который напоминает ель, виденную в Англии, в саду лорда Суффолка на краю утеса, смотрящего на Бристольский залив. У ели была больная ветка, тяжелая от старости. Ее поддерживало, как подпорка, другое дерево. Ель стояла, будто страж, и, несмотря на дряхлость, угрюмость, корявую кору, в ней чувствовалось внутреннее благородство, словно она помнила, кому обязана поддержкой.

Здесь нет зеркал, а тюрбан свой он укладывает в саду, глядя на мошек на деревьях. Он заметил у Ханы пряди со следами хирургических ножниц. Вспоминает ее дыхание, когда девушка кладет голову ему на грудь, на ключицу, где кость делает кожу немного светлее. Хана думает, что если спросить его, какого цвета у нее глаза, он не сможет ответить, хотя и обожает ее. Он засмеется и попытается угадать, но если она, черноглазая, закроет глаза и скажет, что они зеленые, он поверит. Кип может внимательно смотреть в глаза, но не отмечать, какого они цвета. И пища, которую ест, для него больше средство к существованию, чем что-то особенное, имеющее вкус или температуру, аромат или аппетитный вид.

Когда кто-то говорит, он смотрит на губы, а не на глаза и их цвет, который, кажется, постоянно меняется в зависимости от освещения в комнате или времени суток. Ему нравится

определять характер по губам: губы открывают некоторые интересные черты характера из всего спектра личности собеседника – от самодовольства до неуверенности. У бессердечного они темнее, у нежного – светлее… А вот по глазам этого не понять. По глазам можно составить неправильное мнение о человеке и обмануться. Он собирает впечатления, как частички изменяющейся гармонии. Видит Хану в разное время и в разных местах, когда у нее меняется голос, или настроение, или даже красота – похоже на то, как силы морской пучины убаюкивают спасательную шлюпку или властно распоряжаются ее судьбой.

У них появился обычай вставать с зарей и обедать при последнем дневном свете. По вечерам зажигали только одну свечу перед постелью английского пациента или лампу, наполовину наполненную керосином, если Караваджо удавалось добыть его. Но коридоры и другие комнаты лежали во мраке, словно захороненный город. Обитатели виллы привыкли ходить в темноте с вытянутыми руками, на ощупь определяя путь. «Нет больше света. Нет больше цвета», – часто напевает в такие минуты Хана. С привычкой Кипа прыгать по ступенькам, опираясь одной рукой на перила, надо кончать. Она представила, как он в очередной раз поднимает ногу и случайно попадает в живот Караваджо, который возвращается домой.

Хана задула свечу в комнате английского пациента на час раньше обычного. Сняла теннисные туфли, расстегнула платье на шее, потому что очень жарко, закатала до локтей рукава. Милый беспорядок.

На главном этаже этого крыла здания, кроме кухни, библиотеки и разрушенной часовни, имеется еще застекленный внутренний дворик. Четыре прозрачных стены и стеклянная дверь, через которую можно попасть туда, где есть закрытый колодец и полки с засохшими растениями, которые когда-то буйно цвели в теплой комнате. Этот внутренний дворик все больше и больше напоминал книгу, раскрытую в том месте, где между страницами лежит засушенный цветок, или что-то такое, на что можно вскользь бросить взгляд, проходя мимо, но не обязательно заходить.

Было два часа ночи.

Каждый проник на виллу через разные входы: Хана – со стороны часовни по тридцати шести ступеням, он – с северного дворика. Войдя в дом, он снял с руки часы и положил в альков на уровне груди, где жил маленький святой – покровитель этого

госпиталя на вилле. Она не увидит фосфорического циферблата.

Кип снял ботинки и остался в брюках. Фонарь, привязанный к предплечью, выключен. В руках ничего нет. Кип прислонился к темной стене прихожей, словно растворился в ней. Постояв немного во мраке, худой смуглый мальчик в темном тюрбане, с браслетом-«кара», который свободно висит на запястье, проскальзывает через внутренний дворик.

Он прошел на кухню, почувствовал в темноте собаку, поймал ее и привязал веревкой к столу. С полки взял банку сгущенки и вернулся к застекленному четырехугольнику внутреннего дворика. Провел рукой по основанию двери и нащупал маленькие подпорки. Вошел и закрыл за собой дверь, изловчившись в последний момент поставить подпорки на место – на случай, если Хана знает о них.

Потом он залез в колодец. На глубине около метра там есть перекладина, и вполне крепкая. Опустил за собой крышку и согнулся там, воображая, что они играют в прятки и она теперь ищет его. Начинает сосать сгущенку.

Хана знала: от него можно ожидать чего-нибудь в таком духе. Войдя в библиотеку, зажгла фонарик на предплечье и прошла к полкам, которые возвышались от пола до потолка. Дверь, ведущая из здания, закрыта, поэтому в коридорах никто не увидит свет. Только если Кип будет снаружи, может заметить ее через двустворчатую дверь.

Она медленно идет, время от времени останавливаясь, ища среди итальянских книг, преобладающих на полках, какую-нибудь случайно купленную былыми хозяевами виллы английскую, которую можно почитать пациенту. Ей нравились эти книги в итальянских переплетах – фронтисписы, цветные иллюстрации, защищаемые папиросной бумагой, их запах, даже хруст, когда вы открываете их слишком быстро, как бы ломая невидимые косточки…

Она снова останавливается.

«Пармская обитель»[86].

«Если я справлюсь со своими трудностями, – сказал он Клелии, – нанесу визит в этот живописный уголок Пармы, а вы не соблаговолите ли запомнить имя: Фабрицио дель Донго».

В дальнем углу библиотеки на ковре лежал Караваджо. В темноте ему казалось, что левая рука Ханы излучает свет сама по себе, будто намазана фосфорной смесью, и его по-разному отражают переплеты книг, темные волосы, ткань платья и закатанный рукав на плече.

Он вылез из колодца.

Круг света диаметром около метра, который исходил от ее руки, на несколько мгновений исчез, и Караваджо показалось, что между ними пролегла целая долина тьмы.

Хана взяла книгу в коричневом переплете. Когда она двигалась, одни книги появлялись, другие исчезали.

Девочка, безусловно, повзрослела. И сейчас нравилась ему больше, чем в то время, когда она была всего лишь милой доченькой своих родителей. То, какой была сейчас, было ее решением: она сама сделала себя такой. Он чувствовал: если бы встретил Хану где-нибудь на европейской улице, не узнал бы. В ту ночь, когда пришел на виллу и впервые увидел ее здесь, он был шокирован, но постарался не показать этого. В ее аскетическом лице, которое показалось холодным, была резкость.

Теперь он понял, что за последние два месяца привык к ней – именно к такой. С трудом верил, что ему нравилось ее преображение. Несколько лет назад пытался представить себе, какой она станет взрослой, и наделял будущий образ качествами, взращенными на питательной среде ее тогдашнего окружения. Тогда ему грезилась отнюдь не эта прекрасная незнакомка, которую можно было любить еще больше, потому что она была сделана совсем не из того, что он ей пророчил.

Она лежала на диване, повернув фонарь к себе, чтобы было удобно читать. Через некоторое время подняла голову, прислушиваясь, и быстро выключила фонарь.

Может, почувствовала, что не одна в комнате? Караваджо знал, что он шумно дышит и ему трудно сдерживать свое дыхание – не самые подходящие качества для человека его профессии, верно?

Свет зажегся на мгновение – и быстро погас.

Затем все в комнате пришло в движение, кроме Караваджо. Он слышал шум и удивлялся, что его не трогают. Здесь был этот парень из Индии.

Караваджо встал, прокрался к дивану и протянул руку туда, где лежала Хана. Ее не было. Когда выпрямился, его схватили за шею и потащили назад и вниз. В лицо ударил свет, оба тяжело вздохнули и повалились на пол. Рука с привязанным к предплечью фонарем все еще крепко держала его за шею. Потом в пучке света появилась босая женская нога, промелькнула мимо лица Караваджо и остановилась на горле лежащего рядом Кипа. Зажегся еще один фонарь.

– Попался, попался!

Двое с пола смотрели на девичий силуэт над ними. Хана

приговаривала:

– Попался, попался. Я знала, что Караваджо будет здесь, и все подстроила.

Она сильнее прижала ногой шею Кипа.

– Сдавайся! Признавайся…

Караваджо начал выбираться из тисков Кипа, весь потный, без сил. Свет фонарей теперь был направлен на него. Надо было встать и выползти из этого ужаса.

Признавайся.

Девушка смеялась. Необходимо успокоиться, прежде чем он что-нибудь скажет, иначе голос задрожит; впрочем, они вряд ли будут слушать: слишком возбуждены приключением. Он освободился от рук Кипа и, не говоря ни слова, вышел из библиотеки.

Они снова остались вдвоем в темноте.

– Ты где? – спрашивает она. Потом быстро двигается, спотыкается о его грудную клетку и падает ему в объятия. Кладет руку ему на кадык, затем прикасается губами к его губам.

– Сгущенка! Во время нашего поединка? Сгущенка? – Прижимается ртом к его потной шее, как бы желая испробовать его на вкус, в том месте, где недавно была ее нога. – Я хочу видеть тебя.

Он поднимает руку, к которой прикреплен фонарь, и видит ее: на лице полосы грязи, волосы влажные от пота и растрепанные. Она усмехается.

Его руки скользят вверх по ее рукам и теплыми чашечками обхватывают плечи, будто прирастая к ним. Куда бы она ни отклонилась сейчас, он будет с ней. Девушка подалась назад, проверяя, последует ли он за ней, удержат ли его руки от падения. Но вот и он падает рядом, изворачиваясь так, что ноги мелькают в воздухе; только руки и губы с ней, остальное тело – словно хвост богомола. Фонарь все еще держится на левой руке.

Она наклоняется, целует и слизывает капельки пота с его запястья. Он зарывается лбом во влажность ее волос.

Потом вдруг устремляется в поход по библиотеке, свет от включенного фонаря прыгает во все стороны. Кип чувствует себя в безопасности в этом помещении, потому что целую неделю проверял его на наличие мин, и теперь здесь просто комната, а не зона или территория. Он ходит по ней, размахивая рукой, освещая то потолок, то лицо Ханы, а девушка стоит на спинке дивана, глядя на его блестящее стройное тело.

В следующий раз, проходя вдоль дивана, он видит, что она наклонилась и вытирает руки о платье.

– Но я достала тебя, достала, – говорит она нараспев. – Я могиканин с Дэнфорс-авеню.

Потом едет на нем верхом, а свет от наручного фонаря мечется по корешкам книг на самых верхних полках. Руки поднимаются вниз и вверх, когда он кружит ее, и она летит вперед, хватаясь за его бедра, затем падает, освобождаясь от него, ложась на старый ковер, который все еще сохранил запах весенних дождей. На руках пыль и песок. Он опять наклоняется над ней, она тянется и выключает фонарь на его руке.

– Я победила. Согласен?

Он еще ничего не сказал с тех пор, как вошел в комнату. Делает головой жест, который она так любит: то ли кивок, то ли обозначение возможного несогласия. Он не видит ее – мешает свет фонаря. Когда Кип выключает его, они становятся равны в темноте.

Только один месяц Хана и Кип спят вместе, открывая, что любовь есть целая страна с могучей цивилизацией, что можно любить, лишь думая друг о друге.

«Я не хочу, чтобы меня трахали. Я не хочу трахать тебя».

Где он или она научились этому, никто не знает. Может, от Караваджо, который разговаривал с ней по вечерам о своем возрасте, о нежности к каждой клеточке того, кого любишь. Это суждено понять каждому. Раньше или позже – зависит от обстоятельств. Вторая мировая война в Европе кончилась. Душа человека – не географическое понятие. И смерть может бросить на тебя свою холодную тень в любом возрасте.

Желание парня угасало только в глубоком сне в объятиях Ханы. Для полного удовлетворения и ему было нужно нечто большее, чем волшебный свет луны или темпераментная работа тела.

Весь вечер он лежал, прислонившись к ее груди. Она напомнила, как приятно, когда тебя почесывают, ногти кругами похаживали по спине. С этим удовольствием он знаком давно благодаря няне. Покой и умиротворение, которые Кип помнит из детства, сейчас исходили от Ханы. Не от матери, которую он любил. Не от брата или отца, с которыми играл. Когда мальчик был испуган и долго не мог заснуть, няня понимала и успокаивала его, кладя руку на спину. Она, приехавшая из Южной Индии и совершенно чужая в Пенджабе, жила с ними, помогала по хозяйству, готовила и обслуживала семью, воспитывала собственных детей, успокаивала и его старшего брата, когда тот был маленьким, и, возможно, знала характер каждого малыша в семье лучше, чем настоящие родители.

Это была обоюдная привязанность. Если Кирпала

спрашивали, кого он больше любит, он называл сначала няню, а потом маму. Ее успокаивающая любовь значила для ребенка больше, чем кровная или сексуальная. Как он поймет потом, всю жизнь вне семьи он искал именно такую любовь. Платоническую близость другого человека – платоническую, и лишь иногда – сексуальную. Он будет взрослым, когда осознает это, когда сможет всерьез спросить себя, кого любит больше, – и ответит без детской непосредственности, не сразу, а после глубоких размышлений.

Только один раз Кип почувствовал, что сумел принести такое же облегчение нянюшке, хотя она уже понимала, что он ее любит. Когда умерла ее мать, она вдруг сразу состарилась. Проползла в маленькую комнату для прислуги и упала на кровать. Мальчик тихо лежал рядом, разделяя ее горе, а няня дико рыдала. Он видел, как она собирала слезы в маленький стакан, который держала у лица. Завтра нужно будет взять это с собой на похороны. Он сел возле ее скрючившегося тела, девятилетний мальчик, положил руки ей на плечи и, когда она затихла, вздрагивая время от времени, начал царапать ее спину сквозь сари. Потом отогнул ткань и принялся почесывать обнаженную женскую кожу – так же, как сейчас применял это нежное искусство к клеточкам белой кожи канадской девушки Ханы – в палатке, в 1945 году, над маленьким городком средь холмов Италии, где встретились их континенты.

IX. Пещера Пловцов

Я обещал рассказать вам, как люди влюбляются.

Молодой человек по имени Джеффри Клифтон встретил в Оксфорде друга, который рассказал, чем мы занимаемся. Он связался со мной, на следующий день женился и через две недели прилетел с женой в Каир. Это были последние дни их медового месяца. И начало нашей истории.

Когда я встретил Кэтрин, она была замужем. Замужняя женщина. Было полной неожиданностью, что Клифтон взял ее с собой. Он вылез из самолета первым, затем появилась она: шорты цвета хаки, острые коленки. В то время она проявляла горячий интерес к пустыне. Мне же больше была по душе его молодость, чем рвение новоиспеченной жены. В нашей экспедиции он был пилотом, курьером, разведчиком. Представителем нового поколения, которому все давалось легко; с той же легкостью он пролетал над головами на своем «Руперте», роняя сигнальные вымпелы с яркими цветными лентами и советами по поводу мест наших будущих остановок. И постоянно восхищался женой. В экспедиции было четверо мужчин и одна женщина, муж которой находился в радостном возбуждении медового месяца и не уставал говорить об этом. Потом Клифтоны уехали в Каир и вернулись в экспедицию только через месяц, но он был в таком же восторге от жены. Она казалась намного спокойнее, он же вел себя как мальчишка. Кэтрин садилась на канистру из-под горючего, положив локти на колени, и, подперев чашечкой сложенных вместе рук подбородок, неподвижно смотрела на развевающийся брезент палатки, а Джеффри пел ей дифирамбы. Мы пытались подшучивать над ним, но сказать открыто, чтобы он вел себя сдержаннее, значило обидеть, а этого мы не хотели.

После месяца, проведенного в Каире, она стала молчаливой, все время читала, уединялась, как будто что-то произошло или она вдруг открыла удивительное качество человеческой жизни – переменчивость. Впрочем, от женщины и не требуется быть общительной, если она вышла замуж за искателя приключений. Пыталась разобраться в себе. И было больно замечать, что Клифтон не понимал ее, не осознавал тяги к самообразованию. Она прочитала все о пустыне, даже пометки, сделанные на полях книг, – и могла часами говорить об Увейнате и затерянных оазисах.

Я был на пятнадцать лет старше. Вы понимаете, что это много значит. Я уже достиг возраста, когда не верят в постоянство и

любовь на всю жизнь, и чувствовал себя готовым исполнить роль циничного злодея в любом мелодраматическом романе. Я был на пятнадцать лет старше, но она оказалась сильнее. Ее жажда к переменам в личной жизни была сильнее, чем я ожидал.

Что изменило ее во время затянувшегося медового месяца в устье Нила, за пределами Каира? Они пробыли с нами всего несколько дней в первый раз, когда приехали через две недели после свадьбы в Чешире[87]. Он взял новобрачную с собой, потому что был не в силах оставить ее и нарушить обещание, данное нам – мне и Мэдоксу. Думал, что мы будем сгорать от любопытства и ловить каждое слово о ней. И вот ее острые коленки вынырнули из кабины аэроплана. И это было началом нашей муки – и нашей радости.

Клифтон восхвалял красоту ее рук, стройных точеных лодыжек. Рассказывал, как она плавает. Он говорил о новых биде в гостиничных номерах и о том, с какой жадностью жена набрасывается на еду за завтраком.

На все это я не реагировал. Иногда, когда он говорил, поднимал голову и встречал ее взгляд, в котором сквозило понимание моего невысказанного раздражения, а потом – сдержанная улыбка, ирония. Я был старше ее – и уже имел славу человека, который прошел десять лет назад от оазиса Дахла к Гильф-эль-Кебиру и составил карту Фарафры[88], знал Киренаику и не раз терялся в Песчаном Море. Мы встретились, когда все это уже было. Подобные заслуги отличали и моего друга Мэдокса, хотя вне Географического общества мы были неизвестны; были узкой прослойкой социума, с которым она столкнулась лишь благодаря замужеству.

Слова Клифтона, восхваляющие ее, не трогали нас. Он беззаботно расточал похвалы, не прилагая к этому никаких усилий. В пустыне повторять одно и то же означает лить воду в песок. Для нас, исследователей, было характерно совершенно иное отношение к словам. Жизнь во многом определялась словами, слухами и легендами, нарисованными маршрутами, надписями на черепках; каждый нюанс, каждый оттенок этих слов требовал проверки и подтверждения, для чего иногда приходилось пройти очень длинный путь.

Наша экспедиция была километрах в шестидесяти пяти от Увейната, и мне с Мэдоксом предстояло отправиться на разведку. Клифтоны и другие должны были остаться в лагере. Она уже все прочла и попросила дать еще что-нибудь. У меня с собой ничего не было, кроме карт.

– А та книга, которую вы читаете по вечерам?

– Геродот? Вы хотите ее?

– Я не осмелюсь. Если это личное.

– У меня в ней есть личные записи. И вырезки. Они мне нужны.

– О, было слишком невежливо с моей стороны попросить ее. Извините.

– Когда вернусь, покажу вам ее. Просто привык везде быть с этой книгой.

Я упаковывал вещи в палатке, когда она подошла – и произошел этот разговор с соблюдением правил приличия и учтивости. Клифтона рядом не было. Мы были одни. Я объяснил, что это более чем просто книга, и дама, не настаивая, откланялась. Я оценил ее такт и вежливость, хотя уже давно отвык от общества и изысканных манер. И мог спокойно уйти, не мучаясь угрызениями совести.

Через неделю мы вернулись. Нашли много подтверждений (хотя и не окончательных) своим предположениям и догадкам – и были в отличном настроении. По этому случаю в лагере решили устроить небольшой праздник. Клифтон был инициатором и сумел заразить всех.

Она подошла ко мне с чашкой воды.

– Поздравляю, Джеффри мне уже рассказал.

– Да!

– Вот, возьмите, попейте.

Я протянул руку, и она вложила чашку в ладонь. Вода казалась очень холодной после той жидкости во флягах, которую пили мы с Мэдоксом на маршруте разведывательной вылазки.

– Джеффри планирует провести вечеринку в вашу честь. Он пишет песню и хочет, чтобы я прочитала какие-нибудь стихи, но у меня другие планы.

Неожиданно для себя достал из рюкзака книгу и протянул ей:

– Вот то, что я обещал.

После еды и чая из трав Клифтон принес бутылку коньяка, которую припрятал специально для этого момента. Ее предстояло выпить целиком в тот вечер, когда Мэдокс рассказывал о нашем путешествии, а Клифтон исполнил забавную песню. Потом Кэтрин начала читать из «Историй» – о царе Кандавле и его царице. Эта история – в самом начале книги, и я никогда не вникал в суть, поскольку она не имеет ничего общего с теми местами и периодами, которые интересуют меня. А она выбрала именно ее.

«Этот Кандавл был страстно влюблен в свою жену и решил доказать, что она – самая прекрасная из женщин. Он описывал

красоту своей жены Гигесу, сыну Дескила (потому что из всех оруженосцев больше всего любил его), восхваляя ее без всякой меры».

– Ты слышишь меня, Джеффри?

– Да, дорогая.

«Он сказал Гигесу: „Гигес, мне кажется, что ты не веришь мне, когда я рассказываю тебе о красоте своей жены, потому что от века заведено так, что мужчины ушам доверяют меньше, чем глазам. Поэтому я придумал, как ты можешь посмотреть на нее обнаженную».

Если бы я знал, что со временем стану ее любовником, как Гигес стал любовником царицы и убил Кандавла! Я всегда открывал Геродота, чтобы найти ключ к какой-нибудь географической загадке. Но Кэтрин нашла в этой книге окно в свою жизнь. Во время чтения ее голос был осторожным, а глаза не отрывались от страницы, словно ее затягивали зыбучие пески.

«Я знаю, конечно, что она самая прекрасная из женщин, но умоляю тебя не требовать от меня того, что незаконно делать с моей стороны.

Но царь ответил ему так: „Будь мужественным, Гигес, и не бойся ни меня за то, что я говорю такие слова, чтобы испытать тебя, ни моей жены, тем более что она не причинит тебе никакого вреда. Все, что я придумал, она не будет знать и не будет подозревать, что ты ее видишь».

Это рассказ о том, как я влюбился в женщину, которая прочитала мне особенную историю из Геродота. Я слышал слова, которые она произносила тогда, по другую сторону ковра, но не поднимал глаз, даже если она поддразнивала своего мужа. Возможно, она читала эту историю для него. Возможно, в ее выборе не было скрытых мотивов, а делалось это только для них двоих. Возможно, данная история раздражала ее узнаваемостью ситуации. Но вдруг что-то подобное произошло и с ней, хотя, я уверен, в тот вечер она даже не подозревала, что это был первый шаг в неизвестность, грешный шаг.

«Я спрячу тебя в нашей спальне за дверью, и когда я войду, моя жена тоже войдет, чтобы лечь рядом со мной. Возле входа в комнату есть кресло, и на нем она оставляет одежды, которые снимает по очереди; и ты сможешь вдоволь наглядеться на нее».

Но царица увидела Гигеса, когда тот выходил из спальни. И поняла, что сделал ее муж, и, хотя была поражена, не подняла крика… и сохранила спокойствие.

Странная история. Правда, Караваджо? Человек тщеславен и мечтает, чтобы ему завидовали. Или хочет доказать что-то, чтобы ему поверили. Трудно было углядеть здесь портрет Клифтона, но

он стал частью этой истории.

На следующий день жена царя зовет Гигеса к себе и ставит перед выбором.

«Перед тобой два пути, и я предоставляю тебе право выбора. Или ты убьешь Кандавла и станешь владеть мной и Лидийским царством, или тебя здесь же на месте убьют, так что уже никогда в будущем ты не сможешь, даже повинуясь Кандавлу, увидеть то, чего тебе не следует видеть. Или умрет тот, кто опозорил меня, или ты, кто видел меня обнаженной».

Итак, царь убит. Начинается новый век. О Гигесе напишут стихи ямбическим триметром. Он стал первым чужестранцем, который возвеличил Дельфы. Он правил Лидией двадцать восемь лет, но мы все равно помним о нем как об участнике необычной любовной истории.

Кэтрин прекратила чтение и обвела нас взглядом, возвращаясь из зыбучих песков. Женщина размышляла о том, как все быстротечно в этой жизни. А я, слушая эту историю, влюбился в нее.

Слова, Караваджо, имеют силу.

Клифтоны были то в экспедиции с нами, то в Каире. Джеффри делал еще какую-то работу для англичан, бог знает какую, для служащего одной из правительственных контор. Все это происходило до войны. В то время Каир был наводнен представителями почти всех национальностей, светская жизнь кипела, они встречались у Гроппи на званых вечерах и концертах, танцевали ночами напролет. Клифтоны сделались известной молодой парой, их уважали, я же был на задворках светской жизни Каира, только иногда приходилось присутствовать на отдельных мероприятиях. Обеды, праздничные вечеринки на садовых лужайках… Обычно они меня не интересовали, но сейчас стал их посещать, потому что она была там. Я из тех, кто постится, пока не увидит то, что захочется.

Как объяснить вам, какая она? Руками? Так, как я могу руками нарисовать очертания холма или скалы? Она была у нас в экспедиции почти год. Я видел ее, разговаривал. Мы постоянно чувствовали присутствие друг друга. Позже, когда мы открыли, что влечение наше – обоюдное, обрели более глубокий смысл все предыдущие разговоры, прикосновения, взгляды, которые раньше были бы поняты неправильно.

В то время я редко бывал в Каире, один месяц из трех. Работал в департаменте египтологии над новой книгой «Последние исследования Ливийской пустыни». Шли дни, приближался срок сдачи текста, и я все усерднее сгибался над

ним – будто сама пустыня переместилась сюда, на исписанные страницы; даже чувствовал запах чернил, стекающих на бумагу по перу. Одновременно боролся с ее незримым присутствием, одержимый желанием, чтобы мои чувства стали известны ее губам, напряженным мышцам под ее коленом, белизне живота, и писал краткую книгу, семьдесят страниц, сжато и по существу, дополненную картами, сделанными во время путешествия. Я не мог убрать ее тело со страниц. Хотел посвятить свою монографию ей – ее голосу, телу, которое представлял, когда она поднимается с постели, как длинная белая стрела, однако посвятил книгу королю, хотя знал, что это вызовет насмешки со стороны друзей, а она вежливо и смущенно покачает головой.

Стал подчеркнуто официальным в ее обществе. Моя характерная черта. Словно чувствуешь неловкость от ранее обнаруженной наготы. Такое свойство присуще, пожалуй, всем европейцам. Это было естественным для меня – перевести ее в текст о пустыне, а на людях закрыться от нее металлическим щитом.

> Для одной женщины, которую любишь
> или наверняка полюбишь,
> Страстный стих будет признанием,
> А для всех других – беззастенчивым
> рифмованным обманом.

На лужайке Гассанейна Бея – величественного старика, который прославился в экспедиции 1923 года, – она прогуливалась с правительственным адъютантом Раунделлом, поздоровалась со мной за руку, попросила его принести что-нибудь выпить, повернулась ко мне и сказала: «Я хочу, чтобы ты меня похитил»[89].

Раунделл вернулся. Я чувствовал себя так, словно она передала мне нож и велела кого-то убить. Через месяц мы стали любовниками. В той самой комнате в Южном Каире, к северу от улицы попугаев.

Я встал на колени в коридоре с мозаичной плиткой, уткнувшись лицом в ее платье, мои соленые пальцы у нее во рту. Мы выглядели странной статуей, пока не принялись утолять свой голод. Ее пальцы выцарапывали песок из моих редеющих волос. Вокруг нас был Каир и все пустыни.

Было ли это желанием вкусить ее молодости и неопытности? Ее сады – те сады, о которых я рассказывал вам.

У ее горла была впадинка, которую мы прозвали «Босфор». Я нырял с ее плеча в этот Босфор. Успокаивал на нем свои глаза.

Вставал на колени, а она вопросительно смотрела, будто я был с другой планеты. Вспоминаю, как ее прохладная рука вдруг дотрагивалась до моей шеи в автобусе в Каире, и тогда мы брали закрытое такси и занимались любовью на пути между мостом Хедив Исмаил и клубом «Типперэри». Или солнечные лучи, пробивающиеся сквозь ее пальцы в вестибюле третьего этажа музея, когда она закрыла мое лицо…

Мы всего-то хотели, чтобы только один человек не видел нас.

Но Джеффри Клифтон был винтиком английской машины. Его семейная генеалогия имела глубокие корни и нисходила к Кануту[90]. Эта машина не открыла Клифтону, который был женат лишь восемнадцать месяцев, неверность жены, а начала беспокоиться о неполадке, болезни в системе. Она знала каждое наше движение с первого дня, с того случайного прикосновения перед входом в отель «Семирамис».

Я не обращал внимания на ее замечания о его родственниках. А Джеффри Клифтон и не подозревал, так же, как и мы, о гигантской английской паутине, которая нависала над нами. Но клуб телохранителей наблюдал за ее мужем и обеспечивал ему защиту. Только Мэдокс, который был аристократом с прошлыми полковыми связями, знал об этих спиралях благоразумия. Только Мэдокс, с его удивительным чувством такта, дал мне понять, в каком мире вычертился наш треугольник.

Я всегда носил с собой Геродота, а Мэдокс – святой в своем браке – «Анну Каренину», постоянно перечитывая эту историю о любви и обмане. Однажды, слишком поздно, чтобы избежать влияния машины, которую мы уже привели в действие, он попытался объяснить мне мир Клифтона, как Толстой описал врага Анны. Передайте мне мою книгу. Послушайте.

«Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Облонского. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке… Следовательно, раздаватели земных благ… все были ему приятели и не могли обойти своего… Нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссориться, не обижаться, чего он, по свойственной ему доброте, никогда и не делал»[91].

Караваджо, мне понравилось ваше постукивание по стеклянному шприцу. Когда Хана давала мне морфий впервые в вашем присутствии, вы стояли у окна, и когда она постучала по шприцу, ваша шея дернулась по направлению к нам. Я сразу понял. Точно так же, как влюбленный понимает маскировку других влюбленных.

Женщины хотят от возлюбленного всего. И я очень часто

тонул с головой. Так армии исчезают в песках. А там был ее страх за мужа, вера в его благородство, мое старое желание независимости, мои исчезновения, ее подозрения на мой счет, мое неверие в то, что она любит меня. Паранойя и клаустрофобия тайной любви.

– Мне кажется, ты стал жестоким, – сказала она.

– Я не единственный изменник.

– Не думаю, что тебя это волнует – то, что произошло между нами. Ты скользишь мимо всего со страхом и ненавистью к собственничеству – боишься и обладания, и быть обладаемым, и того, что тебя назовут по имени. Думаешь: это добродетель. А я думаю: это жестоко. Если я уйду от тебя, к кому ты пойдешь? Найдешь себе другую?

Я ничего не отвечал.

– Скажи, что нет, черт бы тебя побрал.

Кэтрин всегда хотела слов – любила их, выросла среди них. Слова давали ей ясность, имели причину, форму. А для меня в словах тонули эмоции, как камешки в воде.

Она вернулась к мужу.

– С этого момента, – прошептала она, – мы или найдем, или потеряем наши души.

Даже моря исчезают, а почему не расстаться любовникам? Гавани Эфеса, реки Гераклита исчезли, вместо них остались только наносы. Жена Кандавла стала женой Гигеса. Даже библиотеки горят.

Чем была наша связь? Изменой по отношению к тем, кто окружал нас, или стремлением к другой жизни?

Она вернулась к мужу, а я вернулся к барам.

Я буду смотреть на луну, а видеть тебя.

Старая классика Геродота. Постукивая и напевая эту песню снова и снова, пока строчки не стали частью жизни, я старался вырвать из своего сердца горечь потери. Люди по-разному выздоравливают от подобной болезни. Кто-то из ее «свиты» увидел меня в компании торговца пряностями. Когда-то он подарил ей оловянный наперсток с шафраном. Именно его – из десяти тысяч других вещей.

И если Багнольд – он видел меня сидящим рядом с продавцом шафрана – сказал ей об этом, когда они обедали, как я мог себя чувствовать? Давало ли мне душевный покой то, что она вспомнит мужчину, сделавшего маленький подарок – оловянный наперсток, который она проносила на тонкой темной цепочке два дня, пока мужа не было в городе? Шафран пересыпался там, и на ее груди осталось золотое пятно.

Как она расскажет обо мне, отвергнутом людьми после сцен, когда я опозорил себя? Багнольд засмеется, ее муж, хороший человек, будет беспокоиться обо мне, а Мэдокс встанет и подойдет к окну, глядя на южную часть Каира. Возможно, разговор перейдет на другую тему. В конце концов, они ведь картографы. А впрочем, спускалась ли она вообще в этот колодец, который мы выкопали вместе; хотелось ли ей спускаться туда в одиночестве, отчаянно цепляясь за что попало, лишь бы не рухнуть на дно – ведь рядом уже не было меня, который всегда мог и желал поддерживать ее?

У каждого из нас теперь была своя жизнь.

– Что ты делаешь? – спросила она, наткнувшись на меня на улице. – Ты что, не видишь, что сводишь всех с ума?

Мэдоксу я сказал, что у меня роман с какой-то вдовой. Но она еще не стала вдовой. А когда Мэдокс возвращался в Англию, мы уже не были любовниками.

– Передай привет своей каирской вдовушке, – пробормотал Мэдокс. – Хотел бы я с ней встретиться.

Знал ли Мэдокс? С ним, преданным другом, я всегда чувствовал себя обманщиком. С ним мы провели вместе десять лет, и я любил его больше других. Это было в 1939 году, мы все уезжали из той страны. Куда? В разные места, но в любом случае – на войну.

А Мэдокс вернулся в свою деревню Марстон Магна, в Сомерсет, где родился. Через месяц, сидя среди прихожан в церкви, слушая проповедь, в которой восхвалялась война, он достал пистолет и застрелился.

«Я, Геродот из Каликарнаса, пишу свою историю не только о великих и славных делах, совершенных греками и чужестранцами, но и о причинах, побудивших их сражаться друг с другом».

В пустыне людей всегда тянет декламировать стихи. И Мэдокс представил для Географического общества прекрасный, поэтически звучащий отчет о наших путешествиях в пустыне и находках. Берманн вдохнул теорию в последние тлеющие угли. А я? И я был мастер. Механик. Другие писали о своей любви к уединению или созерцали то, что находили там. И не были уверены в том, что я думал по этому поводу.

«Тебе нравится луна?» – спрашивал Мэдокс, который знал меня уже десять лет. Просто экспериментировал, как бы разрушая близость. Им я казался слишком хитрым, чтобы любить пустыню. Похожим на Одиссея. Да я и был им. Покажите мне пустыню, как вы покажете кому-нибудь реку, кому-то – крупный город его

детства, а Одиссею – Итаку[92].

Когда прощались в последний раз, Мэдокс использовал старое пожелание: «Да благословит Господь нашего попутчика». А я ответил, уходя: «Бога нет». Мы были совершенно не похожи друг на друга.

Мэдокс сказал, что Одиссей не написал ни строчки, не оставил никакой книги откровений. Возможно, он чувствовал себя чужим в искусстве высокопарного пустозвонства и ложной хвалы. И моя собственная монография, должен признаться, была сурова в своей точности. Страх обнаружить присутствие Кэтрин на страницах книги вынудил убрать все эмоции, всю риторику любви. И все же я описал пустыню так проникновенно, будто говорил о женщине. Мэдокс спросил меня о луне в последние дни, когда мы были вместе перед войной. Мы расстались. Он уехал в Англию. Неумолимое приближение войны нарушило все наши планы по медленному раскапыванию истории в пустыне. «До свидания, Одиссей», – сказал он с усмешкой, зная, что мне никогда не нравился Одиссей. Еще меньше – Эней. И мы решили, что Энеем будет Багнольд. «До свидания», – отозвался я.

Помню, как он повернулся и засмеялся. Дотронулся толстым пальцем до адамова яблока и сказал: «Если тебе еще интересно, это называется надгрудная выемка». Дал моей впадине официальное название. Он вернулся к своей жене в деревню Марстон Магна, увез с собой любимый томик Толстого, а мне оставил свои циркули, компасы и карты. О своей привязанности друг к другу мы не говорили.

А зеленые поля вокруг деревни Марстон Магна в Сомерсете, о которых он все чаще и чаще в последнее время упоминал в наших разговорах, превратились в военные аэродромы. Над старинными замками короля Артура висел дым от выхлопных газов самолетов. Я не знаю, что толкнуло его на самоубийство. Может быть, постоянный гул этих самолетов – такой громкий после простого жужжания «Мотылька», которым нарушалось молчание пустынь в Ливии и Египте. Чья-то война располосовала вытканный им гобелен единомышленников. Я был Одиссей и понимал меняющиеся и временные запреты войны. А он с трудом заводил друзей, самые старые и проверенные могли быть сочтены по пальцам одной руки. Ему было мучительно больно сознавать, что некоторые из ближайших друзей стали теперь врагами.

Он жил в Сомерсете с женой, которая никогда не видела нас, и довольствовался малым. Одна пуля оборвала его жизнь.

Это было в июле 1939 года. Они сели в автобус, шедший из их деревни в Йовил. Автобус ехал медленно, и они немного

опоздали. Войдя в переполненную церковь, не смогли найти места для двоих и решили сесть по отдельности. Когда через полчаса началась служба, она была ура-патриотической и без всяких колебаний приветствовала надвигающуюся войну. Священник блаженно восхвалял силовые методы решения международных проблем, благословлял правительство и тех, кто вступает в армию. Мэдокс слушал, проповедь становилась все более возбуждающей, страстной и взволнованной. И он не выдержал: достал пистолет, наклонился и выстрелил себе прямо в сердце. Он умер мгновенно. Наступила тишина. Тишина пустыни без ветра и без самолетов. Глубокая тишина. Они услышали, как его тело упало на скамью. Все замерли. Священник застыл на месте. Это была такая тишина, когда стеклянная воронка вокруг свечи в церкви трескается, и все поворачиваются. Его жена протиснулась по центральному проходу, остановилась возле ряда, где сидел Мэдокс, пробормотала что-то, ее пропустили. Опустилась на колени и обняла его.

Как умер Одиссей? Самоубийство, не так ли? Кажется, вспоминаю. Сейчас. Возможно, пустыня испортила Мэдокса. То время, когда мы не имели никакой связи с внешним миром. Я постоянно думал о русской книге, с которой он не расставался. Россия была ближе к моей стране, чем к его. Да, Мэдокс умер из-за несовместимости наций.

Я любил его невозмутимость. Рьяно спорил о местоположении тех или иных объектов на карте, а в его отчетах наши горячие дебаты были облечены в разумно выстроенные фразы. Он писал о наших путешествиях спокойно и радостно, если было чему радоваться, как будто мы были Анна и Вронский на балу. При всем том он никогда не ходил со мной на танцевальные вечера в Каире. А я влюбился именно тогда, когда танцевал.

Он двигался медленно. Никогда не видел, чтобы он танцевал. Мэдокс был из тех, кто описывал и истолковывал мир. Мудрость вырастала из малейшего осколка эмоции. Один взгляд мог привести к целым параграфам теории. Если он находил новое племя в пустыне или редкий вид пальмы, вдохновения хватало надолго. Когда во время путешествий мы наталкивались на какое-либо сообщение – любое слово, современное или древнее, написанное по-арабски на грязной стене или мелом по-английски на крыле нашего джипа – он обязательно читал надпись, а потом дотрагивался до нее рукой, как бы пытаясь понять более глубокий смысл, содержащийся в ней.

Он протягивает руку ладонью вверх, чтобы Караваджо снова

сделал инъекцию. Когда морфий уже растекается по венам, он слышит, как Караваджо бросает вторую иглу в эмалированную банку. Видит, как седой мужчина повернулся спиной, и понимает, что они оба – пленники морфия.

Бывают дни, когда после скучной писанины я прихожу домой, и единственное мое спасение – «Жимолость» в исполнении Джанго Рейнхардта и Стефани Граппелли в сопровождении «Горячего Клуба» Франции. Тридцать пятый. Тридцать шестой. Тридцать седьмой. Великие годы джаза. Годы, когда джазовые мелодии перенеслись из отеля «Кларидж» на Елисейских Полях в лондонские бары, Южную Францию, Марокко, а потом в Египет, где их с невеликим успехом пытался воспроизводить какой-то безымянный танцевальный оркестр в Каире.

Когда я снова ушел в пустыню, взял с собой воспоминания о танцах под пластинку «Сувениры» в барах, о женщинах, семенящих, как борзые, наклоняющихся, когда вы что-то шепчете им в плечо во время песни «Моя милая». Тридцать восьмой. Тридцать девятый. В отдельной кабинке раздавался шепот любви, а за углом уже ждала война.

В какую-то из последних ночей в Каире, через несколько месяцев после того, как мы с Кэтрин порвали отношения, Мэдокса уговорили устроить в баре прощальную пирушку по случаю отъезда. Клифтоны тоже были там. Один последний вечер. Один последний танец. Алмаши напился и пытался изобразить новое па, которое придумал сам и назвал «Объятие Босфора». Подняв Кэтрин и пересекая зал, он упал вместе с ней на куст аспидистры.

«Кто же ты на самом деле?» – думает Караваджо.

Алмаши был пьян, и его танец казался набором грубых движений. В те дни они не очень-то ладили. Он мотал партнершу из стороны в сторону, как тряпичную куклу, утоляя свое горе по поводу отъезда Мэдокса. За столом громко кричал. Когда Алмаши так вел себя, все обычно расходились, но то был прощальный вечер Мэдокса в Каире, и мы остались.

Плохой египетский скрипач пытался подражать Стефани Граппелли, а Алмаши походил на планету, сорвавшуюся с орбиты. «За нас – всевластных странников!» – он поднял бокал. Хотел танцевать со всеми, с мужчинами и женщинами. Хлопнул в ладоши и объявил:

– А сейчас – «Объятие Босфора» Ну, кто со мной будет танцевать? Ты, Борнхардт? Или ты, Хетертон?

Никто не хотел танцевать с ним.

Тогда Алмаши повернулся к молодой жене Джеффри Клифтона, которая бросала на него гневные взгляды, и кивком подозвал ее. Она вышла вперед, и он рывком приник к ее телу, кадык улегся на ее обнаженное левое плечо, возвышавшееся над блестками ее платья, словно отрог плато Джебель-Увейнат над прокаленными солнцем песками. Безумное танго продолжалось до тех пор, пока один из них не сбился с такта. Еще не остыв от гнева, она отказалась признать его победителем и дать возможность проводить ее к столу. Просто пристально посмотрела на него, когда он откинул голову назад, и это был не торжествующий, а атакующий взгляд. Тогда он что-то забормотал, наклоняя лицо, возможно, слова из песни «Жимолость».

В перерывах между экспедициями Алмаши в Каире никто не видел. Казалось, он уехал или был очень занят. Днем работал в каирских музеях, а ночами таскался по барам. Терялся в другом мире Египта. Здесь они собрались только ради Мэдокса.

Но сейчас Алмаши танцевал с Кэтрин Клифтон. Ее стройное тело задевало растения, поставленные в ряд. Он кружился, поднимал ее, а потом упал. Клифтон сидел, не глядя на них. Алмаши полежал рядом с ней, затем переключился на неловкие попытки поднять даму, встряхивая головой и откидывая с глаз белокурые волосы. Когда-то он был учтивым мужчиной.

Случилось это за полночь. Гостям было не до смеха, за исключением некоторых завсегдатаев, которые привыкли к разным выходкам европейцев из пустыни. Там были женщины с длинными серьгами в ушах, которые серебряными струями стекали на шею и могли больно ударить партнера по лицу во время танца; женщины в блестках – маленьких металлических капельках, которые нагревались от жары в баре. В прошлом Алмаши был частью этой ночной жизни. По вечерам танцевал с ними, прижимая к себе и принимая тяжесть их тела. Да, сейчас им было забавно, и они смеялись, увидев его расстегнувшуюся рубашку, но им не нравилось, когда он наваливался на них, останавливаясь во время танца, иногда падая на пол.

В такие вечера было важно вписаться в эту атмосферу, где созвездия из людей кружились и скользили вокруг тебя. Не требовалось никаких мыслей и действий.

Позже, в пустыне между оазисами Дахла и Куфра, воспоминания обрушились, словно он читал данные полевого журнала. Вспомнил взвизгивание, похожее на короткий лай. Он посмотрел на пол в поисках собаки и понял, рассматривая сейчас движущуюся в прозрачном масле стрелку компаса: это, должно быть, вскрикнула женщина, которой он наступил на ногу. Сейчас,

в пределах видимости оазиса, он мог гордиться своим танцем.

Холодные ночи в пустыне. Он выдергивал воспоминания о каждой, словно нить из клубка ночей, и смаковал. Так было во время первых двух суток перехода, когда он находился в забытом районе между городом и плато.

Прошло шесть дней, и он не думал о Каире, о музыке, об улицах, о женщинах; к тому времени уже перенесся в древность и приспособился к дыханию глубокой воды. Единственной связью с миром был Геродот, его путеводитель – древний и современный, насыщенный сведениями, требующими проверки. Когда он обнаруживал правду в том, что казалось ложью, доставал свою бутылочку с клеем и вклеивал карту или вырезку из газеты, либо на чистой странице книги делал наброски мужчин в юбках и неизвестных животных рядом. Древние обитатели оазисов обычно не изображали крупный рогатый скот, хотя Геродот утверждал обратное. Они обожествляли беременную богиню, и на наскальных рисунках можно было увидеть главным образом беременных женщин.

За две недели он ни разу даже не подумал о городе. Будто двигался под топкой полоской тумана, над чернильными линиями карты – чистой зоны между землей и схемой, между расстояниями и легендой, между природой и рассказчиком. Сэндфорд назвал это геоморфологией. Места, которые мы выбираем, где чувствуем себя собой и не осознаем происхождения. Здесь, не считая солнечного компаса – одометра, измеряющего пройденное расстояние, – и книги, он был совершенно один. Он знал, что такое мираж, фата-моргана, ибо сам выбрал это для себя.

Он просыпается и обнаруживает, что Хана обмывает его. На уровне ее талии – плоскость столика. Девушка наклоняется, руками набрызгивая воду из фарфоровой чаши ему на грудь. Заканчивая, проводит несколько раз мокрой рукой по волосам, отчего они становятся влажными и темными. Затем поднимает голову, видит, что он проснулся, и улыбается.

Снова открыв глаза, он видит живого Мэдокса, который выглядит нервным, усталым; тот делает себе инъекцию морфия двумя руками, потому что на кистях нет больших пальцев.

«Как ему это удается?» – думает он.

Узнает эти глаза, манеру облизывать губы, ясность мысли, схватывающей все сказанное собеседником. Два старых глупца.

Караваджо замечает что-то розовое во рту англичанина, когда тот говорит. Десны. Наверное, такой же цвет светлого йода у наскальных рисунков, обнаруженных в Увейнате. Надо еще

многое узнать, вытянуть из этого неподвижного тела на постели, которое уже не живет. Есть только рот, вена на руке, серые, как у волка, глаза. Удивительна его стойкость, когда он рассказывает: временами – от первого лица, временами – от третьего, так и не признавшись, что он – Алмаши.

– Кто это говорил, не вспомните: «Смерть означает, что вы уже в третьем лице»?

Целый день они продолжают делить между собой запасы морфия. Чтобы выудить из английского пациента все, Караваджо внимательно следит за ходом его мысли. Когда обгоревший человек забывается или когда Караваджо чувствует, что перестает улавливать связь между событиями – любовная история, смерть Мэдокса, – он берет из эмалированной банки шприц, отламывает головку стеклянной ампулы, надавливая костяшками пальцев, и заполняет его, чтобы сделать новую инъекцию. Предупреждение Ханы о возможной передозировке игнорируется.

Каждая новая доза морфия открывает еще одну потайную дверь. Он либо возвращается к рисункам в пещере, либо ищет спрятанный в пустыне самолет, либо лежит с женщиной в комнате, обдуваемый вентилятором, и ее щека покоится на его животе.

Караваджо берет книгу Геродота. Переворачивает страницу и будто всходит на бархан, чтобы увидеть Гильф-эль-Кебир, Увейнат, Джебель-Киссу. Когда Алмаши начинает говорить, стоит рядом, стараясь выстроить события в логическую цепочку. А рассказ похож на дрожание стрелки компаса: слушателя бросает то на восток, то на запад, словно в обмане песчаной бури. Мир кочевников, наверное, и в самом деле весь выглядит так – как сомнительная история.

На полу в Пещере Пловцов, после того как ее муж разбил аэроплан и погиб, он разрезал парашют, расстелил и медленно помог ее телу опуститься на него. Лицо женщины было искажено болью от ран и ушибов. Он нежно провел рукой по волосам – цела ли голова? Затем дотронулся до плеч и ступней.

Здесь, в пещере, он не хотел терять ее красоту, изящество, ее хрупкие формы. Хорошо понял ее сущность.

Она была из тех женщин, которые выражали себя с помощью косметики. Собираясь на вечеринку или запрыгивая в постель, красила губы в кроваво-яркий цвет, а на веки накладывала алые мазки.

Он поднял голову, посмотрел на один из наскальных рисунков и решил позаимствовать краски у них. Покрасил ее лицо охрой, намазал голубым вокруг глаз, расчесал волосы

пальцами, на которые собрал ярко-красный пигмент по всей пещере. Потом перешел на тело. Колено, которое увидел в первый день, когда она вылезала из самолета, стало шафрановым. Ее лобок. Цветные круги по ногам, так что она будет невосприимчива ко всему живому. У Геродота он читал о древних ритуалах, когда воины прославляли своих возлюбленных в песнях, наскальных рисунках и красках, сохраняя их в вечности.

В пещере стало холодно. Он обернул женщину парашютом, развел небольшой огонь из веток акации и окурил дымом все углы. Он вдруг понял, что не может обращаться к ней прямо и открыто, как прежде, поэтому попытался говорить официальным тоном. Голос, будто деревянный шар, отскакивал от разрисованных стен.

– Я сейчас пойду за помощью, Кэтрин. Ты понимаешь? Рядом есть еще один самолет, но у нас нет горючего. Если встречу караван или джип, вернусь скоро.

Он вытащил книгу Геродота и положил рядом с ней. Шел сентябрь 1939 года. Выйдя из пещеры, из круга тускнеющего огня, окунулся в темноту – в пустыню, освещенную луной.

По валунам подобрался к основанию плато и приостановился.

Ни машины. Ни самолета. Ни компаса. Только луна и его тень. Нашел каменный указатель из прошлого и определил направление к Эль-Таджу, городу больше чем в ста километрах отсюда, с улицей, где продавали часы. Нужно было идти на север-северо-запад. Он запомнил угол своей тени и пошел. Через плечо висел кожаный мешок с водой, которая переливалась, как плацента.

Нельзя было идти днем, когда сморщившаяся тень почти полностью умещалась под его подошвами, и в сумерках, между заходом солнца и появлением звезд. В это время все на диске пустыни было одинаковым, и продвижение грозило отклонением от маршрута на девяносто градусов. Он ждал появления живой карты звезд, затем устремлялся вперед, перечитывая эту карту каждый час. Раньше, в экспедициях по пустыне, вперед пускали проводников, которые тоже определяли путь по звездам и несли через плечо длинные шесты с фонариками, а остальные шли за этими прыжками света в темноте.

Человек двигается по пустыне со скоростью верблюда, делая не более четырех километров в час. Если повезет, можно найти страусиные яйца. Если не повезет, песчаная буря заметет все следы. Он шел три дня без еды, отказываясь думать о ней. Когда (и если) доберется до Эль-Таджа, то поест «абра». Это блюдо племена горан готовят из колоцинта, вываривая зернышки, чтобы

избавиться от горечи, потом крошат их с финиками и стручками рожкового дерева. Он пройдет по улицам с часами и гипсом.

«Да благословит Господь вашего попутчика», – сказал Мэдокс. До свидания. Взмах руки. Бог есть только в пустыне, сейчас он хотел это признать. Вне ее есть лишь торговля и власть, деньги и война. Финансовые и военные тираны правят миром.

Он был в разрушенной стране, двигался от песка к скалам. И старался не думать о женщине. Потом, словно средневековые замки, появились холмы. Он шел, пока его тень не наткнулась на тень горы. Кусты мимозы. Колоцинты. Выкрикнул ее имя в темноту скал, потому что *«зло – это душа голоса, пробуждающаяся в пустоте»*.

А потом был Эль-Тадж. Почти всю дорогу он представлял себе улицу зеркал. Когда же появился на окраине поселения, его окружили джипы и англичане забрали его. Они не хотели слушать то, что он говорил о женщине, лежащей раненной в Увейнате, в ста десяти километрах отсюда. Они вообще ничего не хотели слушать.

– Вы хотите сказать, что англичане вам не поверили? Никто вас не слушал?

– Никто не слушал.

– Почему?

– Я неправильно назвал фамилию.

– Вашу?

– Нет, свою я назвал.

– Тогда почему же?

– Ее. Ее фамилию. Фамилию ее мужа.

– А что вы сказали?

Он ничего не отвечает.

– Проснитесь! Что вы сказали?

– Что она моя жена. Я сказал «Кэтрин». Ее муж был мертв. Сказал, что она ранена и сейчас лежит в пещере на плато Гильф-эль-Кебир в Увейнате, к северу от колодца Айн-Дуа. Женщина нуждается в воде и пище. Я пойду с ними, покажу дорогу. Все, что мне нужно – это джип. Только один из их чертовых джипов! Может быть, после этого путешествия я показался им кем-то вроде тех безумных пророков пустыни… Нет, не думаю. Уже началась война, и они как раз вылавливали в пустыне тайных агентов. И каждый человек с иностранным именем, который забредал в этот маленький оазис, был под подозрением. Она была всего в сотне километров, а они не хотели слушать меня. Эта случайная группа в английской форме в Эль-Тадже. Я, должно быть, казался неистовым. У них была и передвижная тюрьма с

плетеными клетками размером с душевую. Меня поместили в такую и поставили в грузовик. Я бился в ней, пока не выпал на улицу. Я кричал: «Кэтрин». Кричал: «Гильф-эль-Кебир». А единственное имя, которого они ждали и которое следовало выплюнуть, уронить в их ладони, как визитную карточку, было «Клифтон».

Меня опять забросили в грузовик. Я был еще одним возможным второсортным шпионом. Еще одним международным обломком.

Караваджо хочет встать и уехать из этой виллы, из этой страны, от осколков войны. Он просто вор. Все, чего он хочет, – чтобы рядом были сапер и Хана или, еще лучше, люди его возраста – в баре, где он знает каждого, может потанцевать и поговорить с женщиной, прислониться головой к ее плечу… Но для этого прежде всего нужно вырваться из плена морфия, оторваться от невидимой дороги в Эль-Тадж. Этот мужчина, который, как он уверен, и есть Алмаши, крепко привязал его к себе и к морфию, чтобы получить возможность напоследок вернуться в свой мир, в свою печаль. Теперь уже не имеет значения, на чьей стороне он был во время войны.

Но Караваджо снова наклоняется вперед.

– Я хочу еще кое-что узнать.

– Что?

– Мне нужно узнать, не вы ли убили Кэтрин Клифтон. То есть, если вы убили Джеффри Клифтона, то этим убили и ее.

– Нет. Я никогда даже не думал об этом.

– Я спрашиваю об этом потому, что мистер Клифтон работал на британскую разведку. И не был тем наивным англичанином, за которого его принимали. Этакий дружелюбный мальчик. Англичане были заинтересованы в том, чтобы он следил за вашей странной компанией в египетско-ливийской пустыне. Они знали, что когда-нибудь там развернутся военные действия. Он был специалистом по аэрофотосъемке, и его смерть обеспокоила их. И все еще беспокоит. Они задают много вопросов. Им было с самого начала известно о вашей связи с его женой. Хотя Клифтон не знал об этом. Англичане думали, что его смерть была подстроена, что она – защита, поднимающая разводной мост. Ждали вас в Каире, но вы, конечно, вернулись в пустыню. Позже, когда меня послали в Италию, я пропустил, чем закончилась эта история, и не представлял, что с вами случилось.

– Значит, вы разыскивали меня.

– Нет, я пришел сюда из-за девушки. Знал ее отца и уж никак не ожидал, что здесь, на этой полуразрушенной вилле, встречу

графа Ладислава де Алмаши. Честно признаюсь, вы мне понравились больше, чем все, с кем до этого работал.

Прямоугольник света, который переполз на сидящего Караваджо, обрамлял его грудь и голову – так, что английскому пациенту лицо собеседника представлялось портретом. В приглушенном свете поздних вечеров его волосы могли еще показаться темными, но сейчас седина видна была ярко и отчетливо; зато мешки под глазами стерлись, как бы растаяли в темно-розовых лучах заката.

Он повернул стул так, что мог откинуться на спинку, оставаясь лицом к Алмаши. С трудом находя слова, потирал подбородок, морщился, закрывал глаза, чтобы подумать – и только потом что-нибудь выпаливал, отвлекаясь от тяжелых мыслей. Чувствовал, как погружался в темноту этой истории, вслед за Алмаши.

– Я могу разговаривать с вами, Караваджо, потому что чувствую: мы оба смертны. Девушка и тот парень еще не осознают этого. Несмотря на то, через что им пришлось пройти. Хана была в глубоком горе, когда я впервые увидел ее.

– Ее отца убили во Франции.

– Понимаю. Она мне не рассказывала об этом. Была отдалена от всех. Вывести ее из замкнутости и уединения можно было, лишь попросив читать мне. Вы не думали о том, что ни у вас, ни у меня нет детей?

Потом, помолчав, словно взвешивая шансы на положительный ответ, спросил:

– У вас есть жена?

Караваджо сидел в розовом свете, закрыв лицо руками, словно пытаясь стереть все и обрести ясность мысли – как будто это был еще один подарок молодости.

– Вы должны рассказать мне все, Караваджо. Или я для вас – дешевая книжонка, которую можно прочитать и забыть? Или чудовище, наполненное морфием, коридорами, ложью, водорослями, мешками с камнями, которые надо вытащить из озера и убить?

– Во время войны нас, воров, постарались использовать на полную катушку. Все были признаны официально. Сначала мы воровали. Потом некоторые начали давать советы. Мы лучше, чем чиновники разведки, разбирались в том, как можно завуалировать обман. Создавали двойных агентов. Целые кампании велись этой разношерстной армией проходимцев и интеллектуалов. Я лазил по всему Среднему Востоку, там и услышал впервые про вас. Вы были тайной, белым пятном на их

картах, но, конечно, не своим и не нейтралом. Были врагом, так как передавали свои знания пустыни в руки немцев.

– Слишком много жестоких глупостей и нелепостей произошло в Эль-Тадже в тридцать девятом году, когда меня окружили и взяли под стражу, подозревая в шпионаже.

– И тогда вы перешли к немцам?

Молчание.

– Вы так и не смогли попасть обратно, в Пещеру Пловцов, на плато Увейнат?

– Нет, пока не вызвался провести Эпплера через пустыню.

– Я хочу вам кое-что рассказать. То, что было в сорок втором, когда вы привели этого тайного агента в Каир.

– Операция «Салам».

– Да. Когда вы работали на Роммеля.

– Яркая личность… Что вы собирались поведать?

– Прежде всего должен сказать, что, когда вы шли через пустыню, избегая войск союзников, провожая Эпплера, совершили поистине героический поступок. От оазиса Джиало путь в Каир долог даже по прямой. Но только вы могли доставить человека Роммеля и его экземпляр «Ребекки» в Каир так, как сделали это тогда.

– Откуда вам это известно?

– Я хочу сказать, что они не с бухты-барахты наткнулись на Эпплера в Каире. О вашем переходе знали. И уже давно был разгадан шифр немцев, но не могли позволить, чтобы Роммель узнал об этом, иначе раскрылись бы наши источники среди его штабистов. Поэтому пришлось ждать до Каира, чтобы схватить Эпплера и сделать вид, будто секреты «Ребекки» выдал он.

Мы следили за вами на всем протяжении пути через пустыню. Британская разведка знала имя, знала, что вы были связаны с Клифтонами – это еще больше повышало интерес. Нам вы тоже были нужны. А потом вас предполагали убить…

Если вы все еще не верите, давайте скажу, что вы вышли из Джиало, и на маршрут потребовалось двадцать дней. Вы шли вдоль цепочки подземных колодцев. Вы не могли подойти к Увейнату, потому что там стояли войска союзников, и прошли мимо Абу-Балласа. В пути Эпплер подхватил пустынную лихорадку, и вы выхаживали его, хотя как-то раз сказали здесь, что он вам не нравился…

Самолеты «теряли» беглецов, но следили очень тщательно. Вы не были ни шпионом, ни диверсантом, ни тайным агентом, но на нашей стороне таких ретивых мастеров хватало. Не было недостатка и в мыслителях. В британской разведке думали, что вы убили Джеффри Клифтона из-за женщины. Они нашли его

могилу в 1939 году, но следов жены не обнаружили. Вы стали для них врагом не тогда, когда согласились послужить немцам, а гораздо раньше – когда начался роман с Кэтрин Клифтон.

– Понятно.

– После того как попрощались с Эпплером и ушли из Каира в 1942 году, англичане потеряли вас. Предполагалось найти вас в пустыне и убить. Двое суток настойчивых поисков – но вы будто испарились или превратились в песчинку. Наши заминировали спрятанный джип. Позже его нашли опрокинутым, но ваших следов так и не смогли обнаружить. Это и было вашим самым великим путешествием, а не то, которое предприняли в Каир с Эпплером. Вы, похоже, уже были не в себе. Спрыгнули с ума… Так говорил один знакомый в Канаде, когда приехал туда еще до Первой мировой – кажется, из Восточной Европы.

– Вы находились тогда в Каире или вместе с ними охотились за мной?

– Нет. Но мне показывали досье. Меня как раз отправляли в Италию и вправе (для подстраховки) были подумать: а вдруг и вы окажетесь там.

– Здесь.

– Да.

Ромб света передвинулся вверх по стене, оставляя Караваджо в тени. Волосы опять потемнели. Он откинулся назад, задевая плечом нарисованную листву.

– Думаю, это не имеет значения, – пробормотал Алмаши.

– Еще дозу?

– Нет. Пытаюсь все поставить на свои места. Я всегда имел личную жизнь. Трудно осознать, что обо мне так заботились.

– Вы завели роман с женщиной, которая была связана с разведкой. И еще несколько человек оттуда вас лично знали.

– Наверное, Багнольд.

– Да.

– Англичанин до мозга костей.

– Да.

Караваджо помолчал.

– Мне нужно спросить у вас еще кое-что.

– Знаю.

– Что случилось с Кэтрин Клифтон? Что произошло перед войной, что свело вас всех снова в Гильф-эль-Кебире? После того как Мэдокс уехал в Англию.

Нужно было еще раз съездить в Гильф-эль-Кебир, чтобы свернуть наш последний лагерь на плато Увейнат. Жизнь там закончилась. Думал, между нами больше ничего не произойдет:

мы не были любовниками уже больше года. Где-то в Европе назревала война, как рука, которая лезет в чердачное окно. И она, и я отступили за стены собственных привычек – в кажущиеся невинными приятельские отношения. Встречались очень редко.

В конце лета 1939 года я запланировал наведаться в Гильф-эль-Кебир с Гоугом, чтобы свернуть базовый лагерь. Гоуг должен был уехать на грузовике со всем имуществом, а Клифтон обещал прилететь и забрать меня. После чего мы расстанемся и навсегда положим конец нехитрому любовному треугольнику.

Услышав гул самолета и увидев его вдалеке, я спустился по скалам к основанию плато. Клифтон всегда отличался решительностью.

Небольшой грузовой самолет приземляется необычно, скользя от линии горизонта. Слегка касается крыльями света пустыни, потом звук замирает, и машина плывет к земле. Я никогда не понимал до конца, как работают самолеты. Видел, как они приближались ко мне в пустыне, и всегда выходил из палатки, испытывая некоторый страх. Они погружают крылья в тот свет, а затем входят в эту тишину.

«Мотылек» плавно скользил над плато. Я размахивал куском синего брезента. Клифтон сбавил скорость и пролетел надо мной – так низко, что с кустов акации посыпались листья. Затем самолет дал вираж влево, развернулся, выровнялся и пошел прямо на меня. Вдруг его резко бросило вниз, и он врезался в песок. Я побежал со всех ног.

Думал, что Джеффри был один. Он должен был прилететь, чтобы забрать меня из пустыни на втором месте в кабине. Но когда прибежал, чтобы вытащить его, увидел рядом с ним ее. А он был мертв. Она пыталась шевелить нижней частью тела, глядя прямо перед собой. Через открытое окно кабины песок насыпался на ее колени. Видимых повреждений, травм, даже синяков не было. Ее левая рука протянулась вперед, чтобы смягчить удар при крушении. Я вытащил Кэтрин из смятого самолета, который Клифтон называл «Медвежонок Руперт», и понес к пещерам в скалах. В Пещеру Пловцов, где были рисунки. По карте широта 23 градуса 30 минут, долгота 25 градусов 15 минут. Вечером похоронил Джеффри Клифтона.

Был ли я проклятием для них? Для нее? Для Мэдокса? Для пустыни, на которую с силой обрушилась новая война, которую бомбили, словно это был просто песок? Варвары против варваров. Обе армии прошли пустыню, так и не поняв, что же она собой являет. *Пустыни Ливии*. Отбросьте политику, и это будут самые сладкие слова, которые я знаю. Ливия. Сексуальное, протяжное слово, как затворенный колодец. Помните, что писала Дидо о

пустынях Ливии?

«Человек будет, как водные реки в сухом месте…»

Я не верю, что пришел на проклятую землю или был пойман в ловушку зловещей ситуации. Каждая находка в пустыне и каждая встреча были подарком: наскальные рисунки в Пещере Пловцов, пение на пару с Мэдоксом во время экспедиций, появление Кэтрин – и то, как я шел к ней по красному блестящему бетонному полу и становился на колени, припав головой к ее животу, словно маленький мальчик; и племя, у которого был склад оружия и которое вылечило меня, и даже мы четверо: Хана, и вы, и сапер.

Я лишился всего, что любил и ценил.

Но остался с ней. У нее были сломаны три ребра. Я ждал, что вот-вот дрогнут ресницы, пошевелится разбитое запястье, заговорит неподвижный рот.

– Почему ты так меня ненавидишь? – прошептала она. – Ты убил во мне все.

– Кэтрин, ты не…

– Обними меня. Прекрати объяснения. Ты неисправим.

Взгляд был пристальным. Она не отпускала меня. Я буду последним, кого она видит. Шакал в пещере, который защищает женщину – и никогда не предаст ее.

– Есть сотни богов, ассоциирующихся с животными, – говорю я ей. – Есть и связанные с шакалами: Анубис, Дуамутеф, Вепвавет. Эти существа ведут нас в загробную жизнь – так же, как я незримо сопровождал тебя, когда мы еще не встретились. Был с тобой на всех вечеринках в Оксфорде и Лондоне, наблюдал. Сидел напротив, когда ты делала уроки и держала в руках большой карандаш. Когда встретила Джеффри Клифтона в два часа ночи в библиотеке дискуссионного общества Оксфордского университета. Пальто валялись на полу, а ты, босая, осторожно перешагивала через них, словно цапля. Он наблюдает за тобой, но я тоже наблюдаю, хотя ты и не видишь, игнорируешь мое присутствие. Ты в таком возрасте, когда замечают только красивых мужчин. Еще не видишь тех, кто не находится в сфере твоей благосклонности. Шакала не так уж часто используют в Оксфорде в качестве охраны. Я же отношусь к тем, кто постится, пока не увидит то, что ему нужно. Ты стоишь у стены с книгами. Левой рукой держишься за длинную нитку жемчуга, которая свисает с шеи. Босыми ногами нащупываешь путь. Что-то ищешь. В те дни ты была немного полнее, хотя достаточно красива для университетской жизни.

Нас двое в библиотеке, но ты нашла только Джеффри

Клифтона. Это будет бурный роман. Он всегда выбирает работу с археологами где-то на севере Африки. «Компания одержимых чудаков, в которой мне предстоит работать», – говорит Джеффри. Мать в восторге – еще бы, тебе предстоит такое приключение!

Но дух шакала, который был «открывателем путей», имя которому Вепвавет или Алмаши, находился в той комнате вместе с вами. Сложив руки, наблюдаю, как ты пытаешься вести светскую беседу, что нелегко, ибо вы оба выпили. Но самое чудесное то, что даже в таком состоянии, в два часа ночи, вы почувствовали необходимость и удовольствие в общении друг с другом. Каждый из вас мог прийти на ту вечеринку с кем-то другим, переспать в ту ночь с кем-то другим, но оба нашли свою судьбу здесь.

В три часа ночи ты чувствуешь, что пора уходить, но не можешь найти туфлю. Одна, розовая, в руке. Я вижу вторую рядом и поднимаю ее. Помню их блеск. Это явно любимые туфли, сохранившие очертания пальцев. «Спасибо», – говоришь ты, принимая ее, и уходишь, даже не взглянув на меня.

Я верю: когда мы встречаем тех, в кого влюбляемся, есть ниша в душе, в которой сидит историк, немного педант, который воображает или вспоминает эту встречу; в иное время человек проходит мимо, не заметив. Так и Клифтон, возможно, год назад открывал перед тобой дверцу автомашины и не подозревал, что ты – его судьба. Но для того чтобы влюбиться, все части тела должны быть готовы принять другого человека, все атомы должны двигаться в одном направлении.

Я провел годы в пустыне, благодаря чему уверовал в такие вещи. Это место между прошлым и будущим, где время и вода становятся призрачными, а рядом с вами – шакал, который одним глазом смотрит в прошлое, другим – на путь, который вы собираетесь предпринять. В его пасти – кусочки прошлого, которые он преподносит, и, когда складывается полная картина, оказывается, что вы давно уже это знаете.

В ее глазах сквозит ужасная усталость, Когда я вытащил Кэтрин из самолета, она пыталась понять, что произошло. Сейчас взгляд обращен внутрь, будто она охраняет что-то в себе.

Я придвинулся к ней и встал на колени. Наклонившись, провел языком по голубому веку, почувствовав соленый вкус цветочной пыльцы. Или слез? Потом прошелся языком по ее губам, по другому веку, ощущая пористость кожи, стирая голубизну. Когда отодвинулся, в ее взгляде мелькнуло что-то белое. Раздвинул губы и пальцами разжал зубы – язык «запал», я вытащил его. Но было слишком поздно: она ощущала дыхание смерти. Я наклонился к ней и языком перенес синюю пыльцу на ее язык. Мы когда-то делали так, когда занимались любовью. На

этот раз ничего не произошло. Я разогнулся, набрал воздуха и снова сделал то же. Когда снова прикоснулся к ее языку, почувствовал легкое дрожание.

А затем из нее вырвался ужасный последний выдох застоявшегося воздуха, сильный и близкий. По телу пробежала дрожь, словно через него пропустили электрический ток. Оно сползло к стене с рисунками. Дух смерти вошел в нее, последним выдохом она попрощалась со мной. В пещере становилось темнее.

Я знаю демонические ритуалы. В школе научили, как обращаться с демонами. Мне рассказывали о красивой соблазнительнице, которая приходит в спальню к мужчине. И если он знает, что делать в таких случаях, должен потребовать, чтобы она повернулась спиной, поскольку у демонов и ведьм нет спины, а есть только то, что они хотят показать. Что я сделал? Какого зверя вселил в нее? Думаю, разговаривал с ней больше часа. Был ли я ее демоном-любовником? Был ли демоном – другом Мэдокса? Или демоном этой страны, превращенной в место войны?

Умирать нужно в святых местах. Это один из секретов, которые познаешь в пустыне. Поэтому Мэдокс пошел в церковь в Сомерсете, в место, которое потеряло свою святость, и совершил то, что, по глубокому убеждению, было святым действом.

Когда я перевернул ее, тело было покрыто ярким пигментом. Травы, и камни, и свет, и пепел от веток акации сделали ее бессмертной. Тело прислонилось к священным краскам. Только синие глаза стерлись, стали безымянными чистым листом, на котором пока ничего не изображено: не нанесены озера, нет темноты гор, которые раскинулись на севере от Борку-Эннеди-Тибести, нет водного веера Нила, вложенного в открытую ладонь Александрии.

Нет и названий племен, странников и кочевников, которые бредут в монотонности пустыни и видят яркость и веру; там любой камень, или найденная металлическая коробка, или кость становятся священными предметами. Вот в чем величие той страны, в которую моя любимая сейчас входит и становится ее частью. Мы умираем, вбирая в себя все богатство любовников: вкусовых ощущений, которые испытали, тел, в которые погружались и из которых выплывали, словно из рек мудрости, характеров, на которые взбирались, как на деревья, страхов, в которых прятались, как в пещерах. Я хочу, чтобы на моем теле были все эти отметки, когда умру. Верю в эту картографию, выполненную самой природой, а не в гроздья имен на карте, словно названия универмагов, данные в честь их богатых владельцев. Мы – истории общины, книги общины. Нами не

владеют, и мы не моногамны во вкусах и опыте. Все, чего я хотел, – это пройти по такой земле, где нет карт.

Я понес Кэтрин Клифтон в пустыню, где есть книга общины лунного света. Мы – в голосе колодцев. Во дворце ветров.

Голова Алмаши склонилась влево, уставившись в пустоту – может быть, на колени Караваджо.

– Еще морфия?

– Нет.

– Вам что-нибудь нужно?

– Нет. Ничего.

X. Август

Караваджо спустился в полумраке по ступенькам на кухню. На столе лежали сельдерей и репа с прилипшими комьями земли. Хана возилась у камина, разводя огонь, и не слышала, как он вошел.

За те дни, которые он провел на вилле, его тело расслабилось и освободилось от напряжения, от этого он казался крупнее, более раскованным и вальяжным. Появились заторможенность, сонливость в жестах. Только походка осталась легкой и неслышной. Сейчас он почувствовал неловкость из-за того, что стоит у Ханы за спиной, и намеренно с грохотом подвинул стул, чтобы девушка услышала, что в кухне есть еще человек.

– Привет, Дэвид.

Он заслоняется от яркого света огня, словно от солнца. Вероятно, слишком долго пробыл в пустыне с английским пациентом.

– Как он?

– Уснул. Выговорился и уснул.

– Твои подозрения оправдались?

– Отличный парень. Пусть живет.

– Я так и думала. Мы с Кипом уверены, что он англичанин. Кип считает, что все лучшие и умнейшие люди немного странные. Эксцентричные. Он работал с одним из таких.

– Кип и сам не без странностей. Между прочим, где он?

– На террасе. Что-то замышляет к моему дню рождения и не хочет, чтобы я видела заранее.

Хана поднялась от каминной решетки, вытирая одну руку о предплечье другой.

– Ради дня рождения хочу рассказать тебе маленькую историю, – сказал он.

Она посмотрела на него.

– Только не о Патрике, ладно?

– Немножко о Патрике, но больше о тебе самой.

– Я все еще не могу спокойно слушать о нем, Дэвид.

– Когда отцы умирают, уходят из мира живых, это естественно. А мы все равно продолжаем их любить – как можем. Ты не в силах выбросить его из своего сердца. И не в силах стереть память о нем в глубине души…

– Давай поговорим, когда пройдет действие морфия.

Она подошла, положила руки ему на плечи, подтянулась и поцеловала в щеку. «Дядюшка» Дэвид крепко обнял ее, царапая кожу щетиной, словно песком. Ей нравилось это в нем теперь;

раньше он слишком много внимания уделял внешности. Патрик обычно подсмеивался над его ровным пробором. «Как Йонг-стрит в полночь», – говаривал он. Раньше в ее присутствии Караваджо двигался как бог, и выглядел недоступным. Сейчас, немного располневший, с сединой в коротко остриженных волосах, казался более земным и близким.

Кип взял на себя приготовление ужина. Караваджо считал это пустой затеей – слишком много затрат на один раз для троих. Кип раздобыл овощей и, слегка проварив их, сделал легкий суп. Это была не такая еда, какую хотелось бы Караваджо, когда он почти весь день провел у пациента наверху, слушая его исповедь. Он открыл шкафчик под раковиной. Там лежал кусок сушеного мяса, завернутый во влажную тряпку. Отрезав кусочек, положил в карман.

– Знаешь, я могу вылечить тебя от привязанности к морфию. Как медсестра.

– Тебя окружают сумасшедшие…

– Кажется, мы все такие.

Когда Кип позвал, они вышли из кухни на террасу и увидели, что по кругу низкой каменной балюстрады горят огни.

Это походило на гирлянду электрических свечек, которые можно было найти в пыльных церквах, и Караваджо подумал, что, вынося их из часовни, сапер зашел слишком далеко, даже учитывая день рождения Ханы.

Девушка медленно пошла вперед, бесшумно ступая по каменному полу, закрыв лицо руками. Ни ветерка. Бедра и икры двигаются под тканью платья, будто под тонким слоем воды.

– Везде, где я работал, собирал мертвые раковины[93], – сказал сапер.

Сначала они не поняли, но когда Караваджо наклонился над трепещущими огоньками, то увидел, что это и впрямь раковины улиток, наполненные маслом. Их было более сорока.

– Сорок пять, – гордо заявил Кип, – по количеству лет, спустившихся на Землю в этом столетии. У меня на родине в день рождения человека отмечают не только его возраст, но и «возраст» текущего столетия.

Хана прошла вдоль огней, держа руки в карманах, что особенно нравилось Кипу. Походка казалась такой спокойной, а фигура девушки – такой расслабленной, как будто этим вечером руки ей были не нужны, и она отправила их отдыхать, а сама просто двигалась, не помышляя об их отсутствии.

Караваджо перевел взгляд на стол и удивился, увидев три бутылки красного вина. Подошел ближе, прочитал этикетки и

восхищенно покрутил головой. Неплохое вино. Он знал, что сапер не будет пить ни капли. Все бутылки уже были открыты. Возможно, Кип нашел в библиотеке книгу по этикету и решил соблюсти западные правила хорошего тона.

Потом он увидел кукурузу, мясо и картофель.

Хана взяла Кипа под руку, и вместе они подошли к столу.

Ели и пили, ощущая неожиданную густоту вина и вкус мяса на языке. Вскоре начали провозглашать тосты за сапера – «великого снабженца»[94], за английского пациента. Потом пили за здоровье друг друга. Молодой сикх чокался с ними, протягивая стакан с водой. Именно тогда и начал рассказывать о себе. Караваджо вызвал его на откровенность, а сам не всегда слушал – порой вскакивал, топтался вокруг стола, довольный происходящим. Он хотел, чтобы эти двое поженились, хотел сказать им об этом, но, похоже, у них уже сложились свои отношения, которые устраивали, а для Караваджо казались странными. Ну что еще оставалось делать в такой ситуации? Он снова сел.

Время от времени огонь то в одной, то в другой раковинке потухал. Они потребляли слишком много топлива, потому что оно выгорало очень быстро. Кип вставал и наполнял их розовым парафином.

– Мы должны поддерживать огонь до полуночи.

Они поговорили о войне, которая ушла уже далеко от Европы.

– Когда закончится война с Японией, все наконец разъедутся по домам, – сказал Кип.

– А куда поедешь ты? – поинтересовался Караваджо.

Сапер покрутил головой, словно кивая, и улыбнулся. И тогда Караваджо начал говорить, обращаясь в основном к нему.

Собака осторожно подошла к столу и положила голову на колени Караваджо. Сапер расспрашивал о Торонто, будто это был город чудес. Снег, в котором он утопал, мороз, который сковывал гавань льдом, паромы летом, где люди слушали концерты. Но больше всего в этих рассказах ему хотелось нащупать разгадку к характеру Ханы. А она держала ушки на макушке и постоянно уводила Караваджо от тех историй, которые были связаны с определенными моментами из ее жизни. Она хотела, чтобы Кип знал ее такой, какая она сейчас, – более опытной, или более участливой, или более жесткой, или более одержимой, чем та девочка, которая была когда-то. Основами ее жизни выступали мать Элис, отец Патрик, мачеха Клара и Караваджо. Хана уже называла Кипу эти имена, как будто они были ее удостоверениями личности или приданым. Они не имели изъянов

и не подлежали обсуждению. Их слова не подвергались сомнению.

А сейчас, потому что был немного пьян, Караваджо рассказывал историю о том, как Хана исполняла «Марсельезу».

– Я слышал эту песню, – сказал Кип и попытался речитативом, не без акцента, продекламировать несколько строк.

– Нет, ее надо петь, – возразила Хана. – Петь стоя.

Она встала, сняла теннисные туфли и забралась на стол. Перед ее босыми ногами горели, затухая, четыре раковины.

– Я спою для тебя. Вот как нужно ее петь, Кип.

И она запела, вынув руки из карманов. Голос лился над умирающими огоньками в раковинах, мимо квадрата света из окна английского пациента, в темноту неба, смешанную с силуэтами кипарисов.

Кип слышал эту песню в лагерях, когда солдаты группами пели ее при особых обстоятельствах, например, перед началом импровизированного футбольного матча.

Караваджо тоже слышал ее в годы войны, но ему не нравилось исполнение. Память сохранила тот вечер, когда Хана пела «Марсельезу» много лет назад. Сейчас он с удовольствием слушал, как она пела ее снова.

Но – уже по-другому. В ее пении не ощущалось страсти шестнадцатилетней девочки, но виделись робкие щупальца света, простирающиеся от застолья в сомкнувшуюся по кругу тень. Песня словно была в рубцах и шрамах – будто уже потеряла надежду на то, о чем поется. В ней звучал опыт всех пяти лет, которые предшествовали этому вечеру в 1945 году двадцатого столетия, когда Хане исполнился двадцать один год. Это был голос усталого путника, одинокого перед испытаниями. Новый Завет. В песне не чувствовалось уверенности. Лишь один голос встает против сил власти. Все разрушено вокруг, остался только он. Песня огоньков, горящих в раковинах садовых улиток. Караваджо понял: Хана пела о том, что было в сердце сапера.

По ночам в палатке они иногда молчали, а иногда разговаривали. Не знали, что произойдет, чье прошлое выплывет из памяти и обнажится – или каждый будет вспоминать о своем. Он чувствовал близость ее тела и ее шепот, когда головы покоились на надувной подушке. Кип настоял на том, чтобы пользоваться этим западным изобретением, потому что был просто очарован им, и каждое утро послушно выпускал воздух и складывал подушку втрое. Привык выполнять эту процедуру и делал ее на всем пути от юга к северу Италии.

В палатке Кип кладет голову девушке на грудь. Он расслабляется, когда Хана почесывает его кожу. Или когда его

губы сливаются с ее, рука лежит у него на животе.

Она напевает или мурлычет про себя. В темноте палатки молодой мужчина кажется наполовину птицей: в его теле есть легкость пера, на запястье – холодный металл браслета. Окольцованная, но свободная птица.

В темноте он двигается медленно, не так, как днем, пробегая взглядом по всему случайному и временному. По ночам его охватывает оцепенение. Не видя глаз, девушка не может достучаться до него и тыкается во всех направлениях, как слепой котенок. Ей хочется понять, узнать, чем он дышит, – словно увидеть сердце и ребра сквозь кожу. Он выразил ее печаль, как никто другой. Теперь она знает странную любовь, которую сикх испытывает к старшему брату, постоянно попадающему в опасные ситуации. «Тяга к странствиям у нас в крови. Вот поэтому ему так трудно в тюрьме, и он может убить себя, только чтобы вырваться оттуда».

Разговаривая по ночам, они путешествуют в его страну пяти рек[95]. Сатледж, Джелам, Рави, Чинаб, Биас[96]. Он ведет ее в гурдвару[97], сняв с нее туфли, и наблюдает, как девушка омывает ноги, мочит голову. Этот великий храм, в который они пришли, был возведен в 1601 году, осквернен в 1757-м – и сразу же построен заново. В 1830 году его украсили золотом и мрамором.

«Если я приведу тебя сюда на рассвете, над водой все будет окутано туманом. Потом он поднимается вверх, открывая храм свету утренней зари. Ты услышишь гимны святым – Рамананду, Напаку[98] и Кабиру[99]. Поют в центре храма. Ты слышишь песни, вдыхаешь запахи фруктов, доносящиеся из окружающих садов – гранаты, апельсины. Храм – убежище в потоке жизни, доступное каждому. Корабль, который преодолел океан невежества».

Они проходят в ночи через серебряную дверь к алтарю, где под балдахином из парчи лежит священная книга «Грантх Сахиб»[100]. Рейджи поют тексты из этой книги. Играют музыканты. Поют с четырех утра до одиннадцати вечера. Книгу открывают наугад, выбирают строку, с которой можно начать, – и в течение трех часов до того, как туман поднимется и откроет Золотой Храм, голоса поющих сплетаются и расплетаются с голосами не прерывающих чтения.

Кип ведет ее дальше, где у пруда рядом с деревом расположена гробница, в которой похоронен Баба Гуджхаджи, первый маханта[101] этого храма. Дерево суеверий, которому четыреста пятьдесят лет.

«Моя мать приходила сюда, чтобы привязать ленточку на ветку и попросить у дерева сына, а когда родился мой брат, пришла снова, чтобы оно благословило ее на второго. По всему

Пенджабу растут священные деревья и текут волшебные реки».

Хана молчит. Он понимает, что в ней уже ничего не осталось после потери ребенка и веры. Ощущает всю глубину пугающей черной пропасти в ее душе. Старается вызволить ее из долгих ночей печали: сначала не стало ребенка, потом – отца.

– Я тоже потерял человека, который был мне дорог, как отец.

Но она знает, что мужчина, находящийся сейчас рядом с ней, – заговоренный. Он вырос в другом мире, и ему легко будет обрести свою веру и найти замену потере, о которой говорит. Есть люди, которых разрушает несправедливость, а есть те, что сохраняют стойкость. Если спросить его о жизни, Кип скажет, что у него все отлично, – несмотря на то что брат томится в тюрьме, друзья погибли, а сам он смертельно рискует каждый день.

Такие люди бывают удивительно добрыми, но и ужасающе непробиваемыми одновременно. Кип мог целый день находиться в яме, обезвреживая бомбу, которая способна убить его в любую минуту, мог вернуться домой опечаленным, похоронив друга, но какие бы испытания ни настигали, у него всегда есть решение и выход. А у нее не было – Хана ничего не видела в будущем. Перед ним лежали разнообразные карты судьбы, и в храме Амритсара[102] приветствовали все вероисповедания и классы, и все ели вместе[103]. И ей бы разрешили положить деньги или цветок на простыню, расстеленную на полу, а потом присоединиться к их протяжному пению.

Она бы очень хотела этого, ибо истинной природой, подлинной сущностью ее натуры была печаль.

Кип разрешил бы войти в любые из тринадцати ворот его характера, но она знала, что в случае опасности никогда не попросит ее помощи, напротив: создаст вокруг себя пространство, запретную зону – и не допустит туда никого. Таков был его талант.

– Сикхи, – говорил он, – отлично разбираются в технике. У нас есть таинственная близость… как это сказать?

– Слабость?

– Да, слабость к технике.

Он мог часами находиться в их обществе и одновременно быть затерянным в невообразимой дали – благодаря ритмичной музыке из своего детекторного приемника, которая была словно непроницаемый шлем, закрывающий наглухо и уши, и лоб, и волосы до самой шеи. Хана не верила, что может полностью раскрыться и быть его возлюбленной до конца жизни. Он двигался сквозь мир со скоростью, которая всегда позволяла найти замену потере. Такова была его истинная природа, сущность натуры. И кто бы имел право осуждать за это?

Каждый день Кип появлялся из палатки с мешком, переброшенным через левое плечо, и отправлялся из виллы Сан-Джироламо. Каждое утро она видела его, ощущала, как он радуется миру – возможно, в последний раз. Через несколько минут он взглянет вверх на покалеченные снарядами кипарисы со сбитыми средними ветвями. Возможно, так же шел по своей дороге Плиний… или Стендаль, потому что события романа «Пармская обитель» происходили в этой части мира.

Кип посматривал вверх, на арку высоких раненых деревьев. Впереди расстилалась средневековая дорога, по которой шел не историк и не писатель, не астролог и не монах, а он – молодой мужчина самой странной профессии, которую изобрело человечество в этом веке: сапер, военный инженер, обнаруживающий и обезвреживающий мины.

Каждое утро он появлялся из палатки, умывался и приводил в порядок одежду в саду, а потом покидал виллу, даже не заходя в дом, – махнет лишь рукой, если заметит ее; будто слова, общение рассеивают, смущают, отвлекают, мешают слиться с машиной, которую предстоит понять. Позднее она видит, как он обезвреживает дорогу в сорока метрах от дома.

В такой момент для него никого не существовало. Крыло подъемного моста взлетало к надвратной башне после проезда рыцаря, и сапер оставался лицом к лицу с миром – в единении со своим строгим талантом, не допускающим отклонений или снисхождения.

В Сиене[104] Хана видела фреску, на которой был изображен средневековый город. В нескольких десятках сантиметров от стен краски осыпались, так что даже искусство не гарантировало безопасности в окрестных садах и полях путешественнику, покидающему замок. Она чувствует: именно там Кип и проводит целые дни. Каждое утро спускается с нарисованной сцены в хаос отвесных обрывов и утесов. Рыцарь. Святой воин.

Она еще видит, как его форма цвета хаки мелькает между деревьями. Англичанин назвал его *фато профугус* – «бегущий от судьбы». Догадывается: Кип чувствует радость и удовольствие от того, что может начинать эти дни, подняв голову, посматривая на верхушки деревьев.

В начале октября 1943 года из саперных подразделений, которые уже работали в Италии, отобрали лучших специалистов и перебросили по воздуху в Неаполь. Кип был среди тех тридцати, которых доставили в этот город-ловушку.

Отступление немцев в итальянской кампании было самым ужасающим за всю историю войн. Наступление войск союзников, на которое по планам должен был уйти месяц, продолжалось

целый год. Их путь был опален огнем взрывов. Во время передислокации армий саперы сидели на крыльях автомобилей и внимательно осматривали поверхность земли, замечая любые неровности и разрыхления почвы: там могли быть мины. Продвижение шло невероятно медленно. Каждая воюющая сторона считала своим долгом заложить мины. На севере, в горах, партизаны из отрядов коммунистов-гарибальдийцев, носившие красные шейные платки, тоже опоясывали дороги проводами, и снаряды детонировали в момент, когда по ним проезжали немецкие машины.

Трудно представить масштабы минной войны в Италии и Северной Африке. У слияния дорог на Кисмайо и Афмадоу[105] было найдено 260 мин. В районе моста через реку Омо[106] – 300. 30 июня 1941 года южноафриканские саперы заложили на подступах к Мерса-Матруху 2700 снарядов типа «Mark 1b»; через четыре месяца в той же местности британские саперы сняли 7806 мин и перевезли их в разные точки для повторного использования.

Мины делали из чего попало. Сорокасантиметровые оцинкованные трубки подрывники заполняли взрывчатым веществом и расставляли по дорогам, где могла проходить военная техника. В домах их прятали в деревянных коробках. Трубчатые мины заполняли гелигнитом, отходами металла и гвоздями. Южноафриканские саперы помещали железо и гелигнит в шестнадцатилитровые канистры из-под горючего, которыми уничтожались бронемашины.

В городах тоже было несладко. Едва обученные саперные подразделения были срочно привезены морем из Каира и Александрии. Восемнадцатый дивизион прославился тем, что в течение трех недель в октябре 1941 года обезвредил 1403 бомбы высокой взрывной силы.

В Италии положение было намного хуже, чем в Африке. Взрыватели с часовым механизмом вели себя очень странно, как в ночном кошмаре; пружинные механизмы отличались от тех, которые делали немцы до этого и на которых обучались специалисты союзников. Когда саперы вступали в города, они шли по улицам, вдоль которых свисали мертвые тела с деревьев, балконов, из окон зданий. Немцы наносили ответный мстительный удар, убивая по десять итальянцев за каждого погибшего немца. Некоторые висящие трупы тоже были заминированы и должны были взрываться, уничтожая прикоснувшихся к ним людей.

Немцы сдали Неаполь 1 октября 1943 года. Во время атак союзников – месяцем раньше, в сентябре, – сотни жителей

переселились в пещеры за городом. Отступая, немцы разбомбили входы в пещеры, оставив людей под землей. Среди тех, кто был в пещерах, началась эпидемия тифа. А суденышки в гавани были спешно заминированы под водой.

Тридцать саперов вошли в город-ловушку. Стены общественных зданий были напичканы бомбами замедленного действия. Почти каждое транспортное средство выглядело ненадежным. Саперы с подозрением относились к любому предмету, который находился в осматриваемой комнате. Не доверяли предметам, разложенным на столе, как бы заманчиво или, наоборот, отвратительно они ни выглядели.

Неаполь продолжал оставаться военной зоной еще шесть недель, и все это время Кип был там. Через две недели обнаружили жителей в пещерах. Лица были черными от грязи и тифа. Цепочки больных, тянущиеся в госпитали, напоминали шествие призраков.

Четырьмя днями позже взорвалось здание центральной почты, раненых и погибших было 72 человека. В городских архивах сгорела богатейшая в Европе коллекция средневековых хроник.

Двадцатого октября, за три дня до того, как должны были запустить в действие восстановленную электростанцию, в руки союзников добровольно сдался германский офицер, который рассказал, что в районе порта установлены тысячи бомб, связанные с пока обесточенной электрической системой. При подаче напряжения город взлетит на воздух. Его допрашивали более семи раз с разной степенью пристрастия, и все-таки ответственные лица не до конца были уверены в правдивости показаний. Тем временем все из города были эвакуированы. Полуживые дети и старики, беременные женщины, те, кого вытащили из пещер, животные, автомобили, раненые солдаты из госпиталей, пациенты сумасшедшего дома, священники, монахи и монахини. К вечеру 22 октября 1943 года в городе осталось только двенадцать саперов.

Электричество должны были включить в три часа следующего дня. Никто из саперов раньше не оказывался в абсолютно пустом городе – это были самые странные и волнующие моменты их жизни.

По вечерам над Тосканой прокатываются грозы. Молния может ударить в шпиль здания или в металлический предмет, выступающий над поверхностью земли. Около семи вечера Кип обычно возвращается на виллу по желтой дороге, обсаженной кипарисами. Как раз в это время и начинается гроза – согласно

средневековому опыту.

Кажется, ему нравятся такие устойчивые во времени события, к которым можно привыкнуть. Хана и Караваджо замечают фигуру еще издали, когда он останавливается, чтобы посмотреть на долину и определить, настигнет ли дождь. Они возвращаются в дом. Кип продолжает восхождение по дороге, которая медленно сворачивает направо, потом столь же неторопливо – налево. Слышен хруст ботинок по гравию. Порывы ветра догоняют его и бьют по кипарисам так, что те склоняются, дотрагиваясь веточками до рукавов рубашки.

Следующие десять минут он идет, не будучи уверенным в том, что останется сухим. Услышал дождь до того, как почувствовал на себе влагу, – звук капель, падающих на сухую траву, на листья оливковых деревьев. Но пока дует свежий ветер с холмов, предвестник грозы.

Если дождь обрушивается прежде, чем он дошагает до виллы, Кип продолжает идти с той же скоростью, накрыв себя и свой мешок прорезиненной плащ-накидкой.

Уже очутившись в палатке, слышит раскаты грома. Резкий треск над головой, потом удаляющийся в горы звук, похожий на грохот колес телеги. Внезапно по стенке палатки проскальзывает отблеск молнии, словно полоска солнечного света. Ему всегда кажется, что она ярче солнца, как вспышка фосфора, нечто искусственное, похожее на слово, которое он слышал на занятиях и по радио, – «ядерный». В палатке Кип раскручивает промокший головной убор, сушит волосы и заматывает на голову новый тюрбан.

Гроза идет со стороны Пьемонта[107] к югу и на восток.

Молнии падают на пирамидальные крыши маленьких альпийских часовен, на стенах которых высвечиваются картины, изображающие остановки Христа на крестном пути или таинства молитвы по четкам. В городках Варезе и Варалло фигуры терракотового цвета больше человеческого роста, вырезанные в 1600-е годы, на мгновения оживают, представляя библейские сцены. Связанные руки истерзанного Христа оттянуты назад, плеть опускается на его тело, лает собака; в другой часовне трое римских солдат поднимают распятие выше, к нарисованным облакам.

Вилла Сан-Джироламо, простоявшая там уже не одно столетие, тоже принимает на себя блеск молнии: темные коридоры, комната английского пациента, кухня, где Хана разводит огонь, разрушенная снарядом часовня – все внезапно озаряется, не оставляя теней. Кип уверенно идет под деревьями сада в грозу: опасность быть убитым молнией трогательно мала

по сравнению с той, которой он подвергается каждый день. Наивные католические образы из храмов на склонах холмов все еще с ним в полумраке, когда он считает секунды между ударами молнии и грома. Возможно, эта вилла тоже похожа на картину, освещаемую грозовыми вспышками, но это – живая картина: четыре человека в абсолютно разных фазах личных путей от начала к концу земного срока, по прихоти судьбы оказавшиеся вместе, считают эту войну нелепостью.

Перед двенадцатью саперами стояла задача прочесать город. Всю ночь они вламывались в закрытые и открытые подвалы, спускались в канализационные люки в поисках проводов, ведущих к взрывателям, которые могли быть связаны с центральными генераторами. Все двенадцать должны закончить свое дело и уйти в два часа – за час до того, как включат электричество.

Сейчас эта дюжина владеет городом. Каждый – в своем районе. Один – у генератора. Другой – у водохранилища, ныряет раз за разом к плотине: эксперты почти согласились между собой в оценке тяжести разрушений, которые могут быть вызваны внезапным наводнением, если взорвется дамба. Тишина пугала и лишала спокойствия. Из живого мира они слышали лишь лай собак, своевольно оставшихся на улицах и во дворах, да пение птиц, которое доносилось из окон отдельных домов. Когда придет время, Кип войдет в одну из комнат с птицей. Хоть какое-то живое существо в этом вакууме. Он проходит мимо Национального археологического музея, где находятся остатки Помпеи и Геркуланума. Видел там древнюю собаку, замурованную в окаменевшем белом вулканическом пепле.

К левому предплечью привязан саперный фонарь, который включен, и это единственный свет на Страда Карбонара. Он устал от этого ночного поиска, но теперь оставалось немного. У каждого сапера есть радиофон, но они договорились пользоваться им только в экстренных случаях. Больше всего Кипа утомляет тишина в пустых дворах и молчаливые сухие фонтаны.

В час дня направляется к церкви Сан-Джованни, где, как он знает, есть часовня Молитвы по Четкам. Несколько суток назад, когда молнии то и дело наполняли темный город ярким светом, он проходил через нее и видел огромные фигуры, как живые. Ангел и женщина в спальне. После вспышки молнии темнота в очередной раз скрыла эту сцену, Кип посидел на скамье, ожидая нового открытия, но его не последовало.

Сейчас он проникает в тот угол церкви, который ближе к терракотовым фигурам; их лица имеют цвет кожи белого

человека. Сцена изображает женщину, беседующую в спальне с ангелом. Из-под просторного голубого чепца выбиваются темные локоны, пальцы левой руки приложены к груди почти под горлом. Приблизившись к фигурам, Кип осознает, что они значительно больше человеческого роста. Головой достает только до плеча женщины, сидящей на кровати. Поднятая рука ангела простирается едва ли не до пятиметровой высоты. И все же это – его компания. Обитаемое помещение, где он вступает в разговор с дивными созданиями, которые представляют сюжет о человечестве и небесах.

Стягивает мешок с плеча и смотрит на кровать. Он бы, право, полежал на ней, но смущает присутствие ангела. Кип обошел тело небесного посланца и заметил пыльные лампочки, прилаженные к его спине под темными крыльями; он знает, что не уснет спокойно в присутствии лампочек. Из-под кровати выглядывают три пары домашних тапочек, что не ускользнуло из замысла автора сцены.

Время около часа сорока минут.

Он расстилает плащ-накидку на полу, под голову кладет мешок, умяв его в форму, близкую к плоской подушке, и ложится на гладкость камня. В детстве в Лахоре всегда спал на коврике на полу спаленки. По правде говоря, и здесь, на Западе, так и не привык спать на кровати. Соломенный тюфяк и надувная подушка – вот постельные принадлежности в палатке на вилле Сан-Джироламо; а в Англии, у лорда Суффолка, он задыхался, утопая в плену мягких матрасов, и не мог заснуть, пока не вылезал оттуда и не ложился на ковре.

Он растягивается вдоль огромной кровати. Туфли тоже большего размера, чем у обычных людей. Такие, должно быть, носили мужеподобные амазонки. Над головой – правая рука женщины. Над ногами ангел. Скоро один из саперов подключит электричество к городской сети, и если Кирпалу Сингху суждено взорваться, он уйдет не один, а в компании женщины и ангела. Или они умрут, или будут жить вечно. Он больше ничего не в силах изменить. Всю ночь искал ящики с динамитом и часовые механизмы взрывателей. Или обломки стен сомкнутся над ним в безобразную пыльную кучу, или он пройдет по улицам города, освещенным электричеством. Как бы то ни было, сапер нашел эти две прекрасные фигуры, сделанные с любовью, навевающие мысль о прародителях, и может отдохнуть под аккомпанемент их безмолвной, беззвучной беседы.

Он заметил в лице ангела жесткость, которой раньше не ощущал. Обманывает белый цветок в руке ангела. На самом деле этот ангел – тоже воин. Подумав так, Кип закрыл глаза и отдался

власти сна.

Он спит, развалившись, со спокойной улыбкой на лице, словно поверив наконец, что может позволить себе такую роскошь. Ладонь левой руки лежит на каменном полу. Цвет тюрбана перекликается с цветом белого кружевного воротника на шее Девы Марии.

Маленький сапер-индиец в английской военной форме лежит у ее ног, рядом с тремя парами домашних туфель. Кажется, время здесь остановилось. Каждый выбрал удобную позицию, чтобы забыть о времени. Так другие будут вспоминать нас – улыбающихся, когда доверяем окружению. Две фигуры с Кипом у ног будто обсуждают его судьбу. Терракотовая рука поднята в жесте обещания большого будущего для этого солдата-иностранца, спящего, как ребенок. И все трое почти готовы прийти к решению и согласию.

Под тонким слоем пыли лицо ангела светится радостью. К спине приделаны шесть лампочек, двух из которых уже нет. Но, несмотря на это, происходит чудо: электричество подсвечивает крылья, так что их красный, синий и золотой цвета, словно позаимствованные у горчичных полей, оживают в этот послеполуденный час.

Где бы теперь ни находилась Хана, она чувствует, что Кип уйдет из ее жизни. Постоянно думает об этом.

Дорога, по которой он уходит от нее, началась, когда парень превратился в молчаливый камень. Хана хорошо помнит все детали того августовского дня: каким было небо, предметы, которые лежали на столе перед ней, надвигающаяся гроза.

Она узнает сапера в поле, видит, как он сдавил голову руками, но понимает, что это не от боли, а чтобы плотнее прижать наушники. Он в сотне метров, на нижнем поле, и вот она слышит его громкий крик. Впервые, как и остальные обитатели виллы: ведь до того дня он ни разу не позволил себе повысить голос.

Он падает на колено, словно хочет завязать шнурок. Некоторое время сидит так, потом медленно встает, зигзагами идет к палатке, входит и закрывает полог. Раздается сухой треск грома, и девушка видит, как посинели кисти и предплечья ее рук.

Кип появляется из палатки с автоматом. Решительно идет в здание виллы Сан-Джироламо, проносится мимо Ханы, словно металлический шарик, катящийся в лунку, устремляется в дверь, перепрыгивает через три ступеньки – тяжело дыша, стуча ботинками на лестнице, потом по коридору. Она сидит за столом

в кухне, перед ней книга, карандаш – все как бы застыло и потемнело в предгрозовом свете.

Он врывается в спальню пациента и останавливается у его кровати.

– Привет, сапер.

Он держит автомат на груди, ремень натянут через согнутую руку.

– Что там происходит?

Кип смотрит с осуждением, словно отделившись от этого мира; по смуглому лицу катятся слезы. Дернувшись, стреляет в старый фонтан на стене (гипс рассыпается по кровати), затем поворачивается и наводит автомат на англичанина. Начинает дрожать, потом пытается собраться.

– Опусти автомат, Кип.

Резко откидывается к стене и перестает дрожать. В воздухе все еще кружится пыль от выстрела.

– Все последние месяцы я сидел здесь, у вашей кровати, и слушал вас, дяденька. И в детстве делал то же самое, впитывая все, чему учили старшие, веря, что когда-нибудь смогу применить эти знания, слегка изменяя их или дополняя собственным опытом; затем передам их кому-то другому.

Я вырос в стране, где соблюдают традиции, позднее был вынужден гораздо чаще сталкиваться с традициями вашей страны – и привык к ним. Ваш хрупкий белый остров[108] своими традициями, манерами, книгами и логикой так или иначе изменил остальной мир. Вы хотите точного соблюдения правил поведения. Я знал: если возьму чашку не теми пальцами, меня прогонят. Если неправильно завяжу галстук, проигнорируют. Что дало вам такую силу? Может, корабли? А может, как говорил мой брат, то, что у вас были писаная история и печатные машины?

Сначала вы, затем американцы обратили нас в свою веру своими миссионерскими правилами. И солдаты-индийцы умирали как герои и могли считаться «полноценными». Вы ведете войны, словно играете в крикет. Как вам удалось одурачить нас и втянуть в это? Бог… послушайте, что вы сделали…

Он бросает автомат на кровать и подходит к англичанину. Детекторный приемник свисает с пояса. Отстегнув его, надевает наушники на обгоревшую голову пациента. Тот морщится от боли, но сапер не обращает внимания. Затем возвращается и берет автомат. Он видит Хану у двери.

Они сбросили бомбу, потом еще одну. Хиросима и Нагасаки.

Он поворачивает дуло к окну. Ястреб в небе над долиной как бы преднамеренно попадает в прицел его автомата.

Кип закрывает глаза, и перед ним встают азиатские улицы,

объятые огнем. Огонь катится по городу жарким ураганом, сжигая его, словно бумажный лист карты, испепеляя тела на своем пути, которые тенью исчезают в воздухе.

Он снова содрогается, будто в ознобе тропической лихорадки, от такого «мудрого достижения» Запада.

Наблюдает за английским пациентом, который внимательно слушает то, что говорят в наушниках. Прицел автомата движется по его носу, ниже, к адамову яблоку, несколько выше ключиц. Кип задерживает дыхание. Рука тверда, цель выверена точно.

Тогда англичанин переводит взгляд на него.

– Сапер.

В этот момент в комнате появляется Караваджо и направляется к ним, но приклад, летя по дуге, толкает его в грудь, как тяжелый удар лапы зверя. А потом, завершая движение, которому его обучили в казармах Индии и Англии, Кип снова берет в прицел шею обгоревшего человека.

– Кип, давай поговорим.

Но его лицо заострилось и затвердело. Сдерживая слезы и ужас, сапер глядит вокруг, на людей рядом, в другом свете. Наступит ночь, будет туман, но темные глаза молодого воина не выпустят нового обнаруженного врага из поля зрения.

– Мой брат говорил мне: «Никогда не забывай о Европе. Никогда не подставляй ей спину. Дилеры. Вербовщики. Картографы. Никогда не доверяй европейцам. Никогда не здоровайся с ними». Но мы… О, нас так легко увлечь! Мы поддались на ваши речи, награды и церемонии. Что я делаю последние годы? Отрезаю провода, обезвреживаю дьявольские штуки. Зачем? Чтобы это случилось?

– Что случилось? Господи, да скажи же нам наконец!

– Я оставлю радио, где вам будет преподан урок истории. Не двигайся, Караваджо. Все эти высокопарные речи королей, королев и президентов… абстрактные рассуждения о цивилизации и о коричневой чуме, которая ей якобы больше не угрожает. Послушайте, чем это пахнет. Послушайте радио и почувствуйте торжество в интонациях… В моей стране, когда отец нарушает справедливость, вы должны его убить.

– Ты не знаешь, кто и в чем сейчас конкретно виноват. Ты не должен осуждать этого мужчину. Разве ты знаешь доподлинно, кто он?

Сапер держит в прицеле автомата шею пациента, потом слегка приподнимает дуло – теперь оно направлено на глаза.

– Сделай это, Кип, – говорит Алмаши.

Взгляд сапера встречается со взглядом пациента в полутемной комнате, которая заполнилась событиями,

происходящими в мире.

Лежащий кивает.

– Сделай это, – спокойно повторяет он.

Кип разряжает автомат и ловит патрон, когда тот начинает падать. Потом бросает оружие на кровать, словно змею, у которой забрали яд. Боковым зрением видит Хану.

Обгоревший человек медленно стягивает наушники с черной головы и кладет перед собой. Потом поднимает левую руку, выдергивает слуховой аппарат и бросает на пол.

– Сделай это. Кип. Я ничего не хочу больше слышать.

Закрывает глаза и уплывает в темноту, подальше от этой комнаты.

Сапер прислоняется к стене, руки сложены, голова опущена. Караваджо слышит, как он дышит, быстро и тяжело; шум воздуха в ноздрях напоминает работу поршня.

– Он же не англичанин.

– Какая разница – американец или француз, мне наплевать. Когда начинаете бомбить желтую расу, вы англичане. У вас был король Леопольд в Бельгии, а теперь появился этот проклятый Гарри Трумэн в США. И всему вы научились у англичан.

– Нет. Он ни при чем. Это ошибка. Из всех людей он, возможно, единственный, кто тебя понимает.

– Он скажет, что и это не имеет значения, – говорит Хана.

Караваджо сидит на стуле. Ему вдруг приходит в голову мысль, что он всегда сидит на этом стуле. В комнате слышится скрежет детекторного приемника, голос диктора все еще что-то говорит. Дэвид не может повернуться и посмотреть на сапера или на расплывчатое пятно платья Ханы. Он знает, что молодой солдат прав. Они бы никогда не сбросили такую бомбу на белую нацию.

Сапер выходит из комнаты, оставляя Караваджо и девушку у кровати пациента – в мире, где он больше не будет их часовым.

«Когда пациент умрет, нам с Ханой придется вдвоем хоронить его».

«Предоставь мертвым погребать своих мертвецов»[109]. Он никогда до конца не понимал, что значит эта фраза, эти несколько бессердечных слов из главной священной книги белых людей.

Они похоронят все, кроме книги. Тело, простыни, его одежду, автомат. И скоро он останется вдвоем с Ханой. И причиной тому – новость, которую повторяют и обсуждают сейчас по радио. Ужасное событие, о котором сообщают на коротких волнах. Новая война. Смерть цивилизации.

Стоит тихая ночь. Он слышит отдаленные крики ночных птиц, приглушенные звуки крыльев. Кипарисы стоят молча – некому шуметь в листве. Безветрие. Кип лежит на спине, уставившись в темный угол палатки. Когда закрывает глаза, видит пламя, людей, бросающихся в реки и любые водоемы, чтобы избежать жары и огня, который за секунды сжигает все, что есть: одежду, кожу, волосы, даже воду, в которой они спасаются. Столь уникальную бомбу привезли из-за океана на самолете – луна серебрила его крылья – и сбросили над зеленым азиатским архипелагом.

Он ничего не ел и не пил, будучи не в силах проглотить ни крошки, ни капли. До наступления темноты очистил палатку от предметов военного назначения и саперного инструмента, сорвал знаки различия с собственной формы. Иную одежду пока взять негде. Перед тем как лечь, размотал тюрбан, расчесал волосы и завязал их в узел. Лег, наблюдая, как медленно угасает свет за стенками палатки. Его глаза держат последние лучи, уши слышат последний вздох ветра перед безветренной ночью – а потом остаются лишь приглушенные звуки птичьих крыльев и тонкие ночные шумы.

Он чувствует: Азия впитала, всосала, втянула в себя все ветры мира. Откладывает в сторону воспоминания обо всех крупных и мелких бомбах, с которыми пришлось иметь дело, и думает об одной. Кажется, она размером с город: от взрыва гибнут не единицы, не десятки и не сотни, а многие тысячи людей; живущие на земном шаре впервые становятся свидетелями столь массового убийства. Кип практически ничего не знает об этом новом виде оружия. Было ли оно внезапным выбросом тучи острых и быстрых кусочков металла или стремительным разливом струи раскаленного воздуха, воспламеняющей все живое? Но точно знает, что не позволит больше никому из них приблизиться к нему – и никогда больше не сможет есть или пить из глиняных черепков на каменной скамейке на террасе. Он не чувствует себя в состоянии вытащить спичку из мешка и зажечь лампу, ибо кажется, что заполыхает все вокруг. Когда было светло, достал из мешка фотографию семьи и долго смотрел. Его зовут Кирпал Сингх – и непонятно, что он здесь делает.

Сейчас он стоит под кипарисами в августовской жаре, без тюрбана, без рубашки. И в руках ничего нет.

Затем идет вдоль живой изгороди, ступая босыми ногами по траве, по каменному полу террасы и углям от костров. Его живое тело двигается сквозь это спящее царство, находящееся на краю злой и смертельно опасной Европы.

Рано утром Хана видит, что он стоит у входа в палатку.

Вечером она замечала свет между деревьями. Вчера каждый ужинал в одиночестве, а пациент вообще отказался от еды. Теперь видно, как сапер взмахнул рукой, и стены палатки упали, словно спущенные паруса. Он поворачивается, идет к дому, поднимается по ступенькам террасы и исчезает.

В часовне он проходит мимо сгоревших скамеек к полукругу апсиды, где под брезентом, придавленным ветками, стоит мотоцикл марки «Триумф». Стягивает с машины покрытие, склоняется над нею и начинает смазывать маслом цепь и зубья передачи.

Когда Хана входит в часовню, открытую небу, сапер сидит, прислонившись к колесу.

– Кип.

Он ничего не отвечает, глядя сквозь нее.

– Кип, это я. Что нам теперь со всем этим делать?

Он словно окаменел.

Она опускается на колени и наклоняется к нему. Кладет голову на грудь. Слышит, как бьется сердце.

Он остается неподвижным.

Тогда она отодвигается от него.

– Однажды англичанин процитировал из какой-то книги: «Любовь так невелика, что может пролезть в игольное ушко».

Он ложится на пол в стороне от нее, лицо – в нескольких сантиметрах от дождевой лужицы.

Мальчик и девочка.

Когда сапер вытащил «Триумф» из-под брезента, Караваджо лежал на парапете, подложив предплечье под подбородок. Потом почувствовал, что не в силах больше оставаться в тягостной атмосфере этого дома, и ушел. Его не было, когда сапер завел мотоцикл, сел, – и машина ожила, дернулась вперед, а Хана стояла рядом.

Кирпал Сингх дотронулся до ее руки и поехал вниз по склону.

На середине дороги, ведущей к портам, его ждал Караваджо с автоматом в руках. Преградил мотоциклу путь, не приподнимая оружия в знак приветствия, и мальчик притормозил. Караваджо подошел и крепко обнял его. И сапер впервые почувствовал острую щетину Дэвида у себя на щеке. И вдруг ощутил, что его потянуло остаться, и собрал в кулак всю волю.

– Мне придется научиться жить без тебя, – сказал Караваджо.

Мальчик уехал, а пожилой мужчина побрел обратно в дом.

Мотоцикл взревел, оставляя за собой клубы пыли и кучи гравия, перепрыгнул через загородку для скота в проеме ворот и

покатился вниз, прочь из деревни, сквозь аромат садов по обеим сторонам дороги, прилепившихся па склонах.

Кип принял привычное положение: грудь почти касается бака с горючим, руки раскинуты, что обеспечивает наименьшее лобовое сопротивление. Он направился на юг, покидая Флоренцию навсегда. Через Греве, Монтеварки и Амбру, маленькие городки, которые война обошла стороной. Затем, когда показалась новая цепь холмов, начал взбираться на гребень, в сторону Кортоны.

Он ехал против генерального направления былого продвижения войск союзников, как бы раскручивая обратно пружину их вторжения; по маршруту, который уже не был перегружен военной техникой. Выбирал только те дороги, которые знал, видя на расстоянии знакомые города-замки. У него не было ни багажа, ни оружия, почти все он оставил на вилле, и в первую очередь – инструменты-орудия, которые хоть как-то могли напомнить ему о саперном деле. А «Триумф» мчался и мчался, проезжая деревни, не делая остановок в городах и не давая воли воспоминаниям о войне.

«…Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель…»[110]

Она открыла его мешок. Там были: револьвер, обмотанный промасленной тряпкой, так что, когда она его развернула, запахло маслом; зубная щетка и порошок; блокнот с рисунками карандашом, на одном из которых – она, сидящая на террасе, а он, должно быть, смотрел из окна комнаты английского пациента; два тюрбана и бутылочка с крахмалом; саперный фонарь с кожаными ремешками, которым пользовались в экстренных случаях. Девушка включила фонарь, и рюкзак заполнился малиновым светом.

В боковых карманах обнаружила разные детали саперного снаряжения, необходимого для обезвреживания бомб или мин, но не стала их трогать. Еще там была завернутая в тряпочку металлическая трубка, которой пользуются в ее стране для вытягивания из деревьев кленового сахара. Она помнит, как подарила ее Кипу.

Из-под упавшей палатки достала групповой портрет, должно быть, его семьи, и подержала фотографию в ладонях. Семья сикхов.

Старший брат, которому здесь только одиннадцать. Рядом – восьмилетний Кип. «Когда началась война, мой брат присоединялся к любому, кто выступал против англичан».

Еще там была маленькая записная книжка со схемами бомб.

И изображение святого, которому аккомпанирует музыкант.

Она положила все обратно в мешок, кроме фотографии, которую держала в руке, и понесла его через лоджию в дом.

Примерно каждый час он останавливался, смачивал защитные очки собственной слюной и протирал рукавом рубашки. Снова сверившись с картой, Кип решил, что надо сначала направляться к Адриатике, потом на юг. Почти все войска сосредоточены теперь у северных границ Италии. Путь так и остаются там, за его спиной.

Въехал в Кортону под пронзительный рев мотоцикла, подрулил к дверям церкви, спешился и вошел. Статуя была там, обнесенная лесами. Он хотел поближе рассмотреть ее лицо, но у него не было автомата с прицелом, а лезть по лесам не хватит сил – точнее, гибкости. Он чувствовал себя жестким, как металлический штифт, и лишь побродил внизу, словно не мог войти в собственный дом. Затем провел мотоцикл по ступенькам крыльца. И пустил его накатом через разрушенные виноградники по направлению к Ареццо.

У города Сансеполькро опять выбрал извилистый путь наверх. Горы затянуло плотной дымкой, и пришлось ехать на минимальной скорости. Бокка-Трабария[111]. Было холодно, но он старался об этом не думать. Наконец дорога поднялась над слоем тумана, который остался позади, словно постель.

Обогнул Урбино, где немцы сожгли всех лошадей. Сражения в этом районе длились около месяца, сейчас же он проехал его насквозь за немногие минуты, узнавая только храмы Черной Мадонны. Война сделала похожими все большие и малые города.

Кип подъехал к побережью в Габичче Маре, где в мае 1944 года видел Деву Марию, выходящую из воды. Ночлег решил устроить на холме, откуда были видны скалы и море – недалеко от мыса, где когда-то статуя встречала восход. Так закончился первый день его возвращения домой.

Дорогая Клара – дорогая маман!

«Маман» – французское слово, очень широко употребительное, означает «объятия». Очень личное слово, но его можно выкрикивать на публике. Что-то успокаивающее и вечное, словно плавучий дом. Хотя я знаю, что тебе больше по душе каноэ. Ты можешь свернуть в любую сторону или вплыть в устье любого ручья, затрачивая на это считаные секунды. Ты по-прежнему независима. До сих пор одна. И вправду, нет такого плавучего дома, который помог бы человеку разделить ответственность за все, что его окружает. Это мое первое письмо к

тебе за минувшие годы, Клара, но я не очень-то большой мастер писать письма. Последние месяцы я провела с тремя мужчинами, и мы редко разговаривали, только по необходимости или по случайности. Так что я отвыкла разговаривать, особенно с женщинами, считай это моей первой попыткой.

На дворе стоит год 194… Представляешь? На секунду я забыла. Но помню месяц и дату. Нынче как раз тот день, когда мы услышали, что сбросили эти бомбы на Японию, и у всех такое чувство, будто наступил конец света. Теперь я поняла, что личное всегда будет в состоянии войны с общественным. И если мы сможем дать этому разумное объяснение, сможем объяснить все.

Патрик умер во Франции на голубятне. В семнадцатом и восемнадцатом столетиях во Франции строили огромные голубятни, иногда даже больше домов. Примерно вот такие:

Горизонтальная линия на уровне примерно двух третей высоты от пола обозначает карниз от крыс – чтобы крысы не запрыгивали, а голуби были в безопасности. В безопасности, как в голубятне. Святое место. Во многом похожее на церковь. Место, где находят утешение. Патрик умер в таком месте.

В пять утра он завел мотоцикл, при повороте из-под заднего колеса вырвался крупный песок. Еще было темно, и море вдали под скалой не различалось. У него не было карты для прокладки дальнейшего маршрута на юг, но можно вспомнить, опознать военные дороги и ехать вдоль берега. Когда взошло солнце, он прибавил скорость. Реки были впереди.

Примерно к двум часам дня достиг Ортоны[112], в окрестностях которой саперы возводили тогда наплавные понтонные мосты, едва не утопая в глубоких водах речных стремнин во время грозы. Начался дождь, и он остановился, чтобы развернуть плащ-накидку. Заодно обошел вокруг машины, которая, проехав длинный путь, издавала уже другие шумы. Вместо скулящих и завывающих звуков сейчас слышалось только легкое шипение, со щитка переднего колеса капала вода.

Сквозь защитные очки все выглядело серым. Он отгонял мысли о Хане. В этой тишине он не будет думать о ней. Когда в памяти появлялось ее лицо, стирал его, потягивая на себя то один, то другой рог руля «Триумфа» и заставляя концентрировать внимание на скользкой дороге. Если ему и нужны какие-то слова, то не ее речи; достаточно, например, читать названия городов на восточном побережье Италии, вдоль которого сейчас едет. Он чувствует англичанина рядом. Обгоревшее тело сидит верхом на баке с горючим и обнимает водителя; они не просто в одной связке, но лицом к лицу. Англичанин смотрит над его плечом

назад – то в прошлое, то на сельские пейзажи, сквозь которые они пролетают. Далеко позади, на одном из холмов Италии, остался тот странный полуразрушенный дворец, который уже никогда не восстановят, и его странные обитатели, с которыми Кирпал Сингх уже никогда не встретится.

«…И слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего…»[113]

Голос английского нациста нараспев повторял слова Исайи прямо в ухо – совсем как тогда, когда сикху рассказывали о лице, изображенном на потолке церкви в Риме.

«Конечно, есть сотни вариантов изображения Исайи. Может быть, вам захочется увидеть его старым – в монастырях на юге Франции он именно таков, с бородой, но в его взгляде все равно светится притягательная сила».

Англичанин пел в своей раскрашенной комнате.

«Вот, Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком; свернув тебя в сверток, бросит тебя, как мяч в землю обширную…»[114]

Ему нравилось лицо на фреске, и потому нравились эти слова. Сикх верил в обгоревшего пациента и луга цивилизации, о которых тот заботился. Слова Исайи, Иеремии и Соломона были записаны в его настольной книге – личной священной книге, в которую он вклеивал все, что любил.

Он передал эту книгу саперу, а тот сказал:

– У нас тоже есть «Священная Книга».

Дождь усиливался. Резиновый ободок на защитных очках треснул месяц или два назад, и вода заливала стекла. Он снял очки и поехал дальше, слыша шум моря. Тело было напряжено, его бил озноб, тепло исходило только от мотоцикла. Белый луч фары скользил в темноте, когда он проезжал деревни, как падающая звезда, видимая только полсекунды, за которые, однако, можно успеть загадать желание.

«…Ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут… Как одежду, съест их моль, и, как волну, съест их червь…»[115]

Он снял очки как раз тогда, когда надо было поворачивать на мост через реку Офанто[116]. Держал их в левой руке, руль – одной правой, и мотоцикл стало заносить в сторону. Он бросил очки и заглушил мотор, но не предусмотрел сильного удара о металлический край моста. «Триумф» упал вправо, и его понесло вместе с дождевым потоком на середину моста, освещая руки и лицо человека голубыми искрами.

Тяжелая железка отлетела и ударила в плечо. Потом его с

мотоциклом отбросило влево, где мост не был огорожен, и они помчались параллельно воде, руки откинуты назад над головой. Плащ-накидка сорвался с плеч; машина, смерть и солдат застыли высоко в воздухе – резко и рухнули вниз. Ударились о воду и, породив белую пенную дорожку, исчезли в реке.

«…Господь бросит тебя, как мяч, в землю обширную…»

Как умер Патрик в голубятне, Клара? Военное подразделение оставило его там, обожженного и раненого. Он так обгорел, что пуговицы рубашки расплавились и стали его кожей, частью груди, которую я когда-то целовала и ты целовала. Но почему же обгорел мой отец? Он, который мог изворачиваться, как угорь или как твое каноэ, словно заговоренный, от реального мира. В милой и сложной наивности он был самым несловоохотливым человеком, и я всегда удивлялась, что он нравился женщинам. Нам ведь больше нравятся разговорчивые мужчины. Мы разумны, мудры, а он часто бывал потерян, не уверен, молчалив.

Он обгорел, а я-то была медсестрой и могла бы его выходить. Понимаешь, какая печальная география? Я могла бы спасти его или хотя бы побыть рядом в последние минуты. Я теперь многое знаю об ожогах. Как долго он промучился там в одиночку – среди голубей и крыс? Что чувствовал или бормотал в последние минуты угасания, когда жизнь уходила? Голуби вились над ним, а он вздрагивал от шума их крыльев. Не мог спать в темноте. Он всегда ненавидел темноту. И был один, рядом – ни любимого, ни родного человека.

Я устала от Европы, Клара. Хочу домой. В твою маленькую хижину на розовой скале в заливе Джорджиан-Бей. Я сяду в автобус до Парри-Саунда. И с материка пошлю по коротким волнам радиосообщение в Нэнкейкс. И буду ждать тебя, пока не увижу силуэт в каноэ. Вот ты плывешь, чтобы спасти меня, вызволить отсюда, куда мы все ушли, предав тебя. Что давало тебе силы? Как удалось остаться столь решительной? Почему тебя не одурачили так, как нас? Ты демонически любила удовольствия – и стала мудрой. Самая чистая из нас, самая темная фасолинка, самый зеленый лист.

Хана.

Лишившаяся тюрбана голова сапера появляется из воды; он вдыхает полной грудью, кажется, весь воздух над рекой.

Караваджо соорудил веревочный мост к крыше соседней виллы. Пеньковая веревка привязана ближним концом за талию статуи работы Деметрия[117], остальная часть спущена в

лестничную клетку. Натянута она над верхушками двух оливковых деревьев. Если он потеряет равновесие, то упадет прямо в их жесткие и пыльные объятия.

Ступает на веревку, ощупывая ее ногами в носках. «Насколько ценна эта статуя?» – спросил он однажды Хану, словно между прочим, и она ответила, что, как говорил англичанин, все статуи Деметрия ничего не стоят.

Она заклеивает письмо, встает, идет через комнату, чтобы закрыть окно, и в этот момент долину прорезает молния. Девушка видит Караваджо между небом и землей на полпути через ущелье, которое похоже на глубокий шрам, если смотреть оттуда. Некоторое время девушка стоит задумавшись, потом забирается в нишу окна и сидит, глядя в долину.

С каждым новым блеском молнии можно видеть дождь, который хлещет в окно, и канюков, взлетающих к небу под самые тучи. Она хотела бы нащупать и поддержать своим взглядом Караваджо.

Он дошел уже до середины пути, когда почувствовал запах приближающегося дождя, а потом капли и струи начали хлестать по канатоходцу, пропитывая одежду, которая становится все тяжелее и все сильнее прилипает к коже.

Хана протягивает из окна ладони чашечкой, набирает в них воды, падающей с неба, и смачивает голову.

Вилла погружается в темноту. В коридоре возле комнаты английского пациента догорает последняя свеча. Когда он открывает глаза, видит ее колеблющийся желтый свет.

Для него теперь в мире нет звуков, и даже свет кажется ненужным. Утром он скажет девушке, что не надо понапрасну тратить свечи, ибо в путешествии сквозь ночь (особенно если удается заснуть) ему не нужны компаньоны, даже вечно живое и переменчивое пламя.

Около трех часов ночи чувствует, что в комнате кто-то есть. На какое-то мгновение кажется, что неурочный посетитель стоит около кровати, возле стены, а может, нарисован на ней, плохо различимый в темноте листвы над слабым огоньком свечи. Обгоревший человек что-то бормочет, хочет что-то сказать, но вокруг тишина, и призрачная коричневая фигура (возможно, всего лишь невесомая ночная тень) не двигается. Это тополь? Или мужчина в оперении? Или пловец? Жаль, что больше не представится возможности поговорить с сапером.

В любом случае в эту ночь он уже не будет спать, чтобы увидеть, не подойдет ли фигура к нему. Не станет принимать

таблетки, которые заглушают боль, останется бодрствующим – пусть даже догорит свеча и дым от нее расплывется по его комнате и дойдет до комнаты девушки дальше по коридору. Если фигура повернется, должна быть видна краска на спине, которой гость прислонился к фрескам. Когда сгорит свеча, хозяин комнаты приобретет способность заметить эти пятна на лопатках…

Его рука медленно гнется, дотрагивается до книги Геродота и возвращается на место. Больше в комнате ничего не двигается.

Где он сидит сейчас, когда думает о ней? Прошло уже столько лет после войны. Камень истории скользит по воде, подпрыгивая, – они успели состариться до того, как он коснется поверхности в последний раз, застынет и пойдет ко дну. Может, сидит в своем саду, размышляя о том, что ему нужно вернуться в дом, сесть к столу и написать ей письмо или же пойти в один прекрасный день на телефонную станцию, заполнить бланк и попытаться связаться с ней, живущей в другой стране, на другом конце света?

Его сад, этот квадратный клочок сухой подстриженной травы, переключает память на месяцы, проведенные с Ханой, Караваджо и английским пациентом к северу от Флоренции, на вилле Сан-Джироламо. Сейчас у него есть семья, веселая жена, двое детей. Он сделался, как требует семейная традиция, врачом, и на малый объем работы жаловаться не приходится. В шесть вечера снимает свой белый халат. Под ним – темные брюки и рубашка с короткими рукавами. Он закрывает клинику, где множество бумаг прижато разнообразными предметами – камнями, чернильницами, игрушечным грузовиком, который уже наскучил его сыну. Доктор Кирпал Сингх садится на велосипед и едет через базар домой. Ехать больше шести километров. Когда есть возможность, он сворачивает на тенистую сторону улицы, поскольку достиг уже того возраста, когда понимает, что солнце Индии истощает его.

Скользит под ивами вдоль канала, затем останавливается у небольшой группы домов, снимает со штанин клипсы-зажимы и несет велосипед вниз по ступенькам в маленький сад, детище его жены.

Какая-то сила подняла в этот вечер камень из воды и заставила его двигаться в обратном направлении – в тот городок средь холмов Италии. Может быть, к воспоминаниям подтолкнул химический ожог на руке у девочки, который он лечил сегодня? Или вид каменных ступенек, сквозь которые буйно пробивались коричневые сорняки? Он нес велосипед – только не вниз, как

сейчас, а наверх – и на середине высоты ступенек вдруг почувствовал что-то необычное: телепатический вызов? Да-да, это было похоже на работу; значит, память держала воспоминания наготове, как снайпер держит палец на спусковом крючке, в течение всего дня, когда он семь часов кряду принимал пациентов и решал административные вопросы. Или причина – ожог на руке девочки?

Он сидит в саду и пытается представить, какой стала Хана. Живет в своей стране. У нее длинные волосы. А чем она занимается? Он может увидеть ее нынешнее лицо, но не знает, какая у нее профессия и жизнь. Видит, как она реагирует на окружающих людей, наклоняется к детям. За нею просматривается белая дверь холодильника, вдали за окном бесшумно проносятся трамваи. Это тот небольшой подарок, который ему отпущен, как будто она (лишь она) оживает перед ним на пленке, только без звука. Он не может определить, в каком обществе она вращается, о чем говорит. Все, что видит, – ее характер и длинные волосы, которые время от времени падают на глаза.

Сейчас Кип понимает, что у нее всегда будет серьезное лицо. Молодая женщина приобрела вид слегка чопорной королевы, осуществив свое желание выглядеть определенным образом. И ему нравится это. Ее сила. Хана не унаследовала внешний вид от родителей, бабушек или более дальних предков, а сделала его целью, к которой стремилась – и которой достигла. И он отражает теперешнее состояние ее души.

Кажется, каждый месяц или два он получает волшебную возможность видеть ее – будто эти моменты открывающегося канала связи, действие которого трудно объяснить непосвященному, являются продолжением ее писем. Письма она безответно писала и отправляла ему целый год, а потом прекратила. Причиной его отталкивающего молчания, как он полагает, послужил характер.

А теперь он иногда испытывает желание поговорить с ней за едой – и вернуться к тому времени, когда они сближались в палатке или в комнате английского пациента, и бурные завихрения реки пространства противостояли этим ласковым попыткам. Вспоминая то время, Кип бывает очарован не только ею, но и собой – живым и искренним. Гибкая рука двигается по воздуху к девушке, в которую он влюблен, промокшие ботинки стоят возле двери, связанные шнурками, его рука наконец трогает ее за плечо – а на кровати безмолвно лежит обгоревший человек.

За ужином он наблюдает, как дочка сражается с ножом и вилкой, пытаясь удержать в ручонках эти громоздкие орудия. Все,

кто сидит за этим столом, имеют смуглую кожу. И легко соблюдают привычки и обычаи. Его жена научила членов семьи их необузданному юмору, который унаследовал сын.

Он наблюдает за сыном, который не устает удивлять его – и превзошел в юморе обоих родителей: как он общается с собаками на улице, как имитирует их походку, их взгляды. Ему нравится, что мальчик угадывает желания собак по глазам.

А Хана, возможно, вращается среди тех, кто ее не понимает. Она и в 34 года еще не нашла своей компании. Она сильная женщина, бурно влюбляется, не надеясь на удачу, всегда рискует; в выражении лица сквозит нечто такое, что только она может понять, посмотрев в зеркало. Идеальность и идеализм прячутся под этими блестящими темными волосами. Есть люди, очень неравнодушные к ней. Хана все еще помнит строчки стихов, которые англичанин громко читал ей из своей книги.

«Она – женщина, которую я не так хорошо знаю, чтобы удержать своим крылом (если у писателей есть крылья), чтобы бросить якорь и найти пристанище на всю оставшуюся жизнь».

Хана поворачивается и в отчаянии опускает голову. Плечом касается кухонного шкафчика, и стакан сдвигается.

А в это время из руки дочки Кирпала Сингха выскользнула вилка. Левая рука метнулась вниз и подхватила вилку в паре сантиметров от пола. Он передает ее дочери и улыбается, и в уголках глаз, под очками, собираются морщинки.

От автора

Поскольку прототипами некоторых героев романа являются реальные исторические личности, а территории, упоминаемые здесь (например, Гильф-эль-Кебир и окружающая его пустыня), существуют на самом деле и были исследованы в 1930-е годы, важно подчеркнуть, что эта история – вымысел. Вымышлены портреты выводимых в ней персонажей, а также некоторые события и путешествия.

Мне хотелось бы поблагодарить Королевское географическое общество в Лондоне (the Royal Geographical Society, London) за предоставленную возможность прочесть архивные материалы и собрать сведения из «Географических журналов» («Geographical Journals»), касающиеся мира исследователей и их путешествий – прекрасно описанных их участниками на страницах этих журналов.

Я процитировал целый пассаж из статьи Гассанейна Бея (Hassanein Bay) 1924 года «Через Куфру к Дарфуру» («Through Kufra to Darfur»), посвященный песчаным бурям, а также на основе его трудов и работ других исследователей попытался воссоздать перед читателем пустыню – такой, какой она была в тридцатые годы.

Хотелось бы выразить признательность за информацию, почерпнутую из статьи «Исторические проблемы Ливийской пустыни» («Historical Problems of the Libyan Desert», 1934) доктора Ричарда А. Берманна (Dr. Richard A. Bermann) и обзора монографии Алмаши (Almasy) о его исследованиях в пустыне, сделанного Р. А. Багнольдом (R. A. Bagnold).

Многие книги помогли мне в написании этого романа.

«Невзорвавшаяся бомба» («Unexploded Bomb») майора А. Б. Хартли (A. B. Hartley) была особенно ценной при описании конструкции бомб и деятельности британских саперных подразделений в начале Второй мировой войны. Я привел некоторые выдержки из его книги в главе VII «На своем месте» при описании обезвреживания мин Кирпалом Сингхом основывался на реальных методах, представленных в книге г-на Хартли.

Информация о конкретных ветрах, будто бы вклеенная в книгу английского пациента, взята из великолепного произведения Лайалла Ватсона (Lyall Watson) «Дыхание небес» («Heaven's Breath»), прямые цитаты выделены кавычками. на с. 30, 31, 32.

Рассказ о Кандавле и Гигесе действительно взят из «Историй»

Геродота, как и некоторые другие выдержки.

Выделенные курсивом строчки на с. 37 принадлежат перу Кристофера Смарта (Christopher Smart), фраза, которую вспоминает Хана в последнем разговоре с Кипом, написана Анни Уилкинсон (Anne Wilkinson).

Я также очень признателен Алану Мурхеду (Alan Moorehead) за его книгу «Вилла Диана» («The Villa Diana»), в которой рассказывается о жизни Полициано в Тоскане.

Назову и другие не менее ценные книги: «Камни Флоренции» («The Stones of Florence») Мэри МакКарти (Mary McCarthy); «Кот и мыши» («The Cat and the Mice») Леонарда Мосли (Leonard Mosley); «Канадцы в Италии в 1943–1945 годах» («The Canadians in Italy 1943—5») и «Канадские медсестры» («Canada's Nursing Sisters») О.В.Л. Николсона (O. W. L. Nicholson); «Энциклопедия Второй мировой войны» («The Marshall Cavendish Encyclopaedia of World War II»); «Военная Индия» («Martial India») Ф. Йетс-Брауна (F. Yeats-Brown); три книги о вооруженных силах Индии: «Тигр нападает» («The Tiger Strikes») и «Тигр убивает» («The Tiger Kills»), опубликованные в 1942 году Директоратом общественных связей, Нью-Дели (the Directorate of Public Relations, New Delhi), а также «Список убитых на войне» («A Roll of Honor»).

Хочу выразить благодарность отделению английского языка в Глендон-колледже Йоркского университета (Glendon College, York University), вилле Сербеллони (the Villa Scrbelloni), фонду Рокфеллера (the Rockefeller Foundation) и Столичной справочной библиотеке в Торонто (the Metropolitan Toronto Reference Library).

Мне бы также хотелось поблагодарить за неоценимую и великодушную помощь: Элизабет Деннис (Elisabeth Dennys), которая позволила прочитать ее письма из Египта времен Второй мировой войны; сестру Маргарет (Sister Margaret) с виллы Сан-Джироламо (die Villa San-Girolamo); Майкла Уильямсона (Michael Williamson) из Национальной Канадской библиотеки в Оттаве (the National Library of Canada, Ottawa); Анну Джардин (Anna Jardine); Родни Денниса (Rodney Dennys), Линду Сполдинг (Linda Spalding); Эллен Левин (Ellen Levine), а также Лэлли Марво (Lally Marwah), Дугласа ле Пана (Douglas Le Pan), Дэвида Янга (David Young) и Донью Перофф (Donya Peroff).

И, наконец, особую благодарность хочется выразить Эллен Селигман (Ellen Seligman), Лиз Калдер (Liz Calder) и Сонни Мета (Sonny Metha).

notes

Примечания

1

Лосьон, состав для примочек или мазь, содержащие каламин (розовый порошок, смесь карбоната цинка и оксида железа), применяющиеся в медицинской практике для ухода за обожженной поверхностью тела. – *Здесь и далее примечания редактора, если не оговорено иное.*

2

Имеется в виду роман Редьярда Киплинга «Ким».

3

Мыс Эль-Абьяд (Энгела, Рас-Энгеля) – самая северная точка Африки.

4

Кью-Гарденс – большой Королевский ботанический сад в западной части Лондона. – *Прим. пер.*

5

Медичи – флорентийский род, игравший важную роль в средневековой Италии. С 1434 по 1737 г. (с небольшими перерывами) правили Флоренцией.

6

Геродот (между 490 и 480 – ок. 425 гг. до н. э.) – древнегреческий историк, прозванный «отцом истории».

7

Графства на крайнем юго-западе Англии, между Бристольским заливом и проливом Ла-Манш. В некоторых источниках называются Корнуэлл и Девоншир.

8

Имеется в виду Тассилип-Аджер, плато в Центральной Сахаре с наскальными изображениями разного времени (с 8-го тысячелетия до н. э.). Не следует путать его с плато Тассилип-Ахаггар, находящимся южнее нагорья Ахаггар, тогда как Тассилип-Аджер расположено к северо-востоку от этого нагорья. Детальное обследование рисунков и неолитических орудий и керамики провела французская экспедиция А. Лота в 1956–1957 гг.

9

Вади-Сура – одна из сухих долин в пустынях Северной Африки. Вади, или уэд, – общее название таких долин в арабском языке.

10

Намек на принцип «корреляции органов», установленный французским зоологом Жоржем Кювье.

11

Столица итальянской области Тоскана.

12

Совпадает с псевдонимом итальянского живописца Микеланджело да Меризи (1573–1610), создателя художественной системы, называемой «караваджизм» (монументализация обыденного мира с помощью светотеневых контрастов).

13

Джузеппе Верди (1813–1901) – итальянский композитор, мастер оперного жанра.

14

Столица провинции Онтарио в Канаде.

15

Город в итальянской области Тоскана, примерно в 50 км к юго-востоку от Флоренции.

16

Герой книги «Лига Алого Первоцвета», написанной баронессой Орци (миссис Монтегю Барстоу) в 1905 г. Предводительствовал в лиге, созданной англичанами для спасения жертв Французской революции. Символ неуловимого хитреца.

17

Итальянский поэт, гуманист (1454–1494). Настоящее имя – Анджело Амброджини.

18

Лоренцо Великолепный (1449–1492) – один из главных представителей рода Медичи. Правил Флоренцией с 1469 г.

19

Джироламо Савонарола (1452–1498) – настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции. Выступал против тирании Медичи, обличал папство, призывал церковь к аскетизму, осуждал гуманистическую культуру.

20

Сандро Боттичелли (1445–1510) – итальянский живописец, представитель Раннего Возрождения. Был близок ко двору Медичи и гуманистическим кругам Флоренции.

21

Леонардо да Винчи (1452–1519) – итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер.

22

Джованни Пико делла Мирандолла (1463–1494) – итальянский мыслитель, представитель раннего гуманизма.

23

Буонаротти Микеланджело (1475–1564) – итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт.

24

Филиппе Брунеллески (1377–1446) – итальянский архитектор, скульптор, ученый. Работал во Флоренции.

25

Сикхи – народ в Британской Ост-Индии, последователи сикхизма (самостоятельной религии, выделившейся из индуизма).

26

Заключив военный союз с гитлеровской Германией, Италия под руководством фашистской партии во главе с дуче (вождем) Бенито Муссолини вступила во Вторую мировую войну в 1940 г. В июле – августе 1943 г. англо-американские войска высадились на острове Сицилия, после чего 3 сентября Италия подписала акт о капитуляции, но была оккупирована Германией. В 1945 г. действиями движения Сопротивления и англо-американских войск была освобождена, дуче захвачен партизанами и расстрелян.

27

Альберт Кессельринг (1885–1960) – немецкий военачальник. Во Вторую мировую войну командовал воздушным флотом во время агрессии против Польши, Франции и СССР, а с декабря 1941 года по май 1945-го – главнокомандующий войск Юго-Запада (Средиземноморье, Италия) и Запада (Западная Германия).

28

Область Италии; центр – Перуджа.

29

Пьеро делла Франческа (ок. 1420–1492) – итальянский живописец, представитель Раннего Возрождения. Здесь речь идет о его фресках в церкви Сан-Франческо, созданных в 1452–1466 гг.

30

Явный анахронизм. Музыкант и руководитель джаз-оркестра, снявшегося в фильме «Серенада Солнечной долины», погиб в 1944 г.

31

Итальянский художник и архитектор Рафаэль Санти (1483–1520) расписывал в 1509–1517 гг. станцы (комнаты), а в 1519 г. (с учениками) – лоджии Ватикана. Автор росписей свода с люнетами и распалубками (1508–1512) и алтарной стены («Страшный суд», 1536–1541) Сикстинской капеллы – Микеланджело.

32

По-английски «kipper» – копченая распластованная рыба (обычно селедка).

33

Вергилий Марон Публий (70–19 гг. до н. э.) – римский поэт.

34

Франклин Делано Рузвельт (1882–1945) – 32-й президент США (1933–1945). В 1944 г. был избран на 4-й президентский срок, чего никогда не случалось ранее в истории США. Его однофамилец, Теодор (Тедди) Рузвельт (1858–1919) – 26-й президент США (1901–1909).

35

Тим Бак (1891–1973) – один из организаторов коммунистической партии Канады в 1921 г., с 1929 г. по 1962 г. ее генеральный секретарь, затем председатель.

36

Огромный залив озера Гурон – второго по величине в системе Великих озер; от основной акватории озера отделен полуостровом Брус и островом Манитулип. Почти вся береговая линия этого залива находится в границах канадской провинции Онтарио.

37

Тацит (ок. 58 – ок. 117) – римский историк. Главные труды посвящены истории Рима и Римской империи в 14–68 гг. («Анналы») и 69–96 гг. («История» в 14 книгах, из которых до нас дошли лишь 1—4-я и начало 5-й).

38

Область в Британской Индии у северо-западных островов Гималаев, которая граничит с пустынями Тхал и Тар.

39

Строки из романа «Ким» даются здесь в переводе М. Клягиной-Кондратьевой.

40

Джозеф Редьярд Киплинг (1865–1936) – английский писатель. Приключенческий роман «Ким» опубликован им в 1901 г.

41

Третья книга Царств, гл. 1, ст. 1–4.

42

На современных картах обозначается как Большая Песчаная пустыня (преимущественно на территории Египта, к западу от Нила) и Ливийская пустыня.

43

Паунд Эзра Лумис (1885–1972) – поэт, переводчик, критик. Большую часть жизни прожил в Европе, с 1920-х гг. в Италии, где стал горячим сторонником Муссолини.

44

Джотто ди Бондоне (1266 или 1267–1337) – итальянский живописец. Изображал евангельские легенды с небывалой жизненной убедительностью.

45

Равенна – город и порт в Северной Италии на Адриатическом море.

46

Стивен Крейн (1871–1900) – американский журналист, писатель, поэт. Стремясь показать жизнь без прикрас, писал о бедняках в трущобах, о тяготах войны, увиденной глазами новобранца. Работал в качестве корреспондента на греко-турецкой (1897) и испано-американской (1898) войнах.

47

Ханс Гейгер (1882–1945) – немецкий физик. В 1908 г. вместе с Э. Резерфордом изобрел прибор для регистрации отдельных заряженных частиц – гейгеровский счетчик, или счетчик Гейгера.

48

Ричард Роджерс (1902–1979) – американский композитор, работал в жанре мюзикла совместно с Л. Хартом и Оскаром Хаммерстайном.

49

Джордж Гершвин (1898–1937) – американский композитор. Его брат Айра (1896–1983) был автором текстов для многих песен, мюзиклов и иных произведений Джорджа.

50

Бездымный порох.

51

Роман «Ким», глава IX.

52

Район Лондона, располагающийся к западу от центральной части города.

53

Джозеф Конрад (1857–1924) – английский писатель, по происхождению поляк.

54

Район Лондона, один из наиболее роскошных жилых кварталов.

Сокращенная форма имени – Ласло.

Так иногда называют Северный тропик; Южный тропик – тропик Козерога.

57

Оазисы, расположенные далеко к западу от Нила.

58

Город и порт на берегу залива Сидра Средиземного моря.

59

Камбиз (год рождения неизвестен – умер в 522 г. до н. э.) – древнеперсидский царь, сын Кира II. В 525 г. до н. э. завоевал Египет, в 524 г. до н. э. вторгся в страну Куш (с X в. н. э. известна как Нубия), но потерпел поражение.

60

Город на востоке Англии, с конца VI в. н. э. известен как штаб-квартира римско-католической церкви на территории этой страны; но еще до I в. н. э. на его теперешнем месте находилось кельтское поселение.

61

Оазис Харга расположен несколько ближе к Нилу, чем Дахла или Куфра.

62

По одним источникам, гора Эль-Увейнат близ колодца Зувайя имеет высоту 1893 метра, согласно другим – 1934 метра над уровнем моря. (В переводе с арабского «джебель» – гора, хребет.)

63

Фрагмент книги четвертой поэмы «Потерянный рай» (1667) английского поэта Джона Мильтона (1608–1674) дан здесь в переводе Арк. Штейнберга под ред. С. Шервинского, выполненном для издания БВЛ, том 45, 1976 г.

64

Муэдзин – служитель при мечети, возвещающий о том, что время молитвы наступило.

65

Графство в Англии.

66

Марк Туллий Цицерон (106—43 до н. э.) – римский политический деятель, оратор и писатель.

67

Далила – персонаж библейской легенды, филистимлянка, возлюбленная древнееврейского богатыря Самсона, предавшая его, как рассказывается в Книге Судей израилевых, гл. 14–16.

68

Столица Ливии.

69

Роммель (1891–1944) – немецкий генерал-фельдмаршал, во Вторую мировую войну командовал фашистскими войсками в Северной Африке (так называемым Африканским корпусом).

70

Эль-Аламейн – населенный пункт в Египте, западнее Александрии. В районе его в боях с 23 октября по 4 ноября 1942 г. Восьмая английская армия под командованием генерала Бернарда Лоу Монтгомери (1887–1976) нанесла поражение итало-немецким войскам, что явилось переломным моментом в ходе Северо-Африканской кампании.

71

Левант – общее название стран (местностей), прилегающих к восточной части Средиземного моря: Сирия, Ливан, Израиль, Египет, Греция, Турция, Кипр.

72

Тропик – это параллель с широтой 23 градуса 07 минут.

73

Эдуард Кеннеди Эллингтон (1899–1974) – американский пианист, руководитель оркестра и композитор. Дюк – его прозвище.

Термин «некрофилия» – казалось бы, сходный по значению – здесь не годится, ибо истолковывается в русском языке сугубо негативно как половое извращение, реализация полового влечения к трупам.

75

Добавка «Сингх» к личному имени мужчины-сикха означает «лев»; к именам женщин у сикхов добавляют «Каур», что означает «принцесса».

Сикхские воины расценивались англичанами как лучшие солдаты Индии; их чаще всего использовали там, где необходимы твердость, храбрость, бесстрашие (в том числе в охране правительственных резиденций).

77

Расположены на юге и юго-востоке Англии.

78

Эксмур (болота Эксмур) – местность в Англии на южном побережье Бристольского залива, где теперь располагается национальный парк.

79

В переводе с латыни означает «на месте», «в месте», «по месту нахождения».

80

Коран запрещает мусульманам употреблять вино и иные крепкие спиртные напитки.

81

Воздушный флот гитлеровской Германии.

82

Район Лондона.

83

Действительно, поселение на месте теперешнего Лахора существовало, по археологическим данным, еще до нашей эры. Лондон как Лондиниум, что в переводе с латыни означает «город кораблей», основан римлянами в 43 г. н. э.

84

Изобретение пороха в Европе приписывается известному английскому ученому Роджеру Бэкону (а иногда немецкому монаху Бертольду Шварцу) и датируется XIII веком н. э.

Сикхи давали обет не курить, не стричься, носить бороду, гребень в волосах и в качестве головного убора непременно тюрбан.

86

Французский писатель Анри Мари Бейль (1783–1842), известный миру под псевдонимом Стендаль, опубликовал этот роман, поэтизирующий свободу чувств, в 1839 г.

87

Графство в Англии.

88

Оазис к западу от Нила.

89

Непередаваемая игра слов, в английском оригинале здесь употреблен глагол «ravish», который имеет три значения: 1) похищать, грабить, 2) восхищать, очаровывать, 3) изнасиловать.

90

Канут – король датчан, завоевавших в первой трети XI века Англию, Норвегию и другие страны севера Европы.

91

Часть первая, глава V романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».

92

Остров у западных берегов Греции, в Ионическом море, родина Одиссея.

93

Трудноперводимая игра слов: «shell» по-английски может означать и «раковина (улитки, моллюска)», и «мина» или «артиллерийский снаряд», а также «гильза» (патрона, снаряда).

Игра слов; «forager» по-английски означает не только «фуражир (снабженец)», но и «искатель, копатель» (намек на военную профессию Кипа).

Пенджаб – то же самое, что и Панджаб, или Пятиречье.

Реки, давшие название Пенджабу, рождающиеся в Гималаях.

97

В переводе – «дверь гуру (учителя)». Так называются сикхские храмы.

98

Легендарный гуру Напак – основатель учения сикхов, выступивший с проповедью его основ на рубеже XV–XVI вв.

99

Поэт и просветитель Кабир (мусульманин), тщательно ознакомившись с учением индуизма, выступил с проповедью единого общего индомусульманского бога в XV в.

100

Содержит заповеди и проповеди, гимны и песни первых сикхских адептов, начиная от Напака.

101

Настоятель.

102

Амритсар (в переводе – «пруд нектара») – город, где находится Золотой Храм сикхов. Расположен в 50 км к востоку от бывшей столицы Пенджаба – Латора, «индийского Парижа», как его иногда называли.

103

В качестве символа освобождения от оков касты гуру Напак ввел принцип общей кухни и совместной трапезы («лашара») – все равны, все едят одно и то же рядом друг с другом в гурдварах.

104

Итальянский город в области Тоскана, недалеко от Флоренции.

105

Населенные пункты вблизи экватора в Восточной Африке, Кисмайо – город на Индийском океане.

106

Эта река впадает с севера в озеро Рудольф.

107

Пьемонт – область на северо-западе Италии, граничащая с Францией и Швейцарией.

108

Старинное название Англии – Альбион – происходит от латинского слова «алба» (белый), отображающего цвет меловых скал Дувра, обрывающихся в пролив Па-де-Кале, через который проще всего попасть на этот остров с европейского континента.

109

От Матфея, гл. 8, ст. 22; От Луки, гл. 9, ст. 60.

110

Книга пророка Исайи, гл. 24, ст. 20.

111

Перевал – южная граница Тоскано-Эмилианских Апеннин.

112

Приморский город в итальянской области Абруцци.

113

Книга пророка Исайи, гл. 59, ст. 21.

114

Книга пророка Исайи, гл. 22, ст. 17, 18.

115

Книга пророка Исайи, гл. 51, ст. 6 и 8.

116

Река в итальянской области Апулия, далеко к югу от Флоренции.

117

Древнегреческий скульптор (конец V – 1-я половина IV в. до н. э.).